

# Федор Панферов

# Бруски

## Книга четвертая

### Аннотация

*Роман Федора Ивановича Панферова «Бруски» – первое в советской литературе многоплановое произведение о коллективизации, где созданы яркие образы представителей новой деревни и сопротивляющегося мира собственников.*

### Звено первое

#### 1

Кирилл Ждаркин проснулся чуть свет.

Вчера, поздно ночью, он вернулся с гор, куда ездил для проверки разведочных бригад. Устал. И, приняв горячую ванну, лег в постель и уснул, оборвав разговор со Стешей на полуслове. Он еще слышал – она говорила что-то такое о своем «особом положении», о том что «дни приближаются», что «к ним надо готовиться», но через несколько секунд уже спал, «как камень». А сегодня – только что дрогнули зори – Кирилл открыл глаза и потянулся, чувствуя во всем теле наливную бодрость. Высвободив из-под одеяла руку, он посмотрел на нее, жилистую и мохнатую, и даже сам удивился: на фоне голубого, нежного одеяла рука была слишком огромна и груба.

– Экая! Страшила, – прошептал он, любуясь крепким запястьем, и стиснул кулак. Ногти врезались в ладонь, будто шипы. – Значит, готов, – решил он и хотел было подняться, но в окно брызнули лучи солнца и зашарили по стенам, по потолку, разрисовывая их трепетными бликами. Блики то гасли, то вновь загорались – бурно, ярко, вот-вот взорвутся... и нет комнаты, нет стен, есть одно – пылающий солнечный костер. «Здорово! Ну и здорово!» И Кирилл почему-то вспомнил, как маленький, украдкой от отца, забирался на соломенную крышу сарая, прятался там от зябкого ветерка и подолгу просиживал на солнце, мечтая о чем-то еще совсем неоформленном, неясном, но зовущем. А кругом, как брага, бурлила весна: с ревом мчались с гор потоки, напевая свои тревожные песни – песни земли; хлюпающая и чавкающая, пыхтел пропотевший снег: наперебой заливались взьерошенные скворцы, и где-то за гуменниками мычали отощавшие за зиму коровы, – все это сливалось, в один торжествующий гул, резкий, громогласный, молодецкий.

Было хорошо, как хорошо и теперь лежать в постели, ни о чем не думая, лишь наблюдая за солнечными бликами... Но на воле пробуждался день. Сначала он завозился, недовольно повизгивая, будто щенок, но вот он забормотал, затарахтел: мимо окна с грохотом промчались грузовики, прогремели гусеничные

тракторы, где-то захаркал экскаватор, где-то кто-то затянул песню, но тут же оборвал ее, очевидно устыдясь... и день, расчистив себе путь, весело зашагал по земле.

– Вставай! Эй! Не лежи на перекрестке дорог, – тихо и насмешливо проговорил Кирилл, затем вскочил, оделся и подошел к кровати, где спала Стеша.

Она спала вольно, раскинувшись. Одеяло с нее сползло и лежало на полу, на коврике, будто кем-то небрежно брошенное для украшения. Из-под взбитой ночной сорочки выделялись обнаженные ноги. Они были в легком загаре, покрытые пушком, не тонкие – лядащие, а скорее полные, мускулистые и женственно красивые. Одно плечо тоже было обнажено... да и вообще казалось – Стеша лежит нагая: лучи солнца, падая на нее, рассыпались по всей постели, и сквозь тонкую розовую сорочку резко обрисовывались очертания тела. А она спала, ничего не слыша, и спокойно дышала. Дышали ее груди, сильные, назревшие груди матери, дышали синие жилки на шее, на висках под мягкими кудерьками, дышали руки с ямками на локтевых сгибах.

– Стешка! – позвал Кирилл, еле шевеля губами, и, затаив дыхание, несколько секунд всматривался в нее, радуясь тому, что вот она – такая освобожденная – вся принадлежит ему, как и он весь принадлежит ей, что между ними нет и тени подозрения, недоверия, что они с каждым днем все нежнее и бережнее относятся друг к другу. – Стешка! – еще раз, еле слышно, позвал он и согнул было колено, намереваясь припасть к ней, и задержался. «Что ты? Маленький, что ль? Пусть спит», – упрекнул он себя, хотя ему непреодолимо хотелось, чтобы она проснулась и, как всегда по утрам, пожурит его за то, что он так рано поднялся, и поцеловала бы его огромную ладонь... И уже не в силах сдержать себя, он нагнулся над ней, желая обнять ее, но Стеша дрогнула, будто от испуга. Сначала она дрогнула еле заметно, как зыбь на реке. Но вот в ее теле появились какие-то внутренние толчки, а полуоткрытые сочные губы зашевелились и даже изогнулись. Так они изгибаются у нее, когда она чем-нибудь недовольна, но не хочет об этом говорить. «Ну вот, видишь, не могу же я оставить тебя одну в такой тревоге», – и, неожиданно найдя оправдание своему поступку, Кирилл качнулся к ней. Ноздри у него раздулись, сильная шея выгнулась, а сам он – глыбистый и огромный – упал на колени, сминая небрежно сброшенное одеяло.

– Ты, Кирюха? – сквозь глубокий сон проговорила Стеша и, вялая, вскинула руки.

– Хочу тебя испить, – Кирилл припал губами к ее плечу и, словно воду из ручья, глотнул теплоту ее тела.

– Пей. Пей вволю, – сказала она так, будто дело шло о чем-то весьма существенном, без чего Кирилл не смог бы спокойно провести день, и, по-девичьи протирая глаза, засмеялась, поняв, что говорит не то, не так. – Ох, слонушка мой! Ты уже на ногах? Но ведь ты вчера говорил, чтобы раньше десяти не будили. Как же это? А-а? – И, ожидая, что он будет оправдываться, как оправдывается всегда, ссылаться на то, что у него есть какая-то спешная работа на строительстве, которую надо выполнить именно в этот ранний час, и зная, что дело-то вовсе не в этом, а в том, что ему перед уходом хочется услышать ее

голос, – она, показывая розовый, с темным ободком сосок, сама не зная почему волнуясь, проговорила: – Смотри, Кирилл. Соски назревают... и груди набухли. Значит, скоро, – и шепнула ему на ухо: – Потерпи... и не переставай меня любить такую... уродливую...

Кирилл широко улыбнулся. Улыбка открыла белые крупные зубы. Зубы у него ровные, будто точеные, но один клык сломан. Кирилл как-то говорил: еще в парнях он поспорил, что за полдюжины пива перегрызет горлышко бутылки. Тогда и сломал зуб.

«Вот какой дурень был», – подумала Стеша, рассматривая его лицо, ожидая, что-то он скажет на ее слова.

Кирилл наклонился над ней, взял ее за нос и потрепал:

– Это ты зачем? А? Говоришь такое?

– Боюсь я иногда... Кирилл. Ведь я такая... с пузом.

– А-а-а. А знаешь ли? – И, путаясь, Кирилл стал подыскивать слова, чтобы выразить то чувство, о котором он никогда никому не говорил. – Знаешь ли, я ведь это... ну, как тебе сказать! Ну, мать люблю в женщине. Увижу беременную, и хочется подойти к ней, приласкать ее и сказать слово такое: «Носи, мол, носи: ты землю украшаешь». Вот, видишь, штука какая. – Он передохнул и обнял Стешу. – А ты ведь не только мать, ты – материха моя. Во какая! – Он широко развел руками и поднялся. – Я тебе об этом еще не рассказал. В Италии я видел картину «Страшный суд». Ну, картина такая, знаешь ли, и художника звать чудновато – Микеланджело. Умер он давно. Он святых разных рисовал. Своих святых давал. Ты видела, как Христос нарисован в церквах? Беленький, с тоненькими ручками, ножками... А тут, понимаешь ли, сидит парень такой... плечи у него... ручищи... силач.

– Как ты?

– Угу. Грузчик. А неподалеку от него Ева. Вот это – мать! Мне прямо показалось, род людской на земле действительно произошел от нее. А ведь в священное-то писание я не верю.

– А она красивая, Ева, Кирилл?

– Не завидуй.

– А ты мой Христосище, – Стеша взяла его руку, поцеловала ладонь и положила ее к себе на живот.

Живот раздавался в бока и казался самостоятельным, совсем не принадлежащим обычному, подобранному и упругому, как гуттаперча, Стешиному телу.

«Как изменилась она у меня вся... и какая она у меня хорошая!» – подумал Кирилл, почему-то стыдясь сказать ей все это, и хотел было отойти от нее, чтобы скрыть свою необузданную страсть, но Стеша снова поймала его руку, снова положила ее к себе на живот и, взглядываясь куда-то во внутрь себя, тихо проговорила:

– Слушай-ка, Кирилл.

Под ладонью появились выпуклости. Они то пропадали, то вздувались, и Кирилл ясно ощутил, как кто-то живой толкается в ее животе.

– Да он же действует. Озорник! Давай-ка его сюда. Ну! Живо! – и крепко обнял Стешу, приподнимая ее всю.

– Тихо. Тихо, слонушка, – Стеша закрыла глаза и, не выпуская руки Кирилла, проговорила: – Ох, что это ты какой хороший у меня, Кирилл. Я словно на жилу попала. Не понимаешь? Это я о тебе. Больше узнаю тебя и крепче люблю... вот как крепко, что иной раз прямо страшно становится: вдруг все это уйдет. Почему это, Кирилл?

– Вот тут уж я и не знаю. А ты валяй это хорошее загребай из меня охалками, а я из тебя пригоршнями: у меня пригоршни больше твоей охалки, – как всегда, чуть насмехаясь над ее нежностями, ответил Кирилл.

Но Стеша знала, так делает он потому, что ему хорошо, радостно и что он, «такой верзила», всегда стесняется высказать ей свои чувства, и простила ему его насмешку.

## 2

Раннее утро сбегало с гор.

Вдали за увалами, за дикими, зубчатыми и причудливыми вершинами гор брызгами лучей рвался восток. Казалось, там, вдали, может быть, за двести – триста километров, кто-то мечет пылающие головешки в темно-синее небо.

Утро гор.

Вот оно поднимается, наступает все своим широченным фронтом – пышное, бодрое и чуть-чуть студеное.

Кирилл почувствовал эту студеность на своих щеках: щеки приятно защипало, и ему показалось даже, что они у него розовеют, как розовели в дни юности.

– Приятно-о, – проговорил он и со всего разбегу, подобранный, вскочил на оседланного коня.

Конь – старый приятель, рыжий жеребец Угрюм, – понесся галопом, пересекая площадь, направляясь к электростанции. Но седок сорвал его с обычного пути и направил в другую сторону, минуя котлованы, склады, землянки. На горе конь замедлил бег и пошел легкой рысью. Он не шел. Он, играя всеми четырьмя ногами, вытанцовывал свой утренний лошадиный танец и словно совсем не ступал на землю аккуратными точеными копытами. А рыжие бока подтянутого живота у него лоснились красными отливами, и уши шныряли туда-сюда.

– Ух, ты! Молодец! – Кирилл круто натянул поводья, и Угрюм рванулся к опушке леса.

Осень крутилась по откосам багряными листьями клена. Гремучие и

шершавые, они сыпались отовсюду, точно кто огромным фуганком строгал небо и охапками во все стороны разбрасывал кленовую стружку. От избытка листьев, казалось, и земля горела желтым пламенем, а лес вспыхивал из-под низу, от корявых корней, бросал отблески на верхушки берез, на полянки кружевного ягодника... И играл ветер. Он выскакивал из глухих балок, налетал на лес, трепал его, ероша перья на присмиривших воронах, а прорвавшись на полянку, падал в сухие травы, замирал. Но тут же снова срывался, налетал на Кирилла Ждаркина, бил его в лицо могучими крыльями. А Кирилл, спрыгнув с коня, шагал навстречу озорному ветру и орал во все горло:

– Ого-го-го! Ого-го-го! Черт возьми все на свете!

Листья вихрем метались у него под ногами, взвивались, падали ему на грудь, на голову, засыпая его всего, превращая и его в пылающий разноцветный костер осени, а он, крупно шагая, разводил длинными руками и, выкрикивая одно и то же, лез напрямик сквозь перепутанные ветви клена, березняка и дуба. За ним, низко опустив голову, прижав уши, вынюхивая след хозяина, крался рыжий жеребец. И со стороны казалось – вот сейчас он кинется на человека, шагающего впереди, и между ними завяжется смертельный бой.

И разом все смолкло...

Будто кто-то сильный шугнул ветер, и ветер, затаившись где-то у себя в логове, примолк, присмирел... и все застыло в тишине. Только лились лучи солнца – мягкие, теплые, как улыбка счастливой матери.

Кирилл хотел было снова закричать, но, удивленный такой резкой переменой, сдержался и пошел медленней, прислушиваясь к хрусту листьев под ногами... и все кругом тихо хрустело, шуршало: с дуба падали тяжелые лиловые желуди, осыпались сережки с берез, ветельник пустил в просторы свою мягкую паутину, разбрасывала во все стороны пряную мяту полынь...

В утробе земли зарождалась весна.

– Да ты ведь вот такая же осень... Стеша, – прошептал Кирилл, взволнованный неожиданным сходством, и упал на землю, раскинул руки и поцеловал ее.

Через миг, озираясь, он вскочил, боясь, как бы кто-нибудь не заметил его. Но около него никого не было.

Только солнечная тишина спокойно лилась на пламенеющий лес да на подожженные полянки ягодника.

– Экий... развалился, – проговорил он и, повернувшись к Угрюму, посмотрел в большие, навывкате, умные глаза. – Купаться! Пойдем? Ты, рыжий. Только уговор – не утопи. Утопишь, отвечать будешь. Я ведь – ого-го! – член ЦИКа – раз шишка, секретарь горкома – два шишка. Понял? Ну, заморгал буркалами, – и, сняв с жеребца седло, уздечку, он ребром ладони наотмашь ударил его в бок. Жеребец икнул, очумело попятился, глаза у него налились кровью, уши плотно прилегли, как у собаки, и даже показался оскал зубов. Кирилл, широко расставя ноги, вскинул кулаки и захохотал. – Ну-ну... озверел! Сунься. По морде дам. Что

ж, я с тобой должен шутить, как с котенком? Экий котенок.

Конь, успокаиваясь, попятился и, упав на землю, начал кататься, храпя, отдуваясь.

– Ну, вот... валяй, кувыркайся. А я раздеваться буду.

Раздевался Кирилл медленно, кося глаза на Угрюма, зная его хитрые повадки, остерегаясь нападения, и будто ни о чем другом и не думал. Верно, иногда у него через весь лоб чиркала глубокая складка, губы плотно сжимались, и тут, обычно незаметные, татарские черты в его лице резко выступали. В этот миг, глядя на него, можно было с уверенностью сказать, что на обрыве стоит татарин – с широкими скулами, с крупным, чуть приплюснутым носом, – но с серыми глазами и кудлатой головой славянина. Очевидно, когда-то давно, может быть еще во времена нашествия Батыя, кто-то из ханского полчища гулял на пиру у предков Кирилла.

– Ха-арашо. Очень ха-арашо, – произнес он, кому-то подражая, и, растирая грудь рукой, прошелся, ступая босыми ногами по траве.

Солнце било из-под низу, сбоку освещая Кирилла.

Грудь у него широкая, сильная и чистая, без единого пятнышка, только под правым соском – розовый рубец, след от удара шашки. На груди, между двумя мускулистыми буграми – впадина. Она спускается от горла, тянется между буграми узкой полоской и ниже, почти над животом, расплзается, переходя в крепкую надбрюшную мускулатуру. Руки у него, пожалуй, длинны и слишком красны в кистях, а все тело – не белое, а смуглое и спокойное. Но вот Кирилл вздохнул, грудь приподнялась, расширилась, живот ушел вглубь, на боках вздулись мускулы, словно скрытые под кожей жгуты, они зашевелились, задвигались, а ноги стали твердые, точно высеченные из камня. Кирилл вскинул руки вверх и повел корпусом влево – на спине около лопаток появились ямки, извилины, вдоль сильного хребта пролегла лывина, и вся спина, грудь, руки заиграли мускулами.

– Гож, – сказал он, видя свое отражение в воде.

Он хотел еще несколько минут постоять на солнце, чтобы оно его «пропекло», да и не было сил нарушить тишину: в это утро река дремала на солнце, как иногда дремлет сытый зверь, прищурив глаза; даже неугомонный, всегда шуршащий камыш и тот был спокоен. Только изредка по реке пробегала легкая зыбь и, словно сметая пыль, тут же замирала. И Кирилл забылся, упиваясь предзимней песней земли: земля пела отовсюду – из мелкого оголенного осинника, из глухих ущелий, из ложбинок, от трав и как бы, уходя в свое зимнее логово, прощалась с Кириллом...

И Кирилл забылся.

Но рыжий жеребец давно стерег его. Он осторожно поднялся с поляны, зашел за куст рябины и, низко опустив голову, долго исподлобья рассматривал нагую спину. Иногда он приподнимал голову и, ощеря желтые зубы, вытягивал ее по направлению к реке и снова опускал, наливаясь силой, готовый в любую секунду

сделать скачок. И, выждав, он, пригнувшись, точно волк, мелко перебирая ногами, тронулся из-за куста рябины...

– У-ух! – вскрикнул Кирилл от неожиданного толчка в спину и, падая, выправляясь в воздухе, бултыхнулся в воду. Вынырнув, он глянул на обрыв. Там стоял рыжий жеребец, низко опустив голову, и словно смеялся.

– А-а-а, гад! Украдкой действуешь. Я вот тебе задам, лошадиная морда, – погрозил Кирилл и поплыл на середину реки.

Жеребец затоптался на обрыве, ища спуска. Но спуска не было. И конь снова остановился, низко опустив голову.

– Балбес! Меня пихнул, а сам лесенку ищешь?

Угрюм, словно поняв слова Кирилла, поднялся на задние ноги и – чего никак нельзя было ожидать – словно купальщик с вышки, шарахнулся в реку. Над рекой взлетел столб хрустальных брызг... И рыжий жеребец, раздувая ноздри, пошел на Кирилла Ждаркина.

– О-о-о! Хахаль! – Кирилл рассмеялся и стал обходить жеребца, увертываться от его ударов, перелетая через его спину или ныряя ему под живот. Иногда он внезапно вспрыгивал на спину Угрюму и, выкрикивая над ухом обидные слова: «Лошадиная морда!» – кубарем летел в реку, хохотал, бил длинными руками, окатывая морду коня. А конь крутился, ляскал зубами, стараясь вцепиться в нагое тело, и по-лошадиному стонал.

– Дурак! Дурак! – И, ухнув, Кирилл метнулся в камыш, ломая его, как буйвол.

Потеряв хозяина, Угрюм заржал, трубно, призывно, делая скачки, поднимая со дна красную тину, словно нанося реке раны. Вскоре он снова увидел Кирилла. Тот, скрываясь за корягой, плыл к обрыву, намереваясь выскочить на берег... И рыжий жеребец кинулся наперерез. Он несся повизгивая. Глаза у него потускнели, стали бездвижные и злые, как у змеи.

«Обозлился... А ведь он такой, может смять!» – мелькнуло тревожно у Кирилла.

– Уйди! Назад! Убью! – крикнул он.

Угрюм на миг задержался, затем весь извился и, вытянув морду с оскаленными зубами, кинулся к Кириллу – могучий, величавый и страшный. И вот морда приподнялась, из краснокровянистых ноздрей хлынули две сильные струи воздуха, затем конь взметнулся всем корпусом, и два копыта, поблескивая подковами, повисли над головой Кирилла.

– О-о-о! – уже не на шутку перепугавшись, Кирилл подпрыгнул в воде и, не жалея жеребца, ударил его кулаком по морде.

Угрюм всхрапнул, замотал головой и, сделав крупный скачок, снова настиг Кирилла.

– Черт! – вырвалось у Кирилла, и глаза его потемнели, стали злые, бездвижные, как и у жеребца, а плечи вздулись. И как только Угрюм снова поднял над ним копыта, намереваясь всей тяжестью своего тела придавить его,

Кирилл, точно угорь, нырнул ему под брюхо. Вынырнув, он схватил его за хвост. – А-а-а! Попался! Лошадиная морда, – торжествующе пронеслось над рекой, и Кирилл быстрее кошки вскочил на спину коню.

Почувствовав на себе седока, Угрюм моментально присмирел. Только остроконечные, с серой каемкой, рыжие уши то и дело плотно прижимались, а тело вздрагивало, точно от укулов.

– Ух, и хитрый же ты, рыжий, – отдуваясь, проговорил Кирилл, плеская ладонью воду на шею коня. – Теперь опять будешь ждать, когда я промахнусь. Ишь тихоня, присмирел. Ну, пошел на берег! Пора за работу!

Почерневший от воды конь, напрягаясь, карабкается на кручу. На мокром коне сидит нагой Кирилл Ждаркин и вместо повода уздечки держит прядь золотистой гривы...

По реке пробегает зыбь, и шипят в травах лучи солнца.

### 3

То были необычайные дни – дни, полные тревог, волнений. Волновались все – и Кирилл, и Стеша, и Аннушка, и даже шофер, которому Кирилл, не выдержав, сообщил, куда и кто Кирилла вызывает. Волнениям и тревогам, еще ничего не зная, поддалась и домашняя работница – тихая Аграфена. Она так же, как и все, таинственно улыбалась, будто говоря: «А я вот знаю то, чего никто еще не знает и о чем узнают только потом». А когда через Аннушку узнала, почему в доме «такой переполох», – села на свой сундучок в кухне и обомлела. Но больше всех, конечно, волновался Кирилл. Он не находил себе места: не мог ни долго сидеть, ни долго спать, ни долго обедать, ни долго разговаривать с людьми, а глаза у него горели, как у юноши, и Стеша иногда в шутку бросала ему:

– Ты вот такой в парнях был, – и как-то, наедине, сказала: – Какой ты счастливый, Кирилл: вот и увидишь его!

– Счастливый? А ежели вздует?

– Ну, ничего... потерпишь... Зато его увидишь.

Кирилл волновался не только потому, что его вызывают, но еще и потому, что не знал, зачем вызывают. Об этом он решил переговорить по телефону с Богдановым, который в это время находился в урочище «Чертов угол» на строительстве металлургического завода:

– Понимаешь ли, вызывают в Кремль.

– Кто вызывает? – спросил Богданов.

– Ну, он. Что ты, не знаешь, что ль? Генеральный секретарь нашей партии.

– А-а-а!

– Вот тебе и «а-а-а». А зачем?



– На твои кудри подивиться, – буркнул Богданов.

– Нет, ты не шути, а помоги.

– Чем же это я тебе помогу? Что я, провидец, что ль? Впрочем, ты ему докладную записку посылал?

– Да ведь с тех пор сколько уже прошло.

– Ну, не знаю. Во всяком случае приготовься по этому делу.

И Кирилл отправился в Москву, прикрепив на грудь орден Красного Знамени и значок члена ЦИКа. Стеша старательно прилаживала их ему на отворот куртки и настолько была возбуждена, что выпроводила Кирилла без пальто, без запасного белья, и, только когда Кирилл сел в вагон, она вспомнила и об этом, но было уже поздно: поезд тронулся. И Стеша бежала за поездом, кричала:

– Кирилл! Не сердись! Я тебе все это пришлю! Ты прости меня! Я ведь тоже обо всем забыла!

– Ладно! Обойдусь. Как-нибудь!

Таким его и унес поезд в Москву.

Но как только он прошел кремлевские ворота, то вспомнил, что Сталин тоже член ЦИКа, а значка не носит, что он тоже военный человек, но вот ордена не носит.

«Фу! Вздумалось же мне налепить эти штучки. Экий! – Кирилл быстро сорвал значок, орден и сунул их в карман. – И Стешка тоже... дурочка...» Он тяжело вздохнул и вошел в обширную, уставленную мягкой мебелью, устланную коврами комнату. За одним из столов сидел работник аппарата. Он глянул на Кирилла сердито, и Кирилл сразу почувствовал, что в чем-то уже провинился перед этим человеком. «К нему, что ль, обратиться?» – подумал он и назвал свою фамилию.

– Опаздываешь, – упрекнул тот. – Велено было в десять, а ты – в одиннадцать. Что, в шашки, что ль, приглашают тебя играть?

– Трамвай... трамвай, знаете ли. Я ведь им не управляю, – пробормотал Кирилл и хотел было еще что-то сказать в свое оправдание, но человек, улыбнувшись, перебил его:

– Трамвай. Сам ты – трамвай. Ну, иди... не робей... Дядя. Иди, – и показал на дверь.

Экий милый парень.

Кирилл рванул дверь, переступил порог и – странно! – тут же успокоился, будто вошел в свою комнату.

Успокоился и удивился: он ждал, вот сейчас попадет в еще более обширную комнату, нежели приемная, уставленную еще более роскошной мебелью, с тяжелыми гардинами на окнах, как это бывает в кабинетах больших людей. Но перед ним была длинная, с побеленными стенами комната без ковров и портретов. Только в углу стоял бюст Ленина да на стене висела огромная карта Советского

Союза, а под картой – схемы деталей паровоза, трактора, комбайна. Вот и все. Комната чистая, опрятная, но потолок низкий, сводчатый, как в старинных кладовках. На столе два телефона, недопитый стакан крепкого чая, сотенная коробка с папиросами «Аллегро» и маленький флакончик из-под духов, а во флакончике – три фиалки. В комнате со сводчатым потолком фиалки казались чересчур яркими, живыми и не к месту. Но в эту секунду Кирилл особого внимания на фиалки не обратил: он не видел перед собой Сталина, перед ним был кто-то другой.

«Не он», – с горечью и почему-то снова волнуясь, подумал Кирилл и шагнул к столу.

Человек, оторвавшись от бумаг, затуманенными глазами, будто ничего не понимая, посмотрел на Кирилла. Затем широким размахом отодвинул от себя зеленую папку с бумагами и, поднявшись из-за стола, отрывисто и даже грубо, видимо еще не избавившись от своих дум, сказал:

– Здравствуй. Товарищ Сталин очень занят и велел мне поговорить с тобой...

Перед Кириллом стоял Сергей Петрович Сивашев.

– Ну! Садись, крестник, – сказал он и улыбнулся, показывая ряд белых ровных зубов.

«Не принял...» И Кириллу вдруг стало «все равно». Все равно – понравится или не понравится он Сивашеву, все равно – будет или не будет он говорить с ним.

– А я ведь к нему ехал. – Кирилл хотел еще что-то сказать, но Сивашев перебил его:

– К нему? Это ты правильно...

– Вот... вот... и я хотел это же... у ево, – невольно подражая Сивашеву, глухо и с еще большей обидой произнес он.

– Но ты сам виноват. Разиня. Он тебя ждал до десяти... Ну, ничего. Ты это... не горюй. Он, может, придет. А мы давай работать. Бездельников не любят. Считают их хуже воров... Понимаешь? – Сивашев вынул из стола тетрадку – это и была докладная записка Кирилла Ждаркина. – Читали мы твое сочинение. Понравилось. – И, сложив в щепоть пальцы, он косо ткнул рукой в тетрадь.

«Ого! Значит, деньгу дадут», – решил Кирилл и наклонился над тетрадкой.

Но Сивашев отодвинул тетрадку в сторону и стал расспрашивать о настроении крестьян, о руководителях края. Расспрашивал он тихим, спокойным голосом. Движения рук у него в эту минуту были чуть косые, плавные и скупые, но под глазами то наливались, то пропадали мешки, и это выдавало, что Сивашев внутренне не так-то спокоен, как хочет казаться. И другое заметил Кирилл: за время работы в Центральном Комитете партии Сивашев как-то весь подтянулся и стал внешне будто суше.

– Драчка! Скоро будет большая драчка, – вдруг проговорил он и заходил по кабинету, клонясь вперед, бросая отрывистые слова. – Некоторые разыгрывают из

себя культурников! За ними надо глядеть. В оба. Да, да, в оба и посмелей, – и весь сжался, точно перед прыжком.

«Не зря его прозвали «тигровым человеком», – подумал Кирилл, вовсе еще не понимая, о какой «драчке» говорит Сивашев.

– Нынче надо глядеть и за теми, кто «ни туды ни сюды». Понимаешь? Вот Жарков... – Сивашев ткнул пальцем в зеленую папку с бумагами, в ту самую, которую при входе Кирилла он отбросил от себя. – Вот Жарков. Был секретарем крайкома, а в борьбе с Троцким занял позицию «ни туды ни сюды». – И, чуть подождав, снова заулыбался, затем взял тетрадь, присланную когда-то Кириллом Ждаркиным, и стал читать. Читая, он все время одобрительно кивал головой.

Это не была обычная докладная записка, напичканная цифрами, цитатами, это был продуманный план переустройства села, мотивированный жизненными фактами, – и Сивашеву это очень понравилось. Правилось ему и то, что в записке говорилось не только о вещах – о хозяйстве, о школах, о плотинах, о прудах, о конюшнях, театрах, то есть не только о материальных ценностях, но и главным образом о человеке.

И все шло прекрасно, пока Сивашев не натолкнулся на те пункты в докладной записке, где говорилось о деньгах.

– На постройку плотины – двести тысяч рублей? – сурово спросил он и красным карандашом жирно вычеркнул этот пункт.

– Зачем черкать-то? – запротестовал Кирилл.

Сивашев нахмурился, хотел было возразить, но в это время открылась боковая дверь, и в кабинет вошел человек в куртке военного образца, в белых брюках и в сапогах с короткими голенищами. Он шел к столу, пересекая комнату наискось, весь плотно сколоченный, без лишних движений рук, головы, туловища. Из полутемного угла он выступил стремительно. Сивашев быстро поднялся из-за стола, уступая место, а Кирилл невольно сделал несколько шагов назад и прислонился к стене.

– Товарищ Ждаркин, – проговорил Сивашев и показал на Кирилла.

– А-а-а, – в глазах человека блеснула еле заметная усмешка, но он тут же приложил руку к груди, отвел и, чуть не касаясь рукой пола, шутейно раскланялся перед Кириллом, произнес: – Иосиф Сталин.

– Вижу, – чуть не вскрикнул Кирилл и крепко сжал протянутую ему руку.

– Будь гостем дорогим. – И, повернув ладонь Кирилла кверху, Сталин удивленно, все так же не переставая улыбаться, проговорил: – Эге. Лапка. А мать жива?

– Жива.

– Все такие? Дети.

– Нет. Я один такой выпер.

– Хорош «выпер».

«О чем это он со мной?» – мелькнуло у Кирилла, и он растерялся.

Сталин, поняв растерянность Кирилла, глядя в сторону, заговорил еще проще:

– От земли, стало быть, приехал? Хо-орошо-о. Очень. – И, прищурившись, добавил: – Записку вашу мы читали. Сердитесь, почему долго не отвечал? Всему свое время. Ну, зато в Москву вызвали... Что? Опешил?

«А ведь он со мной на моем языке говорит», – подумал Кирилл и сказал, лишь бы не молчать:

– Сергей Петрович денег не дает, товарищ Сталин.

– Скупой?

– А он упорный, – подчеркнул Сивашев.

– И то и другое хорошо. Крестьяне, например, наши... – И Сталин заговорил о крестьянах, причем ни разу крестьянина не назвал мужиком, но в разговор то и дело вставлял народные слова, совсем не стесняясь употреблять их так, как употребляют их сами крестьяне. Слова эти были яркие, меткие, но подчас весьма ядреные.

– А вы вот на свадьбах у крестьян гуляете? – неожиданно спросил он Кирилла.

– Нет.

– Почему?

– Да ведь за это...

– Зря. Надо быть ближе к народу... с народом. Гуляйте на свадьбах. Ума, конечно, не пропивайте... – Сталин чуточку подождал, и глаза его снова глянули куда-то мимо – мимо Кирилла, мимо Сивашева, мимо кремлевских стен – куда-то далеко в пространство, и разом вспыхнули, ожили, «вернулись обратно». – Вот есть такая сказка – легенда про древнего богатыря Антея. Не читали? Почитайте. Каждый раз, когда этому Антею в борьбе с противником приходилось туго, он прикасался к груди своей матери Земли и снова набирался сил и становился непобедимым. И только Геркулес, – Сталин возвысил голос и вскинул руки вверх, как бы поднимая кого-то, – и только Геркулес, оторвав Антея от Земли – от матери, в воздухе задушил его... А наша мать – народ. – Это было сказано сильно, взволнованно, и Сталин как бы распахнулся, впервые открыл себя всего, но тут же снова движения рук у него стали плавные, чуть-чуть косые – скупые.

«О-о-о, вон он какой! – воскликнул Кирилл про себя. И то ощущение недосыгаемости Сталина, которое вначале так было сковало Кирилла, молниеносно исчезло, и он увидел перед собой другого Сталина: Сталина, которого он знал по борьбе с врагами партии, по фронту. – Наш ты... наш... кровей наших!» – хотел было он сказать, но слова показались ему слишком громкими, и он заговорил о другом, заговорил о своем дяде Никите Гурьянове, чтобы иллюстрировать только что высказанную мысль Сталина. о народе. Кирилл рассказал про путешествие Никиты Гурьянова в поисках «страны Муравии, где нет коллективизации», и закончил рассказ выражением самого же Никиты:

– «Живучи на веку, повертись и на сиделке и на боку».

– Как? Как? – Сталин вдруг захохотал. – Живучи на веку... Как? – и, не переставая хохотать – громко, раскатисто, – заходил по кабинету, то и дело повторяя: – Живучи на веку... живучи. Вот! Слышал, Сергей Петрович? – и поднял палец кверху. – Вот она – крестьянская диалектика. И живет теперь в колхозе – этот самый дядя Никита?

– Да. Живет... и работает. Говорит, радость новую нашел и «душа на место встала».

– Душа на место стала? – Сталин чуть вскинул голову и искоса посмотрел куда-то в сторону. – Это хорошо. Душа на место... это хорошо. У крестьянина никогда душа на месте не была: страх не давал ей покоя... Но вы особенно не утешайтесь: дядя ваш еще может показать себя.

– Оно, конечно, – согласился Кирилл, поняв, что слишком похвалился перед Сталиным.

– Ну, вот видите, – мягко упрекнул Сталин. – Впереди у нас еще много дел. – Он подвинул к себе докладную записку Кирилла и стал ее читать. Читая, он натолкнулся на слово «ляпус» и тут же поправил его, написал: «ляпсус». – Ваша машинистка из ляпсуса сделала новый ляпсус, – и посмотрел на Кирилла. – А скажите, это... – он ткнул в записку карандашом, – только ваши думы или и думы народа?

– И народа, товарищ Сталин.

– Правду говоришь?

– У меня язык не повернется, чтоб сказать вам неправду.

– Хо-орошо-о. Очень хо-орошо-о. Талантливые люди в нашей стране разгибают спины...

Что еще тогда было? Да, вот что. Наступила длинная пауза. Сталин долго смотрел в окно на Кремль, Сергей Петрович уткнулся в папку с бумагами, а Кирилл неотрывно рассматривал фиалки во флакончике, совсем не понимая, как и зачем они сюда попали. Впрочем, он об этом вовсе и не думал, он думал о другом: фиалки напомнили ему широкобуераковские поля, леса, народ... и перед ним снова встал Антей... И Сталин со вскинутой рукой и его слова: «И только Геркулес... оторвав Антея от Земли – от матери...»

– На фиалки смотришь? – прервал его думы Сталин.

– Да.

– Дочка прислала. Она у меня командир. Командует. Придешь домой, а она командует: «Давай кино... и никаких гвоздей». – «Как, говорю, «никаких гвоздей»? Нам гвозди нужны... мы строим. А ты – «никаких гвоздей». – «Без лишних слов, товарищ Сталин, говорит. Садись. Крутить кино будем». Ну, ладно, валяй командуй. – Сталин снова посмотрел куда-то в пространство и спросил Кирилла: – А у вас дети есть?

– Да как же, как же... Аннушка.

– Дочка, значит?

– Она, конечно, дочка... но отец другой. Но, – Кирилл развел руки, – но дочка, конечно. Люблю. Но у меня еще сын был от прежней.

– А-а-а, стало быть, меняла?

– Да нет, а так как-то несподручно выходило.

– Я не обвиняю. Но нам и тут надо подумать и создать такую семью, чтобы мы гордиться ею могли.

«Вот мы со Стешкой такую и создадим!» – хотел было сказать Кирилл, но спохватился, решив, что это будет неуместным хвастовством, и снова заговорил о том, что Сергей Петрович не дает денег. А потом уже пойял, что об этом во второй раз не надо было упоминать, что если Сталин обошел молчанием этот вопрос, стало быть он вполне согласен с Сергеем Петровичем. И тут спохватился Кирилл, но было уже поздно: глаза Сталина вдруг посуровели.

– Денег? – сухо проговорил он. – Все требуют денег... Денег, денег, денег... и все круглые цифры. Вот у вас в записке – сто пятьдесят тысяч, триста тысяч, двести тысяч. Батюшки! Тут еще – шестьсот тысяч. Все круглые цифры. Что ж, вы думаете, мы тут не разбираемся?

– Да нет, что вы, – растерянно пролепетал Кирилл.

– Страна, дескать, большая, денег много. Что им – валяй... – Но, увидав, как ошарашивающе подействовали его слова на Кирилла, Сталин заговорил мягче: – Поймите, нельзя строить, хотя бы и образцовый район, исключительно на государственные средства. Чем вы счастливее других? Тем, что впереди других идете? Приветствуем от всей души. Тем, что план разработали? Приветствуем от всей души. Но... какая вам лично – да и всем – будет хвала и честь, если мы отпустим средства, а вы постройте? Постройте-ка на свои.

– Да. На свои, – по-ребячьи надув губы, проговорил Кирилл. – Но ведь у меня своих станков нет.

– Эко грохнул. Своих. А у нас, что ж, свои, что ль? Народные.

«Прав, прав он! Опять прав!» – решил Кирилл и хотел было сказать об этом, но Сталин перебил его, внезапно предложив съездить за границу.

– Не все там ругай, там есть чему и поучиться, – сказал он.

Кирилл растерянно ответил, что он не знает «чужого языка».

– Экая гора из каши, – сказал на это Сталин.

И Кирилл даже как-то забыл, что перед ним Сталин, и говорил с ним так же, как говорил, допустим, с Богдановым. Иногда даже вступал в спор, стремясь опрокинуть тот или иной довод Сталина. Сталин внимательно вслушивался, а выслушав, начинал спокойно возражать, и глаза его в эти минуты горели усмешкой, такой, какая бывает у отца, когда он говорит о серьезных делах с маленьким сыном. Но усмешка эта вовсе Кирилла не унижала, не оскорбляла, она его задирала, она ему как бы говорила: «А ну, валяй, валяй, тянись... покажи себя всего».

– Страна у нас большая, огромная, народ нам верит... поэтому надо сто раз отмерить и... подождать, опять подумать, – говорил Сталин. – Поэтому всякую мечту, всякое даже очень хорошее предложение надо как следует обдумать... не то – «горшков набьем много». Но уж раз проверил, раз народ подхватил – иди вперед, не оглядывайся, не чеши в затылке, не то и народ, глядя на тебя, тоже будет чесать в затылке.

«Опять другой», – подумал Кирилл и, взволнованный, выхватил платок, намереваясь вытереть лицо.

Вместе с платком из кармана вылетел орден Красного Знамени.

– Да у вас орден. Почему не носите? – спросил Сталин и, опередив Кирилла, поднял с пола орден.

– Фу-у-у ты-ы, – вырвалось у Кирилла, и, принимая орден из рук Сталина, он ото всей души сказал: – Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот теперь буду гордиться: орден принял из ваших рук.

– Валяй. Гордись. – И Сталин засмеялся тихо, в себя, и заговорил о том, что не пора ли Кириллу «сменить руль». – Как ты думаешь, Сергей Петрович, не сменить ли руль твоему «крестнику»?

– Надо бы, – ответил Сивашев.

И еще помнит Кирилл...

Была ночь. Летели темные хлопья снега, они падали на крыши домов, устилали дороги, слепили глаза. Из теплой, белесой пурги таращились огни новостроек.

В эту ночь по высокой, похожей на стену древнего замка плотине расхаживали Богданов и Кирилл Ждаркин. Тут было тихо, и Богданов всегда уходил сюда, чтобы обдумать то или иное большое дело. И теперь они шагали молча, оба в серых шинелях, и теплый крупный снег лежал у них на плечах, на фуражках. Иногда Кирилл, очевидно намереваясь заговорить, встряхивался, и снег падал с него пластами, как штукатурка. Но Кирилл молчал, ибо он не знал, с чего начать и как: то, что свершилось в партии, ошарашило его, как ошарашило и многих молодых коммунистов, не искушенных еще в вопросах политики. Иные молодые коммунисты, в том числе и Кирилл Ждаркин, наивно считали Бухарина, Каменева, Зиновьева, Рыкова «учениками Ленина», и вот теперь те выступили со своими программами, с программами, которые никак не укладывались в голове Кирилла. Он никак не мог понять, чего ж они хотят. Остановить движение страны? Помириться на том, что есть, – на колеистых дорогах, на ветхих фабричках, на бороне, на сохе? А ведь Кирилл уже видел Запад – с его мощной индустрией, с его гудронированными дорогами, с его тракторами, с его аэропланами, автомобилями. Помириться на том, что есть, значит – снова превратиться в старую Русь, которую в свое время изрядно трепали.

– Ничего не понимаю, – наконец, проговорил он. – Для меня – строить социализм значит жить.

– Сволочи! – не отвечая Кириллу, а высказывая свои мысли, заговорил и Богданов. – Забывают, что у партии память велика... и партия хорошо помнит, как Каменев приветствовал восхождение на престол Михаила Романова, как они с Зиновьевым во враждебной печати выболтали план об Октябрьском восстании... как Бухарин боролся с Лениным и намеревался его арестовать... А что значит – арестовать Ленина? Мы знаем, как «арестовали» немецкие бандиты в свое время Карла Либкнехта... Все это не случайно.

– Но чего они хотят?...

– «Парламент». О-о-о! Подходящие были бы фигурки для болтовни в парламенте.

– Но у тебя тут злость, а не рассудок, – возразил Кирилл. – А я хочу знать: чего они хотят?

– Прикрываются Лениным, как горой, а на деле идут против него, о народе не думают. Для Каменева народ – глупцы, стадо. Для Зиновьева народ – отара. Для Бухарина? Бухарин более ушлый. Он сулит народу магазины, набитые мануфактурой, блаженство. Вишь, грохнул: «Обогащайтесь!» Это кулакам-то!.. Мирно вращайтесь в социализм. Ты вот хорошо знал Плакущева. Как он мирно вращался в социализм? Что он настряпал в долине Паника?... Сулит блаженство, но за таким блаженством – море крови... А в сущности тянут к реставрации, к сдаче на милость врага... А нам надо стать железной силой. – Богданов забежал по плотине, кутаясь, по старой привычке подхватывая обеими руками брюки, и резко кидал слова: – Мы их так тряхнем, что только пух полетит. «Страна устала». «Страна изошла кровью». Вишь, на что ссылаются. Как будто вся партия не знает, что страна устала, что ей надо бы отдохнуть. Знает. Но ведь есть мотивы более веские. Враг напирает, враг собирается с силой – и вне нашего государства и внутри, – и если мы в ближайшие же годы не превратимся в могучую силу, враг нас утопит в крови... Да, да, милый мой, утопит. Никакой милости, никакой пощады от него не жди... И поэтому надо подтянуть на время животы и ринуться вперед. И ты езжай на совещание. Езжай и скажи там от всего сердца то, что думаешь. Ты – народ. Может, устыдишь... Хотя они давно и стыд и совесть потеряли. – Богданов снова зашагал молча, затем повернулся к Кириллу и, из-под низу глядя ему в глаза, хитровато улыбаясь, проговорил: – Ты только имей в виду: на всяких совещаниях в Москве хорошие работники не только говорят, но и дела делают. Многие остолопы думают, что на конференциях, на съездах, на совещаниях большевики только и занимаются тем, что разговаривают. Нет, милый мой, там и дела делают. Понимаешь? И ты к тому сунься, к другому сунься. С пустыми руками не приезжай...

#### 4

...Кирилл попал в Москву в самый разгар боев.

Спор поднял страну... и тогда Сталин бросил новый клич: «На всех парах устремиться вперед. Иного выхода нет».



– Ого! Что хозяин-то делает, – проговорил Кирилл, подсаживаясь к Лемму, которого тоже – как члена ЦИКа – вызвали на совещание. – Молодец. Многие уже закричали, а он смотри-ка чего: на всех парах вперед.

Лемм пожевал губами и стал развивать перед Кириллом ходячую в то время теорию о деградации крестьянского хозяйства.

«Экий хрен смоленный: все на крестьян ссылается... И какое он только на это имеет право!» – подумал Кирилл и в упор посмотрел на Лемма, впервые видя, что лицо у того не просто старое, а какое-то измызганное, с мелкими синими жилками, похожими на плесень.

В это время в президиуме промелькнул Бухарин. Он пробежал быстро, юрко, как мышка. Рыжая борода у него клинышком, на голове плешь, а сам он весь какой-то кокетливый.

– На девушку похож... которая это... на выданье себя чувствует. Верно?... Как он? Воюет?

– Башковатый, – подчеркнул Лемм. – Первый марксист у нас.

– Ну, это ты опять зря! И у кого это у нас? – обозленно бросил Кирилл и, увидав Сергея Петровича Сивашева, хотел было подняться и пойти к нему, но тут же нагнулся и сообщил Лемму: – Нам деньги нужны на строительство. Понимаешь ли? И ты бы вот похлопотал. Может, замолвишь перед кем-либо словечко? Я неопытный. А Богданов прихворнул. Печень у него, – врал Кирилл и даже обнял Лемма.

– Вот тут и гвоздь. На всех парах вперед, а пети-мети нет. – Лемм потер палец о палец так, как будто в пальцах была монета.

– Э-э-э, да ты расстраиваешь только, как нарыв. – Кирилл поднялся и пересел в другой ряд.

Первые дни в зале совещания шли страстные споры, и участники выслушивали ораторов с большим вниманием. В первый же день выступил Зиновьев. Когда он вышел на трибуну, в зале все примолкли, а Кирилл удивился: Зиновьев вовсе не был похож на политического деятеля – у него огромная, лохматая голова, и, видя эту голову, можно было предположить, что туловище у него могучее, но у него были хрупкие ноги, щуплые, хилые руки. И еще больше удивился Кирилл, когда Зиновьев заговорил тонким, звонким голосом кастрата. Зиновьев долго говорил о стране, о людях, особенно долго о крестьянстве, снова повторяя, что для подъема экономики сельского хозяйства надо – «и во что бы то ни стало» – создать условия, чтобы каждый крестьянин приобрел лошадь, что коллективизировать крестьянство еще рано. Это были в сущности те же мысли и те же доводы, которые когда-то высказывал Илья Гурьянов. Высказав все это, Зиновьев принялся «каяться», признавать свои ошибки... и не успел он еще закончить речь, как по залу были пущены злые слова: «Гриня Зиновьев дерет сам себя... как медуза». Следом за ним тогда же выступил Каменев. Этот походил на деревенского торгаша, содержателя постоянного двора «на бойком месте»: у него серая борода, сам он низенький, кряжистый, из таких торгашей, которые одним ударом валили с ног крепких купцов. Этот тоже говорил очень долго и страстно,

но чего он хочет – Кирилл не понял. И ему показалось даже, что с Каменевым и спорить не о чем. Но на Каменева напали и разнесли его. А тот сидел и недоумевающе разводил руками, как бы говоря этим: «Ничего не понимаю... и за что только меня лупят?»

А сейчас вот выступил Бухарин. Свои теоретические выкладки он то и дело пытался подкреплять выдержками из Карла Маркса, Владимира Ленина и чаще из Фридриха Энгельса. А в сущности все, что высказывал Бухарин, оскорбляло настоящих коммунистов. Тут было и «обогащайтесь», и «стабилизация капитализма», и «деградация крестьянского хозяйства». И речь его многих молодых коммунистов не только удивила, но и оскорбила: некоторые молодые коммунисты учились и по книжкам Бухарина, особенно в вузах, на рабфаках... и вот теперь, когда вся страна сдвинулась, он натянул вожжи и предлагает отдохнуть... подождать... присмотреться... И молодые коммунисты, в том числе и Кирилл Ждаркин, слушая Бухарина, с омерзением думали:

«И как это я верил ему!...»

Первые два дня оппозиционеров еще слушали, но на третий день с утра, во время выступления бухаринцев, зал почти опустел. Участники совещания разгуливали по коридорам парами, тройками, группами. В зале сидели только те, кто ждал своего «слова»; сидел в зале и Кирилл. Наконец и он не вытерпел и ушел.

В коридорах шли деловые разговоры: одни просили «по-товарищески» отпустить тракторов, другие – выписать из-за границы необходимое оборудование, третьи – тоже «по-товарищески» – просили ссудить денег. Кирилл ехал на совещание, чтобы выступить в защиту генеральной линии партии, выразителем которой в то время являлся Сталин, но тут он вдруг увидел, что вопрос о том, с кем идти, давным-давно решен, что все эти люди, как и Кирилл, непосредственно связанные с действительностью, – директора заводов, начальники новостроек, руководители совхозов, секретари крупных партийных организаций, – все те, для кого построение социализма в одной стране вовсе не дискуссионный вопрос, как не дискуссионный вопрос для голодного – садиться или не садиться за стол, уставленный яствами.

– Ба-а-а! – вскрикнул Кирилл, перепугавшись, что с общего стола все расхватывают, и кинулся разыскивать нужных ему людей, которые могли бы «кое-что» отпустить на строительство металлургического завода в урочище «Чертов угол». «Вот взгреет меня Богданов. Эх, вислоухий, вернусь теперь с пустыми руками», – с тоской подумал он и, увидав Сергея Петровича Сивашева, небрежно расталкивая людей, кинулся к нему.

– Сергей Петрович! Помогай... помогай, пожалуйста, – торопливо, даже не поздоровавшись, проговорил он.

– Что? Опять, что ль, «пей-гуляй, однова живем»?

– Да нет. А вот – материальцу бы... на строительство.

– Да ведь тебе сейчас выступать надо.

– Ну, это как-нибудь потом... А вот материальцу бы... голичек бы, машин... того, другого.

– «Того-другого». Ишь ты, язычок-то какой, – и, подхватив Кирилла под руку, повел его, представляя: – От земли. Зовут Кирилл Ждаркин... А надо бы назвать Глыба. У ево под ногами земля хрустит, – и шепнул Кириллу: – Так и валяй-коверкай из себя мужичка: податливы наши главки на это. Мужичок, дескать, у ево карман богатый. А каша сама в рот не лезет. У-у, черт! – Он ткнул кулаком в бок Кирилла и скрылся.

Кирилл закружился. Сначала он чувствовал себя так же, как если бы кинулся вплавь один через большую реку, но потом быстро освоился.

Одному строителю – на юг – он запродавал несколько эшелонов соснового леса, в уме прикинув, что сведет самый старый лес, тот, который уже стал гнить на корню. У другого забирал в обмен на уголь десять вагонов овчин, не доверив ему из овчин шить полушубки.

– Мы сами сошьем. Зачем же вас утруждать, – говорил он, в то же время думая: «Экий. Натискает в полушубки всякой дряни, а потом кряхти».

Кирилл заглянул в зал. Там кто-то произносил с трибуны страстную речь. «Ну, этот договаривает», – решил он, снова кинулся в коридор и неожиданно столкнулся со Сталиным.

Сталин держал под мышкой картонную папку.

Около него юрко вертелся Бухарин. Он был ниже ростом и, заглядывая в лицо Сталину, что-то говорил, но Сталин смотрел куда-то в сторону и словно не замечал его. Увидав Кирилла, Сталин вдруг улыбнулся, проговорил:

– А-а, иностранец! Ну, как руль?

– Ничего... помаленьку шагаем, товарищ Сталин.

– Помаленьку это вот Бухарин шагает. А ты? Ты вон какой!

– Ну, ему ж надо мирно вращать в социализм, – пошутил Кирилл. – У нас один был такой, дружок Бухарина... Илья Гурьянов... тоже все собирался мирно вращать в социализм, кричал: «Обогащайтесь!», «Через отрубца – к коммуне!» А потом восстание сварганил.

Сталин сдержанно засмеялся:

– Слыхал, Бухарин, что земля говорит?

Бухарин дрогнул и сжался... и вдруг рыжие волосы его, до этого будто гладко причесанные, как-то обвисли, и стал он весь похож на попа-расстригу.

– Жестокие вы люди. – И в голосе Бухарина зазвенела обидчивая нотка. Он хотел еще что-то сказать, но круто повернулся и скрылся в комнате президиума.

– Обиделся. – И, взяв Кирилла под руку, Сталин как бы между прочим сказал: – Люди настаивают Бухарина вывести из Политбюро.

Кирилл на это ответил – вначале робко, потом со страстью:

– Смотрите, вам виднее. Но... ведь море нельзя задержать. А Бухарин все еще норовит море задержать. Экий ведь столб столкнули. А теперь что выходит? Опять его на старое место врываешь? Да ведь вот они, – показал Кирилл на людей, расхаживающих в коридорах. – Они уже давно проголосовали за Сталина, – сказал он так, как будто перед ним был не Сталин, а кто-то другой, перед кем он защищал Сталина. – И Бухарина надо это... гнать.

Сталин ничего на это не сказал и, переложив папку из одной руки в другую, направился в зал.

– Пойду. Заключительное слово.

Люди хлынули в двери, заполняя зал, наводя порядок.

Все это Кирилл вспомнил, прочитав постановление Центрального Комитета партии о выводе из Политбюро Бухарина.

«А о чем еще он тогда со мной говорил? Ах, да...» Сталин спросил, почему на совещание не приехал Богданов. Кирилл ответил: «У него дела на строительстве». – «Вы его берегите, – сказал Сталин. – Берегите. Да и жените его. Жени-ка».

– Жени? Шут его женит, – ответил тогда Кирилл.

И вот теперь, – уже побывав за границей – в Германии, Франции, Италии, уже вдоволь поработав на строительстве металлургического завода в качестве секретаря горкома партии, обогащенный опытом и знанием, – он снова вспоминал о совещании в Москве и о том, какую напряженную борьбу провела партия против оппозиционеров, и легкомысленно решил, что теперь путь к коммунизму открыт, свободен и по нему можно двигаться твердой поступью без излишних помех.

Кирилл приостановил коня на возвышенности по пути к перевалу.

В утренней синеве величаво высилась, поблескивая серебристыми снегами на вершинах, шапка Темир-тау – горы железного сердца. Казалось, она совсем близко. Вот стоит только спуститься в низину, затем перевалить вон через тот косогор – и очутишься у подножия Темир-тау.

Но Кирилл знал, до Темир-тау километров двести – двести пятьдесят.

– Да-а, – протянул он и взволнованно подумал: «И коммунизм вот такой же: кажется – вот тут, рядом, а до него надо переть да переть».

## 5

Угрюм вынес Кирилла в гору – на перевал – и остановился, нетерпеливо ударяя копытом о меловую лбину. Коню хотелось носиться по полям, по лесам, как когда-то носились его дикие предки, убегая от человека и зверя. И конь нетерпеливо бил копытом, норовя схватить седока за ногу. Но Кирилл был уже

совсем не такой, как там, на берегу. Там глаза у него часто смеялись, а сам он походил на деревенского шаловливого парня. А теперь взгляд у него был задумчивый, суровый: он видел перед собой необъятную долину реки Алая, усыпанную деревеньками, селами, и далекую гряду гор с девственными лесами, урочище «Чертов угол», поросшее карликовыми сосенками, березками, и строительную площадку, расположенную в огромном котловане. Над площадкой колыхается туча пыли, поднятая руками строителей, а по долине реки Алая, пересекая поля, тянутся люди. Вглядываясь в этот людской поток, Кирилл видел и всю страну – страну на колесах, в пути, в движении. И страна эта бушевала.

Страна бушевала, как бушует под сиверкой синее, всклокоченное море, и била гребнями волн направо, налево, хлестала по людским лодкам, лодочкам, разносила вдребезги нытиков, немощных маловеров... и стонала, выла, омытая слезами земля. Земля стонала, как стонет мать, утерявшая детей своих в огне – на пожарище, и стоны ее перекатывались через степи, через болота, через тундру, через таежную глушь. А люди все поднимались. Люди. Сто семьдесят миллионов – татары, мордва, русские, украинцы, белоруссы, жители кавказских хребтов, Памира, Дальневосточного края, ледяного Севера и горячего Юга. Они поднимались пачками и неслись кто куда, кого куда судьба затащит, – одни в города, другие в Кузбасс – в Сибирь глухонемую, на Магнит-гору – в царство бурого медведя, на Волгу, где когда-то гулял Степан Разин. И шли, шли, шли. И в полях – на пригорках, в горах – на перевалах, у болот, родников и рек, по всему пути великого шествия полыхали костры, пиликали гармошки, плакали ребяташки, мычали коровы, ржали кони, очумелыми глазами всматривались во тьму взрослые, а девушки пели заунывные песни, нежданно-негаданно расставшись со своими милками.

Так же, как на Урал, на Кузбасс, как на Север, на Байкал, в край звериных троп, так же люди шли и в урочище «Чертов угол». Многие из них еще совсем не представляли себе, что через два-три года тут пролягут гудронированные дороги, а там, где теперь кишат миллиарды комаров и мошек, расхлестнется парк, вырастут корпуса домов, – и навсегда сгинет урочище, вытесненное красавцем металлургическим заводом.

Ах, да что там чужая мечта! Мечта Кирилла Ждаркина, Богданова, коль есть своя – доморощенная. Это она, своя мечта, впилась в сердце, сосет, мучит, гонит из одного конца страны в другой, заставляет вскакивать по ночам и очумело вглядываться во тьму непросветную. Не изведен путь человеческий. И куда-то закинет судьба – к морю ли с солнечными водами, в степи ли с буйными ветрами, или на север с его вечной мерзлотой?

Эх, перевернуть бы мир вверх тормашками, вцепиться бы обеими руками в сердце земли, стиснуть бы его в несусветной злобе, кровью его омыть себя, сбросить с плеч старость, немощность и рвануться бы к другим, к тем, кто живет, как «вольная птица». Вон они разведают знаменами и хвалятся, что идут класть фундамент... не собственной избы, конюшни, а социализма. Скажите на милость, какая честь! Нет, уж ежели ты кол вбил собственной рукой да на своем дворе – так он твой... Хошь крутись около него, как пес на привязи, хошь... вешайся.

Да-а. Вот оно как... И надо – хошь не хошь – а вот так оттолкнуться всеми перстами, рвануться и бежать куда глаза глядят, петь песни, скакать около костров, как скачут вот эти люди иной породы.

И пожилые, бородатые, обремененные семьями, своими думами, с удивлением посматривали на людей «иной породы» – на комсомолию.

– Что за народ такой? Ровно на пир идут. Особо вон тот востроглазый, – показывали на Павла Якунина из Полдомасова и кричали ему: – Эй! Ухарь! К нам: потешь, душу развесели малость.

А Павел Якунин, парень в восемнадцать лет, никогда ни над чем не задумывался, никогда не морщил лоб, как его отец – печник Якунин, а выходило все хорошо. Он вовсе не думал, что в пути сколотит бригаду и потом станет героем на строительстве. Он просто носился, как жеребенок, от табора к табору, пел лихие песни, плясал, рассказывал смешные небылицы, и люди льнули к нему: старики при нем молодели, даже самые суровые, кем-то обозленные там, у себя в деревнях, улыбались ему, а он больше чем кому-либо улыбался Наташе Прониной, комсомолке, девушке из Сибири.

– Из Чалдонии я, Паша, – сказала она, как только встретилась с ним.

– Ага. Чалдоночка, значит? – И под музыку балалаек, гармошек, тазов и ведер Павел закружил ее в танце.

У Наташи глаза синие-синие, как весеннее утреннее небо. Синие и лучистые. А губы тонкие, почти незаметные, только верхняя приподнята и часто шевелится, даже когда Наташа молчит. А вся Наташа точно выюн. Вот она входит в круг, вскидывает руку, кладет ее на плечо Павлу, быстро осматривает всех, будто говоря: «Ну, какова я?...» И пошла. Она идет, перебирает ногами, вытягиваясь на цыпочках, и тело ее извивается, выскальзывает из рук Павла.

– Ты какая-то неуловимая, Наташка, – шепчет он и крепче прижимает ее к себе.

– А ты уж больно цепок, парень, – отвечает она, но не отталкивает, а льнет к нему, кружась с ним в танце.

Эх, ты-ы! Развернись плечо, размахнись удаль... Как не полюбить такую девушку... И зачем тут так много раздумывать?

– Я сбежала... от матери, не подумай – еще от кого. Махнула рукой и сказала: «Мама, ты и без меня век доживешь, а я пойду искать свою долю». А теперь мне ее жалко. Поди-ка, все сидит под окном, на дорогу смотрит, ждет – не подойдет ли ее доченька, – рассказывала она Павлу, хотя он ее об этом и не спрашивал.

Но через несколько дней ему захотелось о ней знать все: как-то неожиданно для себя, для многих, они отстали от толпы и провели ночь до утра, без костров, под диким кустом орешника. И периной для них были мягкие, голубые, шелковистые мхи. А на заре, проснувшись так близко друг от друга, они долго смеялись над собой, над тем, как неловко, как неумело они в эту ночь раскрыли тайну юношеских грез. А когда догнали своих попутчиков, то Наташа, присев на лужайку, сказала:

– Па-шек, подь, приляг вот тут, – и, положив русую голову Павла к себе на колени, посмотрела на всех, го-говоря глазами: «Этот сокол мой. Навек мой».

И ее глазам все поверили, и все позавидовали ей. Хотя люди в этот полдень думали совсем о другом: они подходили к урочищу «Чертов угол» и знали, что к вечеру вольются на строительную площадку. И что-то там им приготовила судьба?

## 6

В таком бурном потоке, конечно, никак не мог удержаться на месте Егор Куваев из Широкого Буерака – печной мастер, «Студент», как звали его за то, что он когда-то при всем честном народе «наплевал в морду уряднику». Егор поспешно продал горбатенькую избенку, зарезал единственную овцу, созвал соседей, таких же голышей, как и он, и на берегу реки Алая закатил пир горой.

– Эй! Ши-ря! Куваев гуляет! – кричал он, потрясая кочкастыми кулаками. – Вот где у него богатство – в башке, – и с остервенением бил ладонью по голове, затем смолкал, шептал мечтательно: – Эх, и разгулялось же синее море. Теперь всю труху с земли сметет. Капут-крышка.

– Студент! Студент! – Бурдяшинцы лезли к нему, тормошили его, просили: – Ты разверни, выложь на ладонь – почему труха?

– Вы ведь кто? – Егор задергал моржовыми усами и всеми десятью пальцами сунул в бурдяшинцев. – Тля земная! Букашки!

– А почему тля? Почему букашки? – И кое-кто из бурдяшинских удалцов уже засучил рукава, а жены приглушенно завыли, предчувствуя бой.

– Чтобы жемчуг достать, на дно моря... мыряют и акул не боятся. А вы? Вы – кроты, в землю лезете мурлом.

– Как – кроты? Как – мурлом?

И бурдяшинцы избили Егора до полусмерти. Несколько дней он пролежал на берегу реки Алая.

Ребятишки за леденцы таскали ему водку. Куваев пил на тощий желудок, окунал голову в воду и на четвертый день скрылся. Этому никто не поверил, ибо все знали, – он уже не впервые продает избенку. Вот образумится, зашибет «целковый» на кладке русских печей, выкупит избенку и опять заживет мирно. Но тут ошиблись. Куваев понесся, как бумажка, подхваченная бурей, и, перебрасываясь из деревеньки в деревеньку, ералашно разносил хвалу о себе.

– Эй! Хозяин! – гремел он, входя в избу. – Не знаешь, куда Егор Кузаев девался – золотая голова? Вот он! К тебе в гости. Режь барана, руби башку петуху, ничего не жалея. Что? Печка развалилась? Наплюй. Куваев идет класть печку на тыщу спин. Ложись, грейся! Капут-крышка! – и поднимал людей на ноги, беря зависть к себе, к своей удали, превращаясь в знатока всех дел на свете; к нему бежали за советами, поили его водкой, пьяного переносили в

переднюю избу, клали на девичью постель, мыли в бане, а он, возомнив себя главным лицом государства, давал советы направо и налево; мирил драчунов; гулял на свадьбах как посаженный отец; торговался с вербовщиками, выколачивая задаток на дорогу, заставляя пропивать его, уверяя:

– Чтоб большой целковый – с колесо, примерно, – достать, надо, мил сокол, в тебе собачий дух вином залить: собака – жадная, а всего за свой век конуру нажила. А жить надо вот как, – и, забежав в кооператив, он, кивнув на полку с флакончиками одеколона, спросил: – Почем ведро стоит?

– Два рубля пузырек, – любезно ответил приказчик. – Ведрами же, Егор Иванович, не торгуем.

– А ну, налей мне полведра, назола, – и, опрокинув одеколон на себя, крикнул от удущья, бахвалясь: – Вот какой Куваев: у него денег – куры не клюют.

Деревня митинговала, стонала, скрипела зубами, выла, как воеет сиверка: вскакивали мужики с постелей, выбегали на волю, глядя в небо, думали – куда идти, куда повернуться? Но вот приходил Куваев и успокаивал – насмешкой, издевкой, своим ухарством, ухватками. И от души отлегалось, на сердце становилось веселей. Как за такое дело не попоить человека, не помыть его в баньке? Да за такого сокола любую дочь отдать не жалко. Но дочерей за него не отдавали, хотя Куваев и пробовал свататься к молодайкам, к девкам. Девки отворачивали нос, молодайки подсмеивались над его моржовыми усами – и он переправлялся в другую деревеньку.

Вот таким козырем и прилетел Егор Куваев в урочище «Чертов угол», вволю, месяца три, погуляв по деревенькам. Увидав горы, он оторопел. Горы полукругом тянулись около строительной площадки и, изрытые землянками, напоминали погорелые села.

– Милые мои, псы жадные. Вас кипятком, как тараканов, ошпарили, а вы опять за свое. Занорились. – И пошел по землянкам, дразня людей, потешаясь над ними. – Ну, дворцы! Нет, таких не было у царя Додона. А знаете, царь Додон... – и рассказывал придуманный случай про царя Додона.

Иные ему в злобе грозили:

– Молчи... Скулы своротим.

– За что? Ты лучше ставь бутылку: научу, как жить.

А люди все поднимались, как поднимаются пески, гонимые бурей, и двигались во все концы страны, каждый за своим, каждый со своей мечтой, одни – чтобы показать свою удачу, другие – за «длинным рублем», третьи – чтобы «мир перевернуть», но все вместе – хотели или не хотели – жили в эту тревожную годину одним:

«Догнать и перегнать Запад».



Кирилл выезжал на перевал каждое утро. Главная цель таких поездок заключалась в том, что здесь, в этой людской каше, он подбирал людей, из общего потока выхватывая способных, даровитых, тех, кто уже имел «вес», и вместе с Богдановым расставлял их по «командным высотам». Так он выхватил Павла Якунина, предложив ему создать бригаду из комсомольцев. Бригаду они назвали «Комсомольской» и, прикрепив к ней инженера-инструктора, поставили ее на кладку коксовых печей. Первые дни над бригадой смеялись не только инструкторы, инженеры, но даже и Богданов, однако вскоре она завоевала на кладке коксовых печей первенство. Так же он отыскал и Наташу Пронину, назначив ее начальником второго участка на торфоразработках. Кирилл взял установку на молодежь.

– Сопляков нагонишь и будешь плакать, – говорил Богданов.

– Ничего. У них головы свежие... а все остальное приложится, – отвечал Кирилл и продолжал подбирать молодежь, не пугаясь давать ей самую ответственную работу.

Было у Кирилла какое-то особое чутье, нюх на людей.

– Я, как гончая, – в шутку говорил он Стеше. – Войду в лес, бегаю, бегаю, все отыскиваю лежку зайца, а как напал на след – не оторвусь. Таких называют въедливыми: возьмет и не отпустит.

– Но ведь и зайцы бывают ушлые: пырснет километров на пять, и не догнать.

– Бывает... бывают и такие... например, Егор Куваев. Но мы их приструним.

Кирилл заносил в особую тетрадку, которую всегда держал при себе за голенищем сапога, фамилии актива. Перед каждой фамилией тянулись графы с вопросами: «Откуда прибыл? Что делает? Как и где живет? Женат или холост? Любит ли музыку? И вообще что любит? Ухаживает ли за кем? Есть ли дети? Не собирается ли жена рожать? Не обижается ли на что?...» Таких вопросов было много. И Кирилл, изучая активиста, ежедневно давал в тетрадке ответы: «Женат. Жена неважнецкая. Злая». Или: «Жена неплохая, но костерит советскую власть. Надо к ней кого-либо послать», и посылал коммунистку или как бы случайно заглядывал в землянку сам, долго беседовал с женой рабочего и снова писал: «Жена отошла, помягчала. Хорошо». И опять писал: «Ухаживает за клепальщицей. Хорошая девушка. Ей надо помочь». Или: «Женат. Жена не сегодня-завтра родит». Или: «Жена родила. Надо что-нибудь послать. И обязательно письмо». И бежал к Богданову, уговаривал его, и они посылали три метра сатину и теплое приветственное письмо.

Тщательно занимался Кирилл и техническим персоналом. За короткий срок выросли четыре каменных дома. В них они с Богдановым разместили инженеров, техников, бригадиров – и это в свою очередь укрепляло его популярность.

– Хороша. Пристяжка хороша, – говорил Богданов, восхищаясь тем, как развернулся Кирилл на строительстве. Он называл его пристяжкой, а себя коренником; и был весьма доволен тем, что теперь, при Кирилле, ему не надо заниматься ни подбором людей, ни «большими мелочами» – бытом, роженицами, больными, клубами и столовыми. Кирилл создал Богданову полную возможность

заняться строительством, разработкой планов, передвижкой людей сотнями, тысячами... И Богданов ушел, как он выражался, «в глубь кабинета», просиживал целые ночи над проектами, над устранением технических неполадок, испытанием отдельных агрегатов.

А Кирилл действовал вне кабинета – в котлованах, на стройке доменных печей, на каркасах литейного цеха, на горах, в землянках, в столовых, на перевале, называя такую деятельность «изучением жизни с подошв»... И популярность его росла. Когда он появлялся в горах среди земляных жителей или в недостроенном городе – дети бросали игры, обступали его, жаловались:

– Дядя Кирилл! Дядя Кирилл! Нам барак не дают: играть негде.

– Возьмем барак. Обязательно, – отвечал Кирилл. – И дворец пионеров построим. Непременно. Вы Богданова знаете? Ну, вот на него надо нажать, – и огромный, как слон, шагал, окруженный детворой.

А придя к Богданову, говорил:

– Давай дворец строить. Ребятишкам некуда деваться.

– Денег нет.

– Давай-давай, – напирал Кирилл.

– Чего ты с дворцом пристал! Денег нет.

– Давай-давай. Право же, давай. Найдем деньги... истинный бог. Ты что думаешь, я твои капиталы не знаю?

Все эти и подобные дела Кирилл называл «большими мелочами», но у него были и «главные дела», и они мучили его.

На строительстве металлургического и тракторного заводов работало до сорока тысяч человек. Многие пришли сюда за «большим рублем». И «большой рубль» рвали со всех сторон. Рвали жадно, по-мужичьи, скапливая деньги, пряча ее в сундучках, за пазухой у «бабы». Конечно, не все такие. Есть другие: квалифицированные рабочие, пришедшие из Ленинграда, Москвы, с Урала, комсомольцы, партийцы. Но те, остальные, – лапотники. И разве обязанность Кирилла и Богданова только в том и состоит, чтобы вовремя построить заводы? Нет. Кирилл пробирался к человеческим душам, и пробирался к ним не сверху, а снизу, как бы подкапываясь под них. До его прихода на завод было только три столовых и те замызганные. Он настоял – и на площадках построили восемнадцать столовых: чистых, с вкусными, но дешевыми блюдами.

– Пусть хорошо едят и не копят деньги, – говорил Кирилл.

Но этого было весьма мало, чтобы «опрокинуть старую душу». И Кирилл кинулся на другое.

На площадке не было стадиона, и ребята уходили в горы, к землянкам, там буянили, резали друг друга, дрались, выбивали стекла. Кирилл договорился с Наркомздравом, «наплел», что на площадках свирепствует малярия и надо во что бы то ни стало уничтожить озеро. Наркомздрав отпустил средства. Озеро очистили и построили стадион.

Стадион привлек с гор молодежь.

Но и это были только зачатки, «подходы», как говорил Кирилл, а ему надо было сделать что-то такое, что «взорвало бы скорлупу на мозгах». Он хорошо помнил, как вводил сдельщину на «Брусках», как сдельщина толкнула людей, подняла в них дух, восстановила производственную дисциплину. Но разве там, на «Брусках», Кирилл Ждаркин или тот же Захар Катаев и многие-многие работали только ради сдельщины? Разве ими в работе руководило не нечто другое? Стало быть, у людей есть что-то другое, что надо пробудить и направить в нужную сторону. Анализ этого «чего-то другого» Кирилл начал с себя, с Богданова и под конец пришел к такому выводу: если все станут работать так же, как работает Кирилл или Богданов, то нормы перекроются в несколько раз и люди будут жить красивее. А разве комсомольцев сюда, в глушь, в урочище «Чертов угол», пригнала сдельщина?... И он долго копался, искал это «что-то другое» и решил – это «что-то другое» и есть творчество. Вот волну творчества и надо поднять в народе, тогда отпадет охота копить деньгу, отпадет мечта вернуться «восвояси», люди полюбят завод.

С этой целью Кирилл и взял под особое наблюдение Павла Якунина.

О бригаде Павла Якунина всю кричали газеты... И сам Павел уже чуточку присмирел, и Кирилл, подметив это, сказал ему:

– Ты, Павел... только ведь ноготок показал. А в тебе целый клад лежит. Докопайся. В нутро залезь. Вот задача – опрокинуть технические нормы.

И с того часа неотрывно следил за Павлом.

Тяжелее всего было Кириллу с «ушлыми», типа Егора – Куваева. Таких тоже было немало на строительстве. Одиночки-кустари, зазнайки, как деревенские гармонисты, – они приносили с собой производственный анархизм, кичливость и косность.

Егор Куваев уже второй месяц пьянствовал в горах. Он прошел «Шанхай», «Васенин ряд», дольше всего задержался в поселке «Распивочно и на вынос»; тут были и гуленые девки и водочное изобилие. И недавно прослышал, что внизу, на строительной площадке, «геройствует Якунин».

– А-а-а! Знаю я его, знаю. Бывало, все по пятаку складывался на выпивку. Вот пойду-ка я с гор, как пророк, и – под ноготь его, – сказал Егор.

– Смотри, ногти не обломай, – предупредили его.

И в этот день Кирилл записал: «С гор сошел Егор Куваев. Величает себя пророком».

## 8

Тайны...

Тайны девичьих сердец, юношеских помыслов – что они перед той, какую

затаил в себе Павел Якунин? Это она, неожиданно вселившаяся в него, смахнула с его лица смех, вытряхнула веселость, беззаботность, мучает, терзает, доводит до исступления, и иногда он готов обоими кулаками враз грохнуть по своему сооружению, выругаться, как ругается при неудаче отец, и махнуть туда – в горы, развеселить душу, размотать по шинкам грусть несусветную, тряхнуть плясовую в кругу горских парней и разбитных девок.

Но она держит... эта тайна.

Ах, ты-ы! Победить бы ее, подчинить бы себе, как подчиняют наездники диких лошадей, схватить бы ее вот так крепко, сжать, как сжимают пойманного дерзкого ястреба, и перед народом, перед всем миром крикнуть: «Вот она! Держу!»

Да. Младшему Якунину не спалось. Вот уже несколько ночей напролет он возится в углу. Угол в комнате он отгородил от отца, от посторонних глаз, что-то хранит там.

Совсем недавно на строительство приехал русский писатель, проживающий постоянно во Франции. Общественные организации встретили его на вокзале с «помпой», ему устраивали банкеты, водили его по строительству, и он, всматриваясь во все, сомневался, просил показать ему «настоящего ударника». Его подвели к Павлу Якунину. Лицо у писателя вытянутое, особенно губы: точно у ежа; волосы рваные, седоватые, спина сгорблена.

– Скажите, товарищ Якунин, – спросил он, – что вами руководит в работе?

Павел растерялся, что-то пролепетал и умоляюще посмотрел на Кирилла Ждаркина.

– Ну, скажи, Паша... скажи, – ободрил Кирилл.

– Построить социализм, – ответил Павел, глядя себе в ноги. – И еще, – он заторопился, увидав искривленную улыбку на лице писателя, – и еще – быть достойной сменой большевиков.

– Но ведь и милиционер строит социализм! – с досадой сказал писатель.

– Это так, – согласился оскорбленный поведением писателя Павел, – и милиционер социализм строит. И в газетах так пишут...

...Читая газеты, Павлу иногда хотелось крикнуть: «Тайна! Тайна, черти полосатые! Вот что терзает!» – И он из ночи в ночь возился у себя в углу.

Он из чурок понаделал восемьдесят шесть моделей – конусов, рогулек, завитушек, кубиков, сняв формы с тех кирпичей, из которых складывались коксовые печи, и клал в углу миниатюрную печь. Клал, перекладывал, иногда со злобой спихивал кладку ногой, с остервенением отворачивался, решая оставить всю эту затею. В самом деле, чего еще Павлу надо? Соревнуясь с бригадой Шкунова, с опытными мастерами кладки, бригада Павла Якунина побила их, вырвала у них из рук первенство. А ведь в бригаде отца, старшего Якунина, все – опытные каменщики, у Павла же – молодежь. Что еще надо? Слава есть, почет есть. Теперь бы только ходить с Наташей в кино или в театр. Ведь недавно на строительство приехала труппа артистов из Москвы. Говорят, здорово

«разыгрывают». А то – в лес, в горы. Павел любит горы, и Наташа любит горы... А тут еще этот приехал – писатель с вытянутым, как у ежа, лицом, «Что руководит вами в работе?» Вот еще – хренок... И Павел снова кидался в угол, собирал рассыпанные деревянные модели, понимая одно, что он не в силах оставить эту «затею». Иногда он приглашал Наташу, и та обслуживала его, то как подавальщица кирпича, то как помощница каменщика, а Павел проверял кладку по часам, по минутам, по секундам... И вот вдруг, неожиданно раскрылась тайна.

– Ого! – воскликнул он и перепугался, сочтя все это за сон. Он даже ущипнул себя и, когда убедился, что не спит, тихо рассмеялся: все было так просто и так ясно, что и думать и мучиться над этим вовсе бы не стоило. «Смешно, – подумал он, – чудно».

Сегодня он совсем не спал. Вечером к нему зашла Наташа, но она сразу же сказала ему:

– Пашенька, устала. Голова клонится, и ноженьки дрожат: торф брала на штурм, – и улыбнулась тепло, так, как улыбается молодая мать.

– А я вот штурм опрокинул, – зашептал Павел. – Штурм – что? Это значит: горбом. Нынче горбом, завтра горбом... А потом горб лопнет. А надо умом. Сноровкой.

– А я все-таки уйду от твоей сноровки в барак. – Наташа жила в бараке вместе с девушками-торфушками и с нетерпением ждала, когда Павлу и ей отведут отдельную комнату в одном из каменных домов строящегося города.

– Нет, сегодня ты тут до утра побудь.

– Да ведь голова-то валится.

– Тогда ты вот что. – Павел сорвал с гвоздя свое потрепанное пальто, постлал его на полу: – Ложись. Спи.

Наташа быстро уснула. Она не хотела этого, но так набегалась на торфоразработках, что сон сковал ее всю. Она спала. А Павел возился в своем углу, перекидывал, проверял, выверял, и когда лучи солнца ворвались в окно, он привскочил, затем нагнулся над Наташей, бережно затормошил ее:

– Наташка! Ты сегодня айда со мной на кладку.

– А как же торф?

Наташа увидела перед собой лицо Павла – измученное, с синяками под глазами, но глаза горели, и она поняла: ей сегодня надо идти с Павлом на кладку коксовой печи.

– Боюсь один, – говорил Павел. – А если ничего не выйдет? Я грохнусь. Вот чувствую, будто на сцене выступаю. Народу на меня глядит – тыщи, а я один разыгрывать буду... Споткнусь – значит грохнусь. – Он прошелся в другой угол комнаты, где за занавеской спали его отец и мать. – Отец! – позвал он. – Вставай! Поспишь, придет время, – и, подхватив Наташу под руку, вышел с ней из комнаты большого каменного дома, еще пахнувшего известью.

– Меня будить, отца... – проворчал старший Якунин. – И перечить я ему не

смей, потому – он теперь команда надо мной. Вон пошел. Девку какую-то подхватил. Что за девка? Ежели невеста, скажи. – Старший Якунин посмотрел в окно на удаляющегося сына, поднялся, умылся. Затем впервые заглянул в угол Павла. Долго стоял, рассматривая миниатюрную коксовую секцию из чурок, и, покачав головой, тихо произнес:

– В чурки играет. А еще невесту нашел. Сопляк, – и вышел из комнаты следом за сыном.

## 9

Над строительной площадкой металлургического завода дрожала прозрачная испарина, и солнце еще совсем по-молодому играло в водах Атаки, а над котлованом прокатного цеха уже работал деррик. Он – как гигантский краб, распустив когти, – чуточку задержался в воздухе и, дрогнув, всей тяжестью упал в котлован, вгрызаясь в землю, и тут же взвился, унося свою добычу на платформу.

– Умница, – сказал Павел.

– А экскаватор еще умнее, – добавила Наташа. – Или наши машины: гидроторф. Вот умницы. Ты приходи как-нибудь к нам на участок, погляди. Я на минутку, Паша, забегу, скажу девчатам, чтоб шли на торф без меня. – И Наташа вошла в общежитие.

Города еще не было. Он весь еще был в котлованах, в каркасах, заваленный железом, гравием, частями машин, пересеченный железными дорогами, и из огромной долины, окруженной горами, неслись приглушенные взрывы динамита, говор многотысячной глотки строителей, вздохи экскаваторов, стуки электрических молотков, над долиной плавала прозрачная туча пыли. Дальше за строительной площадкой, ближе к горе Адарлы, тянулись многоэтажные каменные, еще не доделанные дома.

Города еще не было... Но все росло, как растет трава под хорошим солнцем. Росли на горах и подслеповатые землянки. Среди землянок кишели люди. Несмотря на ранний час, носились ребяташки. А вон несколько человек, пьяные, валяются в канаве. Что только не творится в горах!

– На землянки смотришь? – подходя к Павлу, спросила Наташа. – Знаешь, вчера опять нашли там зарезанную девушку. Ты слышал? Это уж третья. Чудно зарезана. Ножом в живот. Старший врач говорит, на горах садист появился.

– Это кто? Бандит, что ли, известный?

– Да нет. Экий ты чудной. Садист... Ну, понимаешь ли?... Ну, – Наташа вся вспыхнула. – Ну... стыдно сказать... Вот кто. Он нападает на девушку и вместо того... Понимаешь? Ножом ее в живот.

– Экий сволочь! Его, что ж, словили?

– Да нет. А вот нас вчера собрали и сказали: «Комсомольцы, вам бы на горы надо заглянуть». Ребята наши пошли и девчата... а я перепугалась... у меня

ведь... Сам знаешь. Скоро ведь, – и прижалась к Павлу.

– Молодец, что не пошла, – одобрил Павел.

И уже всю остальную дорогу, хотя Наташа ему снова о чем-то рассказывала, ничего не слышал, не видел. И так, ослепленный, вошел на кладку коксовых печей. Бригада была вся в сборе. Юноши и девушки в фартуках каменщиков, дожидаясь сигнала бригадира, стояли по своим местам и тихо переговаривались, как перед боем. Павел моментально преобразился. Он быстро взбежал на подмости, откуда всякий раз наблюдал за ходом работы, но, вместо того чтобы подать команду, молча стал там.

– Павло! Давай команду, – понеслись голоса снизу.

– Пойдите. Попробуем другое.

– Э-э! Павел что-то опять придумал! – И бригада задвигалась, одобрительно зашумела.

Павел сошел вниз и расставил людей по своему способу. Он сделал самое простое. Раньше люди – старшие каменщики и их помощники – стояли каждый на своем участке: на той части кладки, которая отводилась ему. И каждый отвечал только за свой участок. Но такой прием был пригоден на кладке красного камня, где кирпич был весь одинаковой формы, а тут было пятьсот восемьдесят шесть форм, и поэтому люди всякий раз путались в номерах марок. Павел расставил людей по-иному: направив их к одной цели, разделив между ними весь процесс кладки, разложив его на составные части. Это вовсе не походило на тот конвейер, в котором люди знают только свою «пуговку», свое место, не представляя себе общего процесса. Нет. Это был новый прием – коллективный, в котором каждый знал и свою «пуговку», свое место, но ясно осознавал и весь общий процесс работы.

Расставив людей, Павел снова взбежал на подмости и по дороге шепнул Наташе: «Наташенька, дрожу весь, как в лихорадке...»

– А ну, крой, ребята! – крикнул он.

Руки каменщиков сначала задвигались медленно, люди еще несколько минут топтались на месте: все то, что ввел Павел, было еще совсем непривычно. Но люди в бригаде Павла были упорные, верили в Павла, и вот минут через десять – пятнадцать запел перламутровый, толстый и звонкий, как стекло, огнеупорный кирпич.

«Пошло!» – чуть не крикнул Павел Наташе и весь засиял.

Он стоит на верхних подмостках и ухом ловит музыку каменщиков. Музыка нарастает, поднимается. Ритмично постукивают деревянные молоточки, звенит кирпич, визжат вагонетки, и своеобразный гул растет, растет, заполняя все здание, и вместе с серебристой пылью вылетает наружу. Но вдруг в музыку каменщиков втиснулось что-то чужеродное, будто где-то на большом инструменте лопнула струна.

Павел побледнел.

– Что такое? – крикнул он вниз.

– Материалу! Марок! – хором понеслось оттуда.

– А-а-а! – И Павел стремглав несется вниз и находит брешь: это женщины и девушки в красных косынках, в стоптанных башмаках, румяные и разухабистые, задержали подачу кирпича – марки. И Павел идет к ним. Он идет к ним и посмеивается. Но девушки и женщины видят, ему вовсе не до смеха: под глазами у него синяки, губы насильно складываются в улыбку – и женщины, стыдясь своего поступка, быстро вскакивают из-под лестницы, из-под настилов, берутся за носилки, катят вагонетки с кирпичом, с материалом – особым огнеупорным составом. Следом за ними из-под лестницы медленно поднимается грудастая женщина и, лениво потягиваясь, тоже подходит к носилкам.

– А-а-а! Не выпалась? – спрашивает Павел. – Может, мне вместо тебя поработать? А ты поспишь.

– А ты что пугаешь? – Женщина вдруг резко повернулась к нему. – Нечего нас пугать. Пуганы мы.

«Вот эта и мутит всех, – решил Павел. – Надо выгнать».

И он еще ниже спускается по лестнице.

– Какая задорная. Как тебя звать?

– Как накакал, так и смякал. Вот как.

Женщины и девушки взорвались хохотом.

– Нет. Серьезно. Может, я тебе жениха подберу. – Павел улыбнулся только губами и полез в карман.

«Ишь улыбается, как Кирька: губы улыбаются, а глаза злющие», – подумала женщина, и вдруг в глазах у нее дрогнула тоска:

– Эх, все одно уж!.. Была я Плакущева, стала Ждаркина, потом Гурьянова. Вот какая моя фамилия.

– Какого Ждаркина?

– Чай, Кирилл Сенафонтыча.

«Врет!» – мелькнуло у Павла, и он уже настойчиво сует ей в руки листочек из блокнота.

– На-ка, получи расчет. Нам такие не надобны.

Но это действительно была Зинка, первая жена Кирилл Ждаркина. Отказ от работы вовсе не перепугал ее. Она взяла листочек и, переходя на секции соседней бригады, крикнула, глядя вверх на Павла:

– Эй, шибздик, вот я на твою записку! – И, мелко, как мышь, изорвав записку, она бросает обрывки на пол, топчет их: – И на тебя вот так же.

Затем, обдернув кофточку, намеренно выпячивая крупные груди, идет по доске, балансируя, как цирковая акробатка, – дразня каменщиков своим коротким, кургузым телом.



– Вот черт баба! – И пожилой каменщик из соседней бригады вскакивает на доски и гонится за Зинкой.

– Ты куда, Петр? – ревет на него старший Якунин.

– На один момент, – отвечает тот и скрывается под настилами.

В соседней бригаде хохот, визг, крики по адресу Зинки. В бригаде Павла Якунина ни одного лишнего звука. По крутым извилистым лестницам двигаются женщины с носилками. Они двигаются равномерно, в такт шагу раскачиваются, ровно утки, и руки у них оттянуты тяжестью перламутрового кирпича – марок. Марки идут по номерам. И у молодых мастеров при каждой новой марке хмурятся лбы: каждую марку надо знать, где положить, надо умело смазать материалом, смазать и уложить так, чтобы не было ни одной, даже незначительной щели, ибо скоро в печи разбухнет тысячеградусная жара, тогда газ выпрет наружу и печь выйдет из строя. Но членов бригады Павла Якунина сегодня тревожит не это, – к этим думам они уже привыкли, – а другое: что даст новый способ кладки?

И они молча, упорно укладывали кирпич, вовлеченные в бурный творческий поток.

– Побеждаем, – проговорил Павел. – Наташка... поди позвони товарищу Ждаркину и Богданову – пускай в восемь приходят глядеть. Экое чудо сотворили... Сотворили?... – Павел остановился, ухватившись за слово, впервые произнесенное им сознательно. – Сотворили? Вот оно что... творим. А он, этот писателишка... «Рубь, слышь, вами руководит. Так и говорите».

## 10

Егор Куваев долго стоял в стороне, наблюдая за работой каменщиков. Бригада Павла работала бурно, с натиском, и это Егору нравилось. Он иногда порывался даже стать в ряды каменщиков – молодых и задорных, но поступить так ему не позволяла его, Егора Куваева, гордость. И он презрительно дергал моржовыми усами.

– Мальчишки! И кому только деньги бросают. Эх, совенка власть – мотай на все стороны! – изредка бормотал он, дожидаясь, когда старший Якунин подойдет к нему и пригласит его. Ведь они не раз встречались в городах на кладке красного камня... Куваев хорошо помнит, как тогда Якунин любил выпивать. В праздничный день он раскладывал по кармашкам пять медных пятак и, приходя в трактир, обращаясь к сотоварищам, вынимал пятак, клал на стол и говорил: «А ну, сложимся на полкоровку». Выпив вместе с компанией полбутылки водки, он лез в другой кармашек, вынимал оттуда еще пятак и опять клал на стол, говорил: «А ну, сложимся еще на полкоровку». Так, пропив за праздник копеек двадцать – двадцать пять, не больше, он приходил на постоянный двор весел, улыбчив и все рассказывал, какой строит дом в селе Полдомасове на главной улице, откупив место у бывшего мельника Силантия Евстигнеева. Дом – шатровый, крытый

черепицей. И какая у него расторопная жена Егоровна: «Век с такой бабой проживешь и не взгрустнешь». Потом, построив дом, Якунин скрылся в Полдомасове. А теперь, вишь ты, опять что-то его оттуда вытолкнуло. – Ведь знает меня, кобель, а и не глядит, – пробормотал Егор и направился к нему.

– Слыхал, мастера тебе нужны! – крикнул он, обозленно осматривая молодежь. – Вот я и явился к тебе с гор, как пророк.

Старший Якунин, зная шарлатанство Егора Куваева, перепугался. Да по правде сказать, у него была и другая причина, чтобы спихнуть от себя Куваева: отец сегодня увидел, что его сын не в чурки играл, а придумал такое на кладке, что обогнало бригаду отца... и отец сказал:

– Э-э! Ты это не ко мне, Егор. У меня места нет. Ты вот к Павлу. Он команда. – И старший Якунин лопаточкой каменщика указал на сына.

– Гнида блохой, значит, командует, – враз и отца и сына обидел Куваев. – Эй, ты! Могу поработать, – задорно проговорил он, подойдя к Павлу.

Павел не любил каменщиков с большим стажем. Они страдали одним крупным недостатком – старыми окостенелыми привычками: они кирпич укладывали по-своему, так, как укладывали его десятки лет, работая в одиночку, «на себя». И эта работа в одиночку, «на себя», мешала коллективному процессу кладки: руки, ноги, весь корпус, движение всего тела – все у них, каменщиков, было подчинено, порабощено старым методом укладки, и эти привычки иногда ничем нельзя было выбить. Вот почему Павел недовольно посмотрел на Куваева и хотел ему грубо отказать.

– Возьми, Паша, – вступился отец. – Мастер он большой. Чай, сам его помнишь? И порука моя.

– Ну, ладно. Становись вот тут, – против своей воли, не желая при народе отказом срамить отца, согласился Павел и поставил Куваева на незаконченную секцию. – Только из башки выкинь, что ты мастер. Учись. Вот тебе инструктор. Он тебя натаскает.

Егор глянул на инструктора и буркнул:

– Что я, кутенок, что ль? Натаскает. Ничего, мы сами с усами, – и, зло метнув глазами, начал класть, быстро, проворно, так, как будто всю свою жизнь клал коксовые печи. И когда к нему снова подошел инструктор, отпихнул сто и сказал: – Я, брат, печником родился. А когда у тебя еще сопля через губы висела, я уж тыщу печей сложил. Вот что.

Он клал и покрикивал, задирая молодых каменщиков:

– Вот давайте поконаемся. Со мной!

В эти часы на него никто не обратил внимания. Только один молодой каменщик-комсомолец как-то бросил ему:

– Чума.

Все были заняты одним – испытанием нового способа кладки. И все уже видели, что этот новый способ удвоил выработку, и каждый из каменщиков уже

знал, что если этот новый способ усвоить да еще «приналечь», то выработка непременно утроится... И молодежь работала молча, упорно, увлеченная новшеством.

К концу вахты, ровно в восемь часов вечера, на кладку первым вошел Богданов, как всегда чем-то озабоченный, за ним Кирилл Ждаркин, потом Рубин – главный инженер строительства, а вместе с ними прилетели и газетчики, в том числе и редактор местной газеты Бах. Бах несся впереди всех. Люди еще не успели оглядеться, а он уже обежал все подмости, настилы. Он носился по настилам, по лестницам, по перекидным доскам через секции, мелькая лысой головой, поблескивая пенсне, напоминая самую дерзкую, самую резвую собачонку – ту, которой непременно везде надо побывать, все понюхать и перед каждым столбиком поднять ножку.

Члены бригады отошли в сторону, окружили Павла и Наташу и вместе с ними с величайшим напряжением следили за главным инженером Рубиным. Рубин вынул металлический метр и начал измерять кладку. Он долго копался и даже снял несколько кирпичей, потом зачем-то один из кирпичей поднес близко к губам, будто лизнул его. Затем присел и что-то записал у себя в книжечке.

Молчали все. Даже Егор Куваев приостановился и, уставясь на людей, презрительно улыбаясь, почесывал лопаткой шею.

– Кладка хорошая, – наконец проговорил Рубин. – А выработка? Выработка, братцы, такая... – И, не досказав, он первый подошел к Павлу, пожал ему руку. – Двести тридцать четыре процента.

– Ура-а! – взорвались молодые каменщики и зааплодировали себе, своим неожиданным успехам, затем кинулись к Павлу, намереваясь подхватить его на руки, но тут столкнулись с Наташей.

– Не надо, – сказала она и загородила собой Павла, как молодая клушка цыпленка. – Или не видите?

Павел от волнения, бессонных ночей, – они почему-то сказались именно вот в эту минуту, – еле держался на ногах. Он пошатывался так, будто под ним качался пол. А глаза у него ввалились и, казалось, ничего не видели.

– Расшумим! По всей площадке расшумим! – твякающим голосом закричал Бах, налетая на Павла. – Снимайте! Снимайте! – скомандовал он.

Защелкали фотоаппараты, забегали, засуетились фоторепортеры, но Павел, казалось, и этого не замечал. Только когда к нему подошел главный инженер Рубин, он дрогнул и пришел в себя.

– Вы сделали очень большое... – проговорил Рубин и еще раз мягко пожал руку Павлу.

– Я рад, – ответил Павел.

Но Рубин вдруг заволновался:

– Да, но вы... Вы понимаете, вы сделали такое... Вы перешагнули через запрещенное. Понимаете? Через запрещенное! Запрещенное инженерами,

учеными. А вы дерзнули и перешагнули. Это не простая штука. – И, еле сдерживая себя от волнения, он добавил тише: – Вы еще сами не понимаете, что вы сделали.

– Как сказать, – проговорил Павел.

– У-ух, какой он! Ловко! – Богданов с удовольствием потрепал Павла по плечу и посмотрел на Кирилла. – Гляди-ка какой, Кирилл!

Но в эту минуту и стряслось то, чего никто не ждал.

Павел подошел к Куваеву, измерил его кладку:

– А вам придется ломать: секция отходит на два сантиметра в левую сторону, – сказал он.

У Куваева дрогнуло сердце. Он ждал – вот сейчас комиссия покончит с Павлом, подойдет, осмотрит его работу, и Богданов непременно скажет: «А Куваев вас, молодежь, все-таки обыграл. Смотрите, как выложил».

– Как ломать? – растерянно проговорил Куваев. – Как ломать?

– Так и ломать. Ломать надо. – И Павел хотел было столкнуть кладку.

– Ну, ты! – гаркнул Куваев. – Ломать! С метрой только ходишь. Ты вот день-деньской поваляй кирпич в руках, тогда узнаешь, как ломать! Ты заплати мне, а потом ломай.

Да, бывают дни – ясные, хорошие, и хлеба под солнцем калятся, созревают быстро, а потом вдруг откуда-то налетит туча, лохматая, седая, точно побледневшая от непомерной злобы, сорвется и в течение пяти – десяти минут пройдет по полю градом... И тогда плачут обезглавленные стебельки ржи в поле, плачут сбитые подсолнухи, плачет все поле – изуродованное, вытопанное градом, а туча убежит дальше, и солнце крепче калит землю.

После одного такого дня Иван Куваев, отец Егора Куваева, запряг лошадь, усадил в телегу жену, маленького Егорку и поехал по деревенькам собирать на прокорм. Становился он на колени перед сильными, и сильные одаряли его кружечкой ржи... Тогда и пришлось Ивану Куваеву переправиться с Кривой улицы Широкого Буерака на Бурдяшку. А ведь всего на беду понадобилось пять – десять минут.

Вспомнив этот случай, Егор Куваев снова дрогнул, но не сдался и застучал кулаком по ладони:

– Восемь целковых гони, тогда сломаю. Вот, – отрезал он и расправил усы.

Павел молча, ничего не предпринимая, укоризненно посмотрел на отца. Тогда старший Якунин отложил в сторону инструменты каменщика и, дрожа за судьбу сына, подошел к Егору Куваеву, прохрипел:

– Ломай, Егор.

Ну, этого Егор Куваев никак не ожидал. Чтоб закадычный друг попер против него же!

– Что-о-о?! – заревел он и пошел на Якунина. – Головами нашими хочешь

откупиться? – И жилистый кулак Куваева повис над Якуниным.

Кирилл шагнул вперед и стал между ними.

– Насвинничал? Хрюшка, – сказал он и толкнул кладку, затем нагнулся, порылся и под одним кирпичом нашел маленькую щепочку: она и увела секцию на два сантиметра.

Щепочка пошла по рукам. А когда попала к Богданову, тот, обращаясь к Куваеву, сказал:

– При высокой температуре щепочка непременно бы сгорела, тогда образовалась бы щель, и газ пошел бы наружу, и печь пришлось бы переделывать. Понимаете, почему в кладке должна быть точность – ни сантиметра больше, ни сантиметра меньше: больше или меньше – значит щель.

– Ирунда, – буркнул Куваев.

– Как ерунда? Откуда у тебя взялась щепка? – спросил Кирилл.

– А что мне, пережевывать глину? – Егор Куваев нахально посмотрел на всех и, не зная, что делать, снова грубо кинул: – Юзники-союзники, – затем миг подождал и опять: – Барыш-убыток – советский.

Он уже понимал, что говорит лишнее и чужое, совсем не свое, а что-то такое, слышанное там, среди земляных жителей, но и удержаться не мог, потому что сам уже понял, что промахнулся – второпях подсунил щепочку так же, как подсовывал под кирпич на кладке русских печей, – но признаться в этом, в своей ошибке, теперь же, он не мог, ибо на него все смотрели, и ему казалось, что они топчут его гордость, гордость Егора Куваева, мастера на все руки. И он кричал что-то нелепое, дурное, даже противное самому себе.

– Снять и выгнать с кладки, – предложил Богданов, выслушав до конца Куваева.

Так свершилось падение Егора Куваева.

– Бедный ты душой человек, – сказал ему Кирилл и подошел к Павлу: – Вот, Паша, ты и показал всего себя... Да. – Он посмотрел на Наташу. – Ну, Наташа, веди-ка его домой... и – в постель дня на три, а я вам сейчас кое-что пришлю. Через три-четыре дня бал устроим такой – на всю строительную площадку.

Наташа подхватила Павла под руку и повела его к выходу.

Была ночь. Темная и густая. Дрожали огни над строительной площадкой, напоминая огромную гавань, заполненную кораблями... И где-то далеко гудели, приглушенно рыча, раскаты грома.

– Наташа, пойдем в горы.

– Пошли, Паша.

– Я люблю горы. Мне всегда хочется забраться на самую высокую, стать над пропастью и полететь. Я и во сне так часто летаю. Стану над пропастью, разверну руки и – хоп! – прыгну и – полетел.

– Прыгнешь и стукнешься. Прыгунчик мой. Давай лучше вот тут немного

отдохнем. Вот тут на лавочке. Смотри, парк уже рассадили... и дорожки сделали. Отдохнем и – в горы. Я сегодня хочу, – Наташа зашептала: – хочу, как в ту ночь... в ту, первую, провести на воле. Как тогда, помнишь?

– Дрыоы-оо-о! – вдруг заскрежетало над ними, будто кто-то рашпилем провел по сковородке.

Они подняли головы. Неподалеку от них, прикрепленная к столбу, висела длинная сизая радиотруба. Она заскрежетала, захлопала и рывкнула:

– Слушайте! Слушайте! Слушайте! Сейчас будет говорить начальник строительства товарищ Богданов.

Накрапывал дождь. Рычание грома приближалось. Труба молчала. Но вот она опять зашипела, захлопала... кто-то откашлялся, кто-то тяжело задышал, и послышался голос Богданова:

– Товарищи, друзья мои! Сегодня мы 'с вами, – а многие из вас еще не знают об этом, – сегодня мы с вами переживаем самый радостный день. Да. В чем радость? Радость человека *не* в том... Нет, не так, – поправился он. – Для меня, например, есть величайшая радость, и она заключается в том, что Павел Якунин, бригадир...

Павел дрогнул и крепко прижался к Наташе. Наташа тоже вздрогнула и вся потянулась к трубе... Труба молчала. Но вот в трубе снова что-то захлопало, захрипело, и она, точно прокашливаясь, рывкнула, и опять послышался голос Богданова:

– Павел Якунин. Кто он? Молодой деревенский парень. Нет, не парень. Он – человек иной породы. Он – творец. Вы знаете...

Хлынул дождь – ураганный, поточный, и все перепуталось.

Два человека, окатываемые потоками дождя, обнявшись, стояли около новенькой скамейки и смотрели на радиотрубу.

## Звено второе

### 1

Как только смолкли шаги Кирилла, Стеша, послав ему вдогонку: «Всего хорошего, слонушка», снова заснула, чувствуя и во сне, что Кирилл покинул ее. Поэтому сон был тревожный, часто прерывался, как всегда после ухода Кирилла.

Но сегодня сон почему-то прерывался особенно часто, и Стеша в конце концов поднялась с постели раньше обыкновенного. Она попросила эмалированный тазик, кувшин с водой и разделась донага. Как каждое утро, она и сегодня хотела обтереть тело мягкой губкой – и остановилась.

По ее подсчетам то, что так оберегалось, должно совершиться не раньше десяти – пятнадцати дней. Но почему вот сейчас такое необычайное томительное ожидание во всем теле? Этого она не могла понять и удивленно посмотрела на себя в зеркало... Плечи у нее не покатые, а чуть вздернутые, гордые. Грудь, по сравнению с тазом, пожалуй, узковата, но талия, несмотря на вздутый живот, перетянута, и поэтому бедра, хотя и не крупные, резко выделяются, делая весь ее стан красивым. Да и живот у нее вовсе не большой, не оттянут книзу, не висит мешком, а груди набухли и вот-вот брызнут молоком – живительным и вкусным, предназначенным для того, кто так часто торкается в ее животе. Только вот пупок расплзся, расплющился, превратился в «изуродованное пятно». И теперь, нежно погладив его рукой, она подошла к столу, за которым вечером читал Кирилл, порылась на полке и, найдя книгу Мутера «История живописи», стала быстро перелистывать ее и вскоре нашла картину «Страшный суд» Микеланджело.

Она долго, внимательно всматривалась в картину, пораженная фигурой Христа. Она привыкла видеть Христа нарисованным на иконах, в венчике, со страдальческим лицом, – скорбным, с нежными ручками и ножками, как у выхоленного юноши, а тут перед ней сидел нагой силач – без венчика, суровый, требовательный и беспощадный. Беспощадность эту она увидела во взмахе его руки, во всей его плебейской фигуре.

«Да, да, он очень похож на Кирилла: такой же сильный и беспощадный», – решила она, не замечая того, что все это она преувеличивает, как свойственно всякой беременной матери. Хотя на такое преувеличение она и имела основания: в эту минуту она вспомнила долину Паника, ту ночь, когда, вся трепетная, только что отпустив на волю Яшку, она кинулась сквозь чащу леса на гору, к лесной сторожке, надеясь встретить там Кирилла Ждаркина. И она его встретила. Он сидел верхом на рыжем жеребце, смотрел вниз – туда, где под яркими прожекторами тракторов Захар Катаев со своим отрядом загонял в воду тех, кто решил не сдаваться. Люди уже плыли, и река задираала их полушубки, а Кирилл сидел на Угрюме, точно окаменелый, только глаза у него при отблесках прожекторов горели беспощадной ненавистью.

– Кирилл! – вскрикнула она, потрясенная таким зрелищем.

И Кирилл, поняв ее, ее страх, ответил:

– Ничего. Рабочий класс бьет врага без слез, а у этих руки в крови.

«Да, да, он такой же беспощадный, – подумала она, всматриваясь в фигуру Христа. – Вот если бы у меня сын был такой... А если дочка? Нет, дочка мне не нужна. Дочка у меня есть – Аннушка».

Аннушка – дочь Яшки Чухлява. Вначале Стешу очень пугало, что Кирилл будет относиться к Аннушке, как это делают часто вторые мужья, – нежно, бережно, но без любви. Но Аннушка полюбила Кирилла больше, чем Стешу. И – смешно: она называет его не папкой, не дядей, не Кириллом, а Кирилкой. Вот она скоро вскочит с постели, влетит в комнату и звонко крикнет:

– А Кирилка удрал?

Обращается с Кириллом, как со сверстником, но слушается его, подражает ему

буквально во всем, даже в том, как он пьет чай, держа ладонью стакан. Но у Кирилла ладонь грубая, толстокожая, ему, пожалуй, ничего не стоит подержать и кусок раскаленного железа, а у Аннушки ручонка нежная, мягкая. И все равно – обжигается, плачет, никому не говоря о том, что ей горячо, а стакан держит так же, как Кирилл.

«Нет, нет, я счастливая. Я самая счастливая женщина на земле. И я имею право на такое счастье. Имею», – подчеркнула Стеша это слово и снова посмотрела на картину, отыскивая Еву.

– О-о-о, – протянула она и смолкла, удивленная чем-то совсем родным в фигуре Евы. Да, груди. И Стеша посмотрела на свои груди. Да, есть что-то общее. Бедра? Талия? И даже вот этот красивый овал боков и все тело – сильное, дышащее ее материнством. Только у Евы тело старое. И Стеша обрадовалась: она еще не сознавала, что приревновала Кирилла к Еве, и теперь, рассматривая, сравнивая ее с собой, проговорила:

– Да, она красивая, Кирилл. Но на земле есть красивее ее, – и улыбнулась в зеркало так, будто там стоял Кирилл. Затем бережно положила книгу на старое место, отошла от стола и приступила – все в той же тихой задумчивости – к утренней процедуре.

Мягкая, влажная губка ползла по эластичному, покрытому мелким, еле заметным пушком телу. От прикосновения губки оно вздрагивало, и Стеша резкими движениями натирала его, не остерегаясь, думая совсем о другом. Только когда коснулась живота, руки ее задвигались медленнее, осторожней, точно она протирала вазу из тончайшего, звонкого хрусталя.

В это время в комнату и влетела Аннушка.

«Батюшки, как она все-таки похожа на Яшку, – мелькнуло у Стешы, когда она в просвет двери вдруг впервые так ярко подметила разрезанный надвое подбородок Аннушки, ее глаза – с крупными зрачками, всю ее чуть угловатую фигуру. – Неужели Кирилл этого не видит? Должно быть, видит, но скрывает», – подумала она и поругала себя за такие мысли.

– А где Кирилка? – звонко прокричала, переступая порог, Аннушка. – Опять, опять ушел? Мне это не нра-вит-ца, – растянула она и смолкла, видя раздетую мать, и чуть погодя спросила: – Мама, ты уже много покушала?

– Нет, жавороночка моя. Я без тебя не кушаю.

– А животик у тебя – ух какой! – И Аннушка маленьким пальчиком дотронулась до живота матери.

Стеша, накинув на себя халат, рванула к себе Аннушку и, прижимая ее к своему животу, сказала:

– Вот мое потомство.

– Мам! Что – потомство? – спросила Аннушка, ощущая своей щекой, как в животе матери кто-то торкается. – И кто там есть?

«Ей девять лет. Сказать ли ей... Да, надо сказать». Стеша села в кресло,



привлекла к себе Аннушку и начала:

– Потомство мое, Аннушка, это вот ты.

– Я – потомство? Хорошо. – И Аннушка захлопала в ладоши. – А почему я потомство?

– Ты моя дочка.

– Ага. А Кирилке я не потомство?

Стеша задумалась. Как сказать? В самом деле, Аннушка не дочь Кирилла, стало быть она и не его потомство. Но сказать так – значит нанести Аннушке страшную обиду.

– Ты сама его спроси, – наконец проговорила она и, заметив, как в глазах Аннушки дрогнул испуг, добавила: – Он тебе обязательно скажет, что ты его потомство. Ведь он тебя любит.

Аннушка почувствовала колебание матери и перевела разговор на другое:

– А живот у тебя почему такой, а у меня не такой?

Стеша снова долго думала и, почему-то стыдясь Аннушки, склонив ее голову, пряча ее лицо, резко и даже чуть сердито проговорила:

– А у меня там мальчик... маленький-маленький... братишка твой... а может быть, и сестренка.

У Аннушки глаза стали круглые, лицо побледнело. Она молча раскрыла полы халата и ладонью погладила живот матери, затем встрепенулась.

– Значит, ты родишь? – сказала она, и опять глаза у нее сделались большими. – А понимаешь, у Дуськи мама родила и Дуську, и Петьку, и Сережку, а папа никого. Понимаешь?

– Понимаю, понимаю. Давай-ка Кирилку поищем. Где-то он теперь?

Стеша позвонила по телефону, разыскивая Кирилла. Она считала, судя по времени, что он сейчас находится еще на перевале к урочищу, там, где делают привал люди, идущие на строительство. В этот час утра Кирилл всегда там, в будке. Но, оттуда ответили, что Кирилл уехал на площадку и, должно быть, сидит у себя в горкоме. Так и оказалось.

– Кирилл, почему ты сегодня так рано в горкоме? – спросила она.

– А-а-а! Здорово! Почему рано? Потому что вызвали. Богданов вызвал. Вот еще непутевый.

– Скоро ли вечер, Кирилл?

Вечером – ах, как они редки, такие вечера! – вечером Кирилл примчится к ней, взволнованный, точно на первое свидание. Возьмет ее на руки – ведь она такая легонькая, – поносит по комнате, выговаривая ей на ухо все самое нежное. Затем они выйдут на балкон, молча, в обнимку, понаблюдадут за движением нового города, потом она ляжет в постель под голубое одеяло, но не спит, а смотрит, как за столом сидит и читает Кирилл. Он теперь очень много читает. Он читает всегда

только то, что нужно ему в его практической деятельности. Вот уже второй месяц он только и читает книги о торфе.

– Кирилл, ты не торфяником ли хочешь заделаться? – как-то спросила его Стеша.

– Угу. Ну и наворочено тут о торфе. – Он показал на грудку книг, но что «наворочено», так и не сказал, а просто тепло улыбнулся, прося, этим не мешать ему, так как они уже давно договорились – три часа после девяти вечера, если он не задерживается на работе и приходит домой, принадлежат исключительно ему. Хорошо. Он будет читать не у себя в кабинете, а в спальне, чтоб Стеша могла смотреть на него. Но разговаривать нельзя, запрещено, и если она нарушит договор, он поднимется и уйдет к себе в кабинет. Но разве выдержишь, глядя на его кудлатую голову, на него – огромного, склоненного над маленькой книгой!

«А вот и не уйдешь, а вот и не уйдешь!» – всякий раз хочется ей крикнуть, но она этого не делает, а просто спрашивает его о чем-нибудь – быстро, коротко, и, как только появляется улыбка на его лице, Стеша тут же смолкает: Кирилл совсем не знал, что без этой улыбки Стеша не могла заснуть.

– Вечер? Да, скоро, скоро, – отвечает Кирилл. – Только сегодня вечер, наверное, перейдет в утро.

– Почему?

– Маленькая завируха.

– Какая?

– Тебе зачем? Ты лучше готовься к своей завирухе: спокойно лежи, ходи... а я, если смогу, приеду часов в десять вечера. Ну, хватит. Еду. А тебя прошу, позвони Маше Сивашевой, чтоб она хорошенько присмотрела за Куваевым. Сегодня утром он грохнулся.

## 2

У Егора Куваева другого выхода не было, и он вместе с девушками и женщинами в красных косынках стал подавать кирпич, глину. Сначала он по узким, извилистым настилам ходил за вагонеткой быстро, торопко и дразнил каменщиков, особенно Павла Якунина.

– Тюремщик проклятый! – кричал он, завидя Павла.

На него тут же кто-нибудь из молодых каменщиков налетал, но Егор Куваев увертывался:

– Да я же не про него. Что уж, царя вашего и не тронь? Я про себя – тюремщик, мол, с тачкой хожу.

И все смеялись над ним, над его выходками, подгоняя его, напоминая ему о былых временах, об его ухарстве и о том, как он лил на себя одеколон. И весть о том, что Егор Куваев, хвальбишка, мастер на все руки, сорвался, возит вместе с

бабами кирпич, быстро разнеслась среди земляных жителей, и земляные жители, чего вовсе не ожидал Куваев, накинулись на него, как дворняжки на домашнюю, выгнанную из квартиры собаку. Над ним стали издеваться, дав ему кличку: «Аблакат». Его уже не пускали на ночевку, пьяного выбрасывали под ноги прохожим, не стесняясь выливали на него помои, а ребятишки гурьбой носились за ним, улюлюкали, кричали:

– Шире! Ши-ря! Аблакат идет.

Вначале Куваев отшучивался, затаив единственную мечту – урвать деньгу на дорогу и укатить в свои края. Но потом начал горбиться, представляя себе, как при возвращении на Бурдяшку его и там поднимут на смех, спросят: «Где ж целковый с колесо?» А вернуться туда развенчанным героем, без буйной гулянки, значит – живым залезть в могилку. Верно, он что-нибудь мог бы сболтнуть, например: «Таких мастеров, как я, на строительстве не уважают юзники-союзники». Но ведь на площадке немало людей из Широкого Буерака. Да и не в этом соль. А вот как это у него, у Егора Куваева, вырвали лопаточку мастера, отогнали его от кирпича, как чесоточную лошадь от общего стойла?... И Куваев стал ходить медленней, временами останавливаться, тоскливо заглядывать вниз, где с каждым днем все выше поднимались узорчатые секции коксовых печей. Оттуда шел звон. Этот звон тревожил и преследовал его на каждом шагу, звал к себе, как зовет горлица потерявшегося птенца. И Куваев гнул, искал веское слово, которым можно было бы растревожить сердца людей. И раз, найдя такое слово, он обрадовался и кинулся к каменщикам:

– Я же... я ж не самозванец, товарищи мои дорогие!

Но его никто не слушал. Только старший Якунин сказал: «А-а, дорогими товарищами стали», – и смолк, ибо было вовсе не до Куваева: бригады, переняв метод кладки Павла Якунина, на производственном совещании дали слово «обставить Павла Якунина». А бригада Павла и он сам уже стали героями не только на строительной площадке, не только в области, но и в Москве. Московская печать подхватила метод Павла Якунина, двинула его во все отрасли промышленности. Уронить теперь темпы, значит – опозориться, опозорить себя не только перед обществом, но и перед сыном.

Куваев сник. Ему показалось даже, что он неожиданно постарел, повял, как вянет зелень от мороза, оглох, как глохнут от сильного удара: он перестал слышать, понимать то, что говорили ему, ходил за вагонеткой, как чумной, тупо смотрел в одну сторону, зарос бородой – щетинистой и колкой, а в ушах у него засохла грязь.

– Куваев! У тебя в ушах огурцы впору садить, – кричали ему женщины в красных косынках.

«Значит, в яму тебя... в яму», – твердил про себя Куваев одно и то же, уже не обращая внимания на смех, на издевку, вполне понимая, что ему пришел конец и выбраться из того тупика, в который он попал, у него нет сил.

Однажды утром к нему и подошел Павел Якунин.

Куваев подумал:

«Ну вот, сейчас выгонит, как пса», – и плаксиво посмотрел в лицо Павлу.

Павел молча взял его за руку, свел вниз на кладку, сказал:

– Становись вот тут. Хватит. Учись. Надо через огонь и воду пройти... и дурь вытряхнуть.

Егор Куваев долго, тупо смотрел на кладку, на людей, на Павла, на Якунина-старшего – и только через некоторое время, придя в себя, он вдруг понял, что на свете есть еще какая-то сила, какая-то иная, совсем не такая, как у него, Егора Куваева, гордость. Гордость и сила, которые двигают жителями землянок, заставляют их, недоедая, недосыпая, работать засуча рукава. А вечером он совсем растерялся, залепетал, как ребенок, когда к нему подошел старший Якунин и сказал:

– Вот тебе чека на белье. Пашка прислал. Зайди на склад, возьми. Если сам не знаешь где, я тебя провожу. А это вот чека на баню. Зайди вымойся. Эко как зашелудивел. Денег Пашка не дает – и верно: с дури-то еще глотнешь.

Нет, Куваев уже не мог говорить. У него язык пристал к гортани, одеревенел, а глаза – вот еще мокрые места! Ну, что с ними будешь делать? – Куваев рукой протирает их, а слезы катятся, капают.

– Фу-у, – выдохнул он и, столкнувшись с Павлом, держа в руке чеки, тихо, чтоб никто не слышал, проговорил: – А я ведь... я ведь при случае собирался тебя в бараний рог.

– Ну, нас не согнешь. Выдумал еще... в бараний рог, – как всегда, сдержанно и веско ответил Павел. – Товарищ Ждаркин за тобой глядел и велел поставить. А я бы мимо прошел. И теперь не верю.

Через несколько дней Егор Куваев, усвоив новый метод кладки, работал уже как мастер, а вскоре, по рекомендации Кирилла Ждаркина, его перевели бригадиром на постройку жилых домов. И тут Егор Куваев неожиданно выскочил вперед, обогнав все бригады: вместо установленной нормы тысяча двести кирпичей в смену на рабочую силу он стал класть до шести тысяч кирпичей.

А вчера, в тихий вечер, он шел по молодому парку, около главного управления, и в конце парка увидел развешанные портреты ударников...

Вот портрет Павла Якунина. Хохоchet неудержимо. Вот еще чей-то портрет. Этот вроде не русский: у него длинный, загнутый, как у коршуна, нос, глаза навывкате, как у беркута. А вот и Наташа Пронина. А вот... и Куваев закачался: ему в глаза бросилось слишком знакомое лицо: моржовые усы, широкие скулы и какая-то остервенелость в губах. Узнав в портрете себя, Егор Куваев упал на землю, точно сраженный пулей.

Его немедленно подобрали и отправили в больницу, решив, что он упал от переутомления. Что сразило Егора в парке, толком никто не знал. Об этом знал только он один, – и то, что он знал, не мог сказать ни докторам, ни даже своим близким друзьям. Это он мог бы, пожалуй, раскрыть перед Кириллом Ждаркиным, но и Кириллу сказать об этом было не только страшно, но и стыдно.

Так, с тоской на сердце, с мучительными думами, он пролежал всю ночь в

палате, а утром не выдержал, попросил, чтоб к нему пригласили Кирилла Ждаркина. Кирилла в горьком уже не было, и Егор Куваев сказал, обращаясь к сиделке:

– Тогда этого позовите, Павла Якунина. Ну, героя.

Павел пришел к нему только под вечер и, остановившись перед кроватью, спросил:

– Что с тобой, Егор Иванович?

– Струна лопнула, – ответил Куваев и закатил глаза, затем заговорил медленно, с расстановкой, боясь, как бы чем не обидеть Павла: – Слушай меня, Паша. Один я. Детей у меня нет. Жена? Жен было много, да все не уживались со мной. Вот я один... как оторванный собачий хвост.

– Зачем же один? Тебя вся площадка знает. Полсотни тысяч человек. А ты – «один».

– Да. Это так, – сказал Егор. – Но вот если бы были у меня дети, всех за тебя бы променял.

– Это зачем же?

– Ты того, не груби... а душу мою пойми.

– Эко вы, старики, любите о душе болтать. И отец мой – вот такой же. Детей бы он своих за меня променял. Да что они, дети-то твои, – сапоги, что ль: хочу – сменяю, хочу – сам истаскаю.

– Да нет. Ты зря. – Егор Куваев снова задумался, подыскивая подходящие слова: – Ты вот что... Пойми, – я на свою прежнюю жизнь смотрю, как на позор. Опозорена она у меня – прежняя жизнь.

Было это еще в те дни, когда он, мастер на все руки, Егор Куваев, ходил за вагонеткой на кладке коксовой печи. Тогда вечера он проводил в земляном поселке «Распивочно и на вынос». И однажды, лежа в канаве, он почувствовал, что чьи-то заботливые руки поднимают его и несут куда-то. Очнувшись он в землянке. Над ним наклонился человек и растирает его спиртом. У человека лицо под Христа – черная борода и волосы длинные, точно у попа, а шаг какой-то чудной, приседающий, точно у человека обрублены пятки. Это был все тот же юродствующий монах. Но теперь он сбросил с себя затасканные луковицы, тряпье, отрастил бороду и стал походить на Христа. По углам же землянки тоже сидят какие-то люди. Среди них Егор Куваев признал Зинку, первую жену Кирилла Ждаркина.

– Компаньице кланяюсь, – проговорил он и хотел было выбраться из землянки, но человек с подбитыми пятками остановил его:

– Чего ты хочешь, брат?

– Водки.

И они долго пили, до утра. В пьяном угаре человек с подбитыми пятками что-то все нашептывал Куваеву, намекая ему на его золотую голову, и все стучал

кулаком по столу, выкрикивая:

– Мстить надо. Весь мир на ноги поднять и мстить!

Потом Куваев почти каждый вечер бывал в этой землянке... И раз, в минуту пьяного угара, ему подсунули маленький, аккуратный ломик и сказали:

– Иди, брат, вот с ним и сделай там свое дело.

И дело было простое. Они во тьме ночи прокрались к складам и там, где расходились поезда, свернули ломиком стрелки рельсов... и в ту же ночь огромный состав с заграничным оборудованием скатился под откос.

Об этом – о ломике и о том, что Егор Куваев своими руками развел железнодорожные стрелки, – он Павлу Якунину не сказал, а все время говорил только о «темной компании» в поселке «Распивочно и на вынос».

Павел во время его рассказа стоял у окна и бормотал:

– Бывает... Да. Жара какая стоит. Осень, а жара, – и, вслушиваясь в рассказ Куваева, снова повторял: – Бывает. Мало ли темного люда на горах. А может, это все у тебя с устатку?

– Чего там с устатку! А вот насчет хлеба. Хлеба нету, надо, слышь, бунтарство устроить.

– Да, да, бывает, бывает, – бормотал Павел, уже зная, что Егор Куваев не просто ходил в эту землянку, а что-то настряпал вместе со всей компанией... «Иначе бы он не плакал», – думал он, глядя, как льются слезы у Куваева. – Бывает. Чего это гарью пахнет? Не горит ли торф? – спохватился Павел.

– Ага! Ну вот я тебе говорил. – Куваев вскочил с койки и, несмотря на протесты дежурного врача Маши Сивашевой, вместе с Павлом Якуниным выбежал из больницы и кинулся разыскивать Кирилла Ждаркина.

### 3

Бегство Егора Куваева и Павла Якунина из больницы удивило Машу Сивашеву. Она поняла, что в этом скрывается что-то такое, о чем непременно должен узнать Кирилл Ждаркин. И она позвонила в горком партии. Но оттуда ей ответили, что Кирилл еще утром куда-то выехал.

«Где он? Стеша, наверное, знает», – решила Маша и позвонила.

– Егор Куваев сбежал из больницы, – сказала она.

– Егор? Что там Егор. Ты скорее приходи ко мне... у меня что-то случилось...

В четыре часа дня – это Стеша заметила по часам – у нее пошли воды. Вскоре к ней явилась Маша Сивашева, и начались приготовления. Стешу уложили в кабинете Кирилла, – так она захотела сама, – на диване. К удивлению Маши, ничего не было приготовлено – ни пеленок, ни простынь.

– Да что ж это у тебя так?

– А-а, все будет, – Стеша улыбнулась.

Все ждали – и Кирилл, и Маша, и даже Богданов, и Захар Катаев, которые тоже относились к родам Стешы, как к своему семейному делу, – все ждали, и особенно Стеша, что роды у нее пройдут легко, благополучно, ибо она была здоровая, развитая, крепкая мать. Только один Кирилл иногда сомневался в благополучном исходе и намекал об этом Стеше, подсмеиваясь над ее геройством, на что Стеша всякий раз отвечала ему:

– Вот увидишь, у меня это произойдет, милка мой, незаметно. Если ты даже рядом со мной будешь спать, и то не услышишь. Разбужу тебя и скажу: «А ну, Кирилл, получай сына».

Кирилл осторожно уговаривал ее:

– Послушай... Может быть... Ведь теперь научились рожать без боли. Что-то такое делают – и женщина рождает так себе, без боли.

– Вроде орехи грызет?

– Да. Может, и тебе так же? Ну, полежишь в больнице.

Стеша решительно встряхивала головой, шептала:

– Нет. Я хочу... Хочу от тебя иначе.

– Да, да... хочу с болью, – шептала она и теперь, расхаживая по кабинету. Сначала она ходила из угла в угол, затем начала кружить, как на привязи, а боль все поднималась, застилала глаза, – и Стеша уже ничего перед собой не видела. Она только твердила, тихо, еле слышно и как-то несвязно: – Кирилл... Кирюша... славный мой... для тебя... тебя... тебя, – и вдруг кто-то долбанул ее в поясницу, и в этот миг имя Кирилла выпало из ее сознания, все заполнилось тупой болью, и уверенность ее окончательно рухнула. Стеша повалилась на диван и вцепилась руками в живот.

Низ живота не только распирало, его рвало на части, будто кто-то впился в него когтями и со злостью, с остервенением рвал его, потешаясь над Стешей. Боль ощущалась не только в глубине живота – острая, режущая боль разливалась по всему телу жгучими жилками, будто огненными тенетами. Временами она стихала, но тут же снова поднималась, еще более жгучая, более острая.

– Ой-й! О-о-о-о-иии! Глаза! Глаза на лоб... на лоб лезут... Ой-й, Маша! Машенька! Ну, помоги. Ну!.. Ой! Что это? У меня ноги... ноги пропали. Где мои ноги? Маша! Машенька! – умоляла Стеша, и голос ее стал хрипнуть.

Сначала пот катился с нее градом. Но вскоре тело ее пересохло, пересохли губы, стали шершавые, глаза ввалились, на лбу легла морщинка – эта морщинка так и осталась на всю жизнь, как отметина великих мук матери...

Прошел час, другой, третий... стенные часы пробили десять вечера. Стеша уже перестала кричать. Она только корчилась, вся извиваясь, норовя лечь на живот, чтобы своим телом придавить несусветную боль, и грызла губы.

– Нет, нет, – удерживала ее Маша, не давая ей перевернуться на живот, и все шутила. Но к одиннадцати часам и она отчаялась, видя перед собой Стешу уже

почерневшую, с ввалившимися глазами, и неожиданно для себя решила: «Да, она не выдержит». Маша позвонила в больницу, чтобы приехал старший врач, затем присела в ногах у Стеши и растерянно опустила руки.

– Кирилл, Кирилл, – еле слышно звала Стеша.

#### 4

Река Атака была в этот день удивительно спокойна, Казалось, она совсем и не двигалась, а лениво развалилась под солнцем, грея свою могучую спину. Только на крутых изгибах, роясь в жестких скалах, она пенилась и недовольно ворчала, будто сердясь на то, что тут ей перегораживают свободный ход.

– Экая... красавица, – проговорил Кирилл, обращаясь к инженеру Рубину. – А я сегодня купался, – похвастался он. – Я до снегов купаюсь. И жеребец со мной купался. Чуть не утопил, черт!

Рубин о чем-то думал и не сразу ответил.

– Да, – сказал он. – Красивая. Вот так и жизнь меняется: то – тихая, то бурная.

– Тихая жизнь – она нехорошая. Хорошая – бурная. – Кирилл снова посмотрел на Рубина и прищурил глаз.

– Она бурная – нехорошая, – Рубин кивнул на реку и также прищурил глаз.

И оба они громко рассмеялись. Рубин пристально посмотрел на Кирилла, что-то хотел было сказать, но промолчал, очевидно раздумав. Кирилл это подметил и весело прикрикнул:

– А ну, говорите. Что у вас там? А?

– Хорошо. – Рубин снова долго молчал. – Мир запутан, как болотная тина: ни черта там не разберешь.

– А ведь разбираются. Сушат ее, под микроскоп кладут и разбираются. Зайдите-ка в лабораторию к Богданову.

– Это так. Но ведь микроскоп не каждому дан... и не каждого пускают в лабораторию.

– Иной нагваздает, – намеренно ввернул Кирилл простонародное слово, – зачем же его пускать? – и подумал: «С болячкой человек... и болячку открыть боится, как сифилитик. Надо ему помочь». Он решил осторожно задать несколько вопросов Рубину и долго всматривался в крутые берега реки Атаки.

Они уже давно оставили позади себя красавицу плотину – длинную, в триста шестьдесят один метр, похожую на древний зубчатый замок, и теперь мчались вдоль реки плоским левым берегом, переходящим в заливные луга, поймы и степи. Правый берег был крутой, скалистый и слезился черными пятнами, – это выступали залежи руды. Руда тут когда-то очень давно разрабатывалась шорцами – жителями диких гор – и то весьма примитивным способом: они добывали ее, сбросив верхний слой земли, как добывают мел, камень, песок. Такое огромное



богатство лежит в земле. А ведь Русь была не только бедна, но и нага... и нагие, безграмотные, но с замечательной душой люди ходили по земле, топтали ее лаптями...

Об этом хотел заговорить Кирилл с Рубиным, чтоб «заиграть на струнах души металлурга», указать ему, что ведь эти богатства в силах поднять народ только теперь... Но в это время на реке показалось первое сосновое бревно. Оно плыло вниз по течению, иногда вертелось, крутилось, точно заводное, иногда вдруг вставало на попу, уходило в воду, затем снова выныривало, словно кто-то его толкал со дна, и, взмахнув, со всей силой лякалось на поверхность реки.

– Нажми! – крикнул Кирилл шоферу.

И голубая машина рванулась вперед, перелетая через горбинки, круто изворачиваясь на поворотах, завывая тормозами.

Сегодня утром с верховья реки Атаки пришли тревожные вести. Там, в горах, еще с весны были заготовлены в огромном количестве сосновые бревна для металлургического и тракторного заводов. Весной, во время половодья, бревна, связанные в плоты, не смогли спустить потому, что их негде было принять, ибо берега на строительной площадке были завалены гравием, строительными материалами, и потому еще, что боялись, как бы плоты своим напором не попортили новой, только что отстроенной плотины, а главным образом еще потому, что не хватало рабочих рук и не было той нужды в лесе, какая явилась теперь, когда уже приступили к стройке нового города. Летом же, когда вода спала, плоты совсем нельзя было спускать: они сели бы на первую же мель. И вот только теперь, когда вода поднялась, было решено плоты спустить. Но сегодня утром стало ясно, что плоты непременно порвут канатную изгородь и всей своей массой хлынут вниз по течению: до сегодняшнего дня плоты лежали спокойно, но утром бревна зашевелились, как проснувшиеся удавы, и двинулись, а канаты начали лопаться, будто их кто-то перерубал топором.

Это грозило бедствиями, даже катастрофой: плоты, стихийно сорвавшиеся с места, непременно рассыплются, и тогда разрозненные бревна, никем уже не управляемые, обгоняя друг друга, ураганом понесутся вниз по реке и все уничтожат на своем пути. А на реке уже построен перекидной мост. Бревна, тараня мост, разобьют быки и унесут с собой. На реке стоят баржи с нефтью, керосином – запасом горючего на зиму. Бревна разнесут баржи в щепы. Но главная угроза заключалась в том, что бревна вместе с разбитым мостом, с баржами кинутся на плотину и сокрушат ее, – тогда остановится электростанция, то есть сердце строительства металлургического и тракторного заводов.

– Давай, давай! – снова крикнул Кирилл шоферу и громко выругался, забыв о том, что рядом с ним сидит Рубин. – Черт знает что, – пробормотал он. – Откуда не ждешь, оттуда и свалится.

Место заготовки и склада плотов они увидели еще издали. С крутых гор, усеянных свежими пнями, в ряде мест еще сползали бревна – они ползли, как обезглавленные богатыри, а внизу было тихо, будто там ничего и не произошло. Люди стояли на берегу и смотрели в сторону котлована, над котлованом то и дело

проносились стаи диких уток.

«Перелет начался, – подумал Кирилл, – хорошо бы посидеть на заре и пострелять». Но в следующую же секунду он уже думал о другом, и не успела еще машина остановиться, как он на ходу выскочил из нее и очутился в толпе. Первое, что бросилось ему в глаза, – это вывеска на плотках, гласящая: «Курить строго запрещено. За нарушение штраф».

– Кто это придумал? – спросил Кирилл. – И почему нельзя на плотках курить?

– Пожар может быть, – ответил с усмешкой кто-то.

– А придумал наш профсоюзник. Хлопотной парень, – добавил другой.

– Снять, – сказал Кирилл. – Да я дам премию тому, кто подожжет мне плоты... а тут... гоняют рабочих курить куда-то в будку. Чудаки!

Запрет курить на плотках был нелеп, ибо на плотках во время их движения по рекам даже разжигали костры, – рабочие это прекрасно знали. И они одобрительно загудели.

– Вы понимаете, что можете натворить, если упустите плоты? – спросил Кирилл.

Люди молчали. У них, очевидно, уже сложилась уверенность в том, что плоты уйдут, разобьются и удержать их ничем нельзя. Поэтому они никаких мер не предпринимали, превратились в зрителей, наблюдающих за тем, как в котловане шевелятся бревна, стуча друг о друга голыми боками.

– Что делать? – спросил Кирилл Рубина.

– Если бы мы смогли тот первый плот спустить сейчас же на воду, мы освободили бы место, и тогда плоты разошлись бы. Хотя... Хотя...

– Что «хотя?» Без «хотя» нельзя ли?

– Тут ведь «правописания» никакого нет, – ответил сдержанно Рубин. – Надо делать то, что кажется нужным.

– А там будет видать! Вот это без «хотя».

Кирилл повернулся к толпе рабочих, сказал:

– Ну, кто со мной? – и шагнул к плотам.

Люди стояли молча.

– Да ведь утопнешь, – выделившись из толпы, проговорил Митька Спирин, который тоже совсем недавно явился сюда из Широкого Буерака, дабы «зашибить большой целковый». – Утопнешь, – еще раз проговорил он.

– Ты камень, что ли? Утопнешь! – Кирилл снова шагнул вперед, на миг остановился и даже дрогнул: впереди кишели, как гигантские черви, бревна. Они издавали приглушенный, предостерегающий гул, царапаясь друг о друга, будто скрежеща зубами. Кирилл ясно понимал всю опасность своего поступка и шел на это не очертя голову, не безрассудно: катастрофу надо было устранить, и Кирилл тут поступал так же, как если бы увидел на полотне железной дороги Аннушку,

играющую в песке, не замечающую того, что на нее мчится поезд. Кирилл непременно бы кинулся к ней, несмотря на то что поезд грозил бы задавить и его. И теперь он шел, вполне сознавая всю опасность. И все-таки на миг остановился, дрогнул.

– К черту, – сказал он и вступил на плоты.

Но за ним никто не пошел. Люди стояли на берегу, точно окаменелые. Только один Митька Спириин разинул рот, намеревался что-то крикнуть и даже взмахнул рукой.

– Что ж? – сказал Кирилл. – Все, что ль, трусы? Коммунисты!

Из толпы выделились коммунисты и, сумрачно глядя себе под ноги, подошли к плотам, но тут же за ними двинулся Митька. Он круто выругался и перепрыгнул через водяной прогал.

– Гайда! Гайда! – крикнул он, шагая уже впереди Кирилла.

Первый плот был спущен удачно. Вернее, его нечего было спускать, он сам, выпираемый другими плотами, рвался на просторы реки, и люди только помогли ему. Плот понесся по течению, булькая, шурша. Но потом оказалось все не так, как предполагалось. Плоты не пошли на освобожденное место. Они, наоборот, полезли друг на друга, громоздясь в неуклюжие, перепутанные ярусы. Иногда в том или другом месте бревна, сдавленные со всех сторон, точно от пушечного выстрела, взлетали вверх и со звоном падали на другие бревна, придавливая их.

Было уже совсем темно. За это время удалось оторвать еще два плота и спустить по течению. Но угроза вовсе не уменьшилась. Разбитые плоты рвались на волю, – бревна подныривали под канатные загороди и неслись вниз, ударяясь в спущенные плоты, разбивая их.

Вот в такой час из тьмы перед Кириллом Ждаркиным и вынырнуло лицо Захара Катаева.

– Кирилл Сенафонтыч, – зашептал Захар. – Я хлебца на стройку привез. Эшелон. Ну, зашел к тебе... А у тебя дома... это... отгрохала, может быть.

– Что? – спросил Кирилл, не понимая и того, как Захар очутился тут.

– Вроде нарочного я, – прошептал снова Захар. – Стеша... Может, сына – или дочь... и тебе треба дома быть.

«Как же это она без меня? – мелькнуло у Кирилла, и – вторая мысль: – Может, Захар шутит? – и третья: – Надо сейчас же все бросить и мчаться туда – к Стешке!» – но тут же перед ним всплыли плотина, баржи с нефтью и керосином, перекидной мост...

– Ты езжай, а я тут управлюсь, – проговорил Захар. Кирилл шагнул к берегу и остановился.

– Может, уже родила? – спросил он.

– Может, – ответил Захар, и по голосу его Кирилл понял, что дома не все благополучно.

– А ты скажи мне прямо, – он рванул за плечи Захара. – Не вилай и не хитри.

– Что ж прямо? Раз родить – то уж нельзя годить.

В темноте, в стороне от Кирилла и Захара, раздался сначала грохот бревен, затем отчаянный крик.

– Ну, вот тут и поедешь! Как же поедешь? – проговорил Кирилл и кинулся на крик.

## 5

Все это происходило, как в бреду.

Кирилл выскочил на берег, – вернее, его вытолкнул Захар Катаев, – прыгнул в машину, сел сам за руль, и машина понеслась, разрывая тьму ночи крыльями прожекторов.

– Ах, Стешка! Стешка, Стешка! Родная моя, – в такт бегу машины шептал Кирилл. – Нет, ты на меня не обидишься, не рассердишься... ты поймешь, я ведь не мог... никак не мог. – И он надавал, наваливаясь на баранку руля.

И машина неслась. А когда они выскочили с проселочной дороги на шоссе и до строительной площадки осталось всего только километров сорок, Кирилл прибавил газу, и машина взвихрилась, шипя и отхаркиваясь, понеслась с головокружительной быстротой. Вот на свет выскочил заяц и поскакал впереди.

– Уйди! Паршивец!

Но машина уже смяла серого и рванулась вперед.

«Ну, черт с ним. Пропал зайчик».

А когда Кирилл вбежал в квартиру, то удивился тишине. И, снимая с себя плащ, он заметил, как у него задрожали пальцы на руках – мелко-мелко, точно перезябли.

«А-а-а, дрожите, – как обычно хотел он отшутиться и внутренне весь оледенел, окончательно перепугавшись мертвой тишины. – Может, уйти? Ведь я не выдержу... грохнусь. Сбежать, может? И почему в столовой столько белья? – не сходя с места, видя в открытую дверь разбросанное белье в столовой, подумал Кирилл. – Может, все же... уйти?» – Но он помимо своей воли шагнул и скрипом сапог нарушил тишину.

– Кто там? А-а-а, Кирилл. – Ему навстречу вышла Маша Сивашева в белом халате.

Кирилл не сразу узнал ее, ибо он в это время думал совсем не о ней, а о той, о другой, которую по-настоящему любил – крепко и весь. Он не узнал Маши Сивашевой еще и потому, что лицо у нее было не как всегда – веселое, улыбающееся, а пасмурное, усталое и потное.

– Долго, – устало сказала она. – Мучается. Не понимаешь? Шесть часов. Я все

руки отмотала. – Она подняла кверху руки и стала складывать пальцы в кулак. – Мучается... Ах, я не знаю... не знаю, Кирилл, – ответила она на его вопросительный взгляд. – Не знаю. Ой, нет, нет, тебе туда нельзя. – Она загородила ему дорогу.

Но он грубо отстранил ее, распахнул дверь и вошел.

На диване лежала Стеша. Он увидел только ее вздутый живот. Весь исполосованный почерневшими жилками, живот казался горой. Стеша открыла глаза, и Кирилл уже больше не отрывался от этих глаз – огромных, испуганных.

– Кирюша... родной мой, – проговорила она еле слышно и обняла его за шею, притягивая к себе его пыльную голову.

И в это время снова начались потуги. Стеша даже не вскрикнула, она закричала зубами, все крепче и крепче сжимая шею Кирилла.

– Кричи! Кричи! – твердил он, приподнимая ее на своей шее. – Кричи...

И Стеша закричала. Она кричала раздирающе, как будто у нее, у живой, выдергивали ноги. Такой крик иногда слышал Кирилл на фронте, в бою, когда человеку попадал осколок гранаты в живот... Стеша кричала без перерыва, без удержу, тело у нее напрягалось в последней мучительной схватке и как-то все одеревенело, а руки с такой силой сдавили шею Кирилла, что он начал задыхаться.

Сколько прошло времени, он не помнит. Только вдруг Стеша смолкла, и он охнул, но тут же раздался другой крик – властный, требовательный и уже гневный. Руки Стеши разжались, тело отошло, и она вся повяла.

– Сын. Вот, – сказала Маша.

Кирилл мельком, удивленный, посмотрел на Машу: в голосе Маши, – может, так только показалось, – послышалась досада.

– Сын. Вот, – еще раз проговорила она.

– Какие глаза? – в забытьи спросила Стеша.

– Серые, – ответила Маша, пеленая маленького, буйного и крикливого человека.

– Значит, в Кирьку, – так же тихо проговорила Стеша и глазами показала Кириллу на его руку.

Кирилл протянул ей руку, вовсе еще не понимая, чего она хочет, а когда она так же, как и всегда, но более горячими губами поцеловала ее, он дрогнул и про себя сказал: «Что б ни случилось со мной, я всегда буду любить тебя, Стеша», – Кирилл вышел из кабинета в столовую, прислонился лбом к холодному стеклу окна. – Вот я и отец. Да, отец, – прошептал он.

– Посмотри, Кирилл, кто измучил Стешку, – уже веселая, произнесла Маша, подавая запеленутого сына.

Кирилл положил сына на ладонь, поднял высоко над головой, и у него невольно вырвалось:

– Живи! Живи, новый человек!

В то время, когда Кирилл держал на ладони маленького человека, раздался резкий телефонный звонок. Он особенно резко и тревожно прозвучал еще раз в наступившей тишине. Затем послышался столь же резкий и даже грубый голос Богданова:

– Торф. Горит.

Кирилл сообщил, что у него в доме совершилось необычайное, но Богданов или не расслышал его, или настолько был встревожен, что ничего не понял из объяснения Кирилла, и еще грубее бросил:

– Горит четвертый участок. Там люди, а ты болтаешься дома, – и повесил трубку.

Кирилл, обиженный на Богданова за то, что тот совсем не обратил внимания на его радость, подошел к Стеше и решительно сказал:

– Я не поеду. Ну, как я тебя оставлю одну...

Он ожидал, что Стеша обрадуется, но она нахмурилась, на бледном лице вспыхнул румянец, а губы начали вздрагивать, как вздрагивают они у нее всегда, когда она чем-нибудь недовольна.

– Ты сердишься? Но ведь Богданов вовсе не знает, что у нас тут.

– Как же ты не пойдешь? – Она обняла его за шею и мягка, но с укором, как малышу, не желающему идти в школу, сказала: – Кирюша!

И он понял: надо ехать, отказ от поездки прозвучал для Стеши так же, как если бы Кирилл отказался взять на руки маленького сына. И, благодарный ей за то, что она так поступила, он подумал: «Я, конечно, остался бы, если б она этого захотела, но все время бы думал о том, что ж творится там, на торфоразработках, и это как-то омрачало бы мою радость». Он об этом ей не сказал, а, наклонившись еще ниже, прошептал:

– Какая ты у меня умница! Ну, я скоро вернусь, а ты береги себя.

И вышел из квартиры. «Да. Отец! Отец!» Это чувство с каждой минутой все больше полонило его, росло в нем, захватывало его всего, и, сев в машину, он совершенно забыл, куда ему надо ехать, что надо делать. «Отец! Отец! Отец!» – то и дело повторял он про себя, и слово это оживало, наполнялось новым содержанием – огромным и важным. Он прикрыл глаза рукой и снова увидел маленького сына, прилипшего к груди матери, и мать, лежавшую на диване, – здоровую и радостную. «Да, отец, отец, отец», – еще раз повторил он и открыл глаза, видя перед собой уже город, кишачий людьми, город в котлованах, каркасах, в рытвинах, пересеченный воздушными линиями, железными дорогами, громяющий и орущий.

– Ехать будем или стоять будем? – спросил шофер.

– Ах, да. Едем на четвертый участок. Нет, сначала на второй.

## 6

Несметные богатства торфа залежали поблизости от строительной площадки, в огромной долине, расхлестнутой километров на двести вглубь и вширь. Неопытному глазу долина вовсе ничего не говорила: она сплошь поросла мелким, перепутанным кустарником, горбатыми карликовыми сосенками, хилыми березками, кочками и коврами мха. Кое-где виднелись озера, кишашие дичью. Кое-где были тропы, проложенные зверем. Внешне долина казалась совсем мирной, но это отнюдь не значило, что ее можно было без труда пересечь вдоль и поперек: в ряде мест попадались подпочвенные болота, заросшие, как бы закупоренные, тонким слоем торфа, – и стоило человеку или зверю ступить на эту корку, как она немедленно проваливалась, а подпочвенное болото превращалось в засасывающий омут. В таких омутах немало погибло зверя, охотников и заблудившихся путешественников.

Эти несметные богатства торфа, – а торф на основных участках лежал глубиной на три-четыре метра, – были открыты Богдановым еще в студенческие годы, и с тех пор он не расставался с мыслью об использовании торфа в промышленности. Находясь в ссылке, перегоняемый по этапам, сидя в одиночках, он всегда думал о торфе, разрабатывал способы использования его в широких масштабах. За последние же годы при помощи талантливой молодой химички Фени Пановой ему удалось добиться того, что из торфа стали гнать спирт, масла, а главное – нашли способ перегонки торфа в жидкое топливо.

Строительство металлургического завода еще не было закончено, а торфоразработки уже велись полным ходом: на торфе работало до четырех тысяч торфушек, торфяников – людей, пришедших главным образом из далеких мордовских деревень. Всю огромную долину в прошлом году разбили на шесть участков, построив на каждом деревянные общежития, клубы, столовые, разбив физкультурные площадки, связав участки узкоколейками, по которым бегали маленькие, как жуки, паровозики и такие же маленькие вагончики, приспособленные для перевозки торфа и людей.

Чуть светало, когда Кирилл попал на участок, которым управляла Наташа Пронина. На ее участке работали два гидроторфа – неуклюжие, громоздкие машины. Сильнейшей струей воды они буравили торф, превращая его в месиво. Жидкое рыжее месиво по трубам высасывалось и разливалось на приготовленные площади. А когда оно подсыхало, его резали, как лапшу, специальными ножами девушки-торфушки и складывали в бунты. Кирилл всякий раз, проезжая мимо гидроторфа, останавливался, любуясь его мощностью. Струя воды, пущенная из гидроторфа, ревела, отламывая глыбы, выкидывая, будто играя ими, спутанные перевитые корни. Кирилла привлекала мощь гидроторфа, и первое время он не понимал, почему Богданов отыскивает новый способ добычи торфа. Один из таких способов, открытый Богдановым, был весьма примитивен: площадку торфяника очищали от сосенок, кустарника, корней, разравнивали ее и пускали по ней самые обыкновенные бороны. Бороны разрыхляли верхний слой торфа, превращая его в крошку. Крошку, когда она просыхала, специальными граблями

собирали в кучу, затем свозили в бунты. Никакой мощи и красоты тут не было, но способ этот давал продукцию раза в два дешевле, нежели гидроторф, и, главное, был доступен каждому.

– Ну да, но ты же опять притянул людей к бороне. С поля ее выкинули, а ты ее сюда. Гидроторф не только сильная машина, она перестраивает людей, заставляет думать по-другому. А борона есть борона, – сказал Кирилл.

– Чудачок, – ответил ему Богданов. – Во-первых, фрезерный способ добычи торфа (он свой способ почему-то называл «фрезерным») дешевле, во-вторых, доступней, в-третьих...

Богданов очень долго рассказывал о выгоде фрезерного способа добычи торфа, но он упустил одну, совсем немаловажную деталь: торф-крошка, добытый новым способом, сложенный в бунты, почему-то «самопроизвольно» загорался. Почему – об этом никто не знал.

На участке Наташи Прониной фрезерный способ добычи торфа только еще вводился, главная же добыча этим способом велась на четвертом участке. Но и здесь, на втором участке, в каждом бунту торчал термометр, а на некоторых бунтах трепались красные флажки, что значило – бунты эти находятся в процессе самовозгорания.

«Вот отчего и пожар: бунты загорелись», – решил Кирилл и пошел навстречу Наташе Прониной.

Увидав Кирилла, Наташа, быстро вытирая перепачканные торфом руки, легкая, подвижная, вся улыбаясь, кинулась было к нему – и спохватилась: очевидно, вспомнив, что она начальник участка. И удержалась от вскрика. Спокойно, даже с некоторым пренебрежением, подчеркнуто холодно, так, как принято в комсомолии, «без подхалимства», она пожалала своей маленькой, но жесткой рукой руку Кирилла, чуть склонив набок голову:

– Здравствуйте, – и, несмотря на то что ей тут же снова захотелось с ним говорить с девичьими вскриками, с искренним задором и невольным кокетством, она все-таки сдержалась, напуская на себя грубоватость. Но глаза у нее горели, глаза говорили совсем другое, и Кирилл это видел.

– Наташа, – сказал он, видя ее колебание, желание держать себя по-другому. – Наташа, скажи, у тебя на участке ни разу не загорался торф в бунтах?

– Да нет, однажды загорелся, но мы быстро пролопатили его... Не понимаете? Разбросали лопатами и потушили. А что?

– Ну, а если бы вы прозевали?

– Тогда загорелся бы, – вдруг не выдержав, засмеялась Наташа, глядя своими синими лучистыми глазами в лицо Кириллу, подергивая и шевеля верхней губой.

– Ну, вот и хорошо, – сказал Кирилл, отвечая не на ее слова, а одобряя ее перемену. – Вот и хорошо, – еще раз повторил он и мельком окинул взглядом всю тонкую, перетянутую фигуру Наташи, подмечая, как под синей юбкой у нее выделяется живот. Живот еще совсем небольшой, но он уже пошел в бока, и сама Наташа уже не так шустра и юрка, как была раньше. Вот она, вместо того чтобы



перепрыгнуть через канаву, осторожно перешагнула ее.

Кирилл знал об отношениях Павла Якунина и Наташи и всегда оберегал эту пару, выдвигал ее по работе, а совсем недавно подумал и о том, что им непременно надо дать квартиру в новом каменном доме, только не знал, как все это сделать: боялся оскорбить их. Но теперь, перенося свою сегодняшнюю радость на Наташу и Павла Якунина, он осторожно заговорил:

– Павлу квартиру новую даем, Наташа.

К удивлению Кирилла, Наташа вовсе не вспыхнула и не застеснялась, как он ожидал, а подняла глаза на Кирилла, часто мигая, словно смывая с глаз пелену, проговорила:

– Ну-у! Это хорошо... очень.

– Вам ведь, пожалуй, квартира нужна не в две, а в три комнаты?

– Да! Видишь ли... – Наташа невольно оправила юбку на животе и растерянно повесила руки.

– Хорошо, Наташа, хорошо. – И, обняв ее за плечи, он привлек ее к себе и, сам не зная как, поцеловал в лоб. – Ты это береги, Наташа. Это самое большое и радостное. Не удивляйся, – проговорил он, заметя ее удивленные глаза. – У меня сегодня Стешка сына родила. Понимаешь?

– Батюшки... какой ты хороший, Кирилл! – благодарная Кириллу за то, что он увидел в ней мать, пролепетала Наташа и, вся вспыхнув, чуть отошла от него, добавила: – Ты знаешь ли? Мы ведь все тебя очень любим и называем не Ждаркиным, а Кириллом. И иногда вот хочется пойти к тебе и рассказать тебе многое-многое... Мы вот, девушки, соберемся, говорим, говорим, говорим о своих делах и все хотим пойти к тебе и рассказать. Вот недавно...

Не успела Наташа рассказать о том, что было недавно, как со стороны четвертого участка появилась группа торфяников и торфушек. Они неслись, как несутся иногда перед прожекторами автомобиля косяки зайцев, оглядываясь назад, ослепленные и безумные. Люди неслись и почему-то кричали одно и то же слово:

– Оман! Оман! Оман!

«Почему обман? Что за обман?» – подумал Кирилл и пошел навстречу бегущим людям.

Пожар начался поздно ночью, когда торфушки гурьбой отправились в общежития, помылись, почистились, поужинали и завалились на покой. Все они были в том же настроении, что и их начальник – бывший председатель сельсовета Федунов из Широкого Буерака: на четвертом участке досрочно заканчивался план добычи торфа, осталось еще два-три дня – и программа будет перевыполнена, и тогда всех работников четвертого участка начнут чествовать, одарять премиями. Вот почему сегодня торфушки шли с торфоразработок особенно веселые, напевая песни, те самые песни, которые они всегда певали у себя в деревеньках, на

посиделках, у завалинок. Распевая песни, торфушки мечтали и о том, как они через несколько дней распрощаются с торфом, отправятся к себе в деревеньки, как встретятся там с родными, со знакомыми и главным образом с милками. Иные из них давно уже собрались: попрятали в сундучки разноцветные полушалки, серьги, бусы и шелковые чулки, приобретенные тут в кооперативе. Да, шелковые. Сейчас – в лаптях, сейчас большинство – босые: зачем на болоте надевать шагреновые гамаши и шелковые чулки? Сойдет и так. В деревню заявятся, там наденут и гамаши и шелковые чулки. Дивись, народ! А хочешь такие же чулки – иди работай на карьере. Мужчины же к отправке домой готовились по-своему: они рубили в лесу слеги, оглобли, топорища, оси для рыдванов. Они почти все пришли сюда из степей, из безлесья, и уж так испокон велось: раз идешь с разработок, прихвати с собой слегу, оглоблю, топорище, ось и обязательно грабли.

И вот поздно ночью вспыхнул пожар. Как и где он начался, никто толком сказать не мог. Знали одно: сначала загорелось в дальнем углу, в так называемом «Шереметьевском тупике», где план добычи торфа-крошки был уже закончен. И почти в тот же миг пожар вспыхнул в другом конце участка – на «Сорочьем плесе». Пожарная команда не успела выкатить тушительные приборы, как огонь начал играть по всему участку, превращаясь в бушующий ураган невероятной силы и упорства.

Люди выскочили из общежития, из-под кустов, из самодельных шалашей и, полусонные, освещенные отблесками пламени, еще ничего не понимая, заметались из стороны в сторону, ища прикрытия, зная из прошлого, что пожары на торфу губительны, как лава. И началась суматоха, та самая суматоха, в которой люди теряют волю, соображение, превращаются в стадо, стихийно несутся в одну сторону, ища спасения, и попадают в самые опасные места.

Начальник четвертого участка – Федунов из Широкого Буерака – в это время еще не спал. Он вместе с инженером подводил итоги заготовки торфа и писал рапорт на имя Кирилла Ждаркина и Богданова, надеясь на похвалу и подарки. Федунов уже давно мечтал о велосипеде и теперь был уверен, что велосипед ему дадут. Когда же около общежитий раздался крик толпы, он первым выскочил из конторы и, дрогнув, глухо проговорил:

– Пожар! Горим! – и кинулся в толпу, намереваясь остановить ее, но толпа бушевала, орала, металась, девчата визжали, волокли за собой сундучишки, мужчины отбрасывали девчат в сторону, тоже волоча за собой сундуки, новые выструганные оглобли, оси, топорища, связанные из свежей березы банные веники, выкрикивая одно и то же нелепое слово:

– Оман! Оман! Оман!

И вдруг вся толпа шарахнулась в сторону от общежития, ломая на пути карликовые сосенки, хилые березки, и участок немедленно опустел: люди куда-то провалились, голоса их примолкли, и наступила тишина. Только было слышно, как где-то совсем поблизости, точно гигантский зверь, шагает огонь. Он, шагая, покрякивал, будто выбирая себе добычу, затем начинал выть, издавать оглушительные трески, свист, вскакивал на верхушки сосенок и, шипя, падал на

землю, спаливая сухие травы, камыш, сучья. Люди куда-то скрылись, но через несколько секунд, натолкнувшись на стену бушующего огня, хлынули обратно и с такой же силой, но еще с большим ужасом кинулись в другую сторону, сминая друг друга, топча слабых, упавших, растерявшихся.

И Федунов присел на приступке конторы, вцепился руками в голову и простонал:

– Угробятся. Все угробятся.

Дрезина с Кириллом Ждаркиным, Богдановым и Наташей Прониной неслась по узкоколейке, громыхая, покачиваясь так, что все время казалось – вот-вот она свернется набок, стукнется и рассыплется. Местами огонь уже подходил к насыпи узкоколейки, обдавал жаром пассажиров в дрезине. И машинист, прикрывая лицо мокрой тряпкой, шутил:

– Пронесло... о господи, воля твоя.

Богданов не мог сидеть спокойно; несмотря на то что дрезина неслась с невероятной скоростью, он все время рвался вперед и бормотал:

– Люди! Чтоб ни одного человека огню! В этом, в этом суть, – и глаза у него наливались тоской.

Кирилл ничего не говорил. Он ясно понимал, что они едут в самое пекло пожара, что через десять – пятнадцать минут по узкоколейке уже нельзя будет вернуться, что там на участке около семисот человек. Хорошо, если пожар вспыхнул только в одной стороне участка. Но и тогда надо будет пробиваться через топи, а это не менее опасно, чем пожар.

«Что ж делать? Ага, вот что. По приезде немедленно загнать всех в озера, в карьеры. Пусть переждут в воде», – решил Кирилл и, повернувшись к Богданову, закричал, чтоб перебить грохот дрезины:

– В воду! Людей немедленно всех загнать в воду! Понимаешь?

Но на участке людей уже не было: они рассыпались по лесам, по торфяникам, и только сотни полторы де-вушек-торфушек набилось в маленькие деревянные вагончики-короба застрявшего поезда. Они молча, пугливо, как кролики, поглядывали оттуда.

Огонь шел стеной со всех сторон. Он шел кольцом, валил сосенки, забирался в глубь девственного торфа. Прогоревший торф проваливался, и тогда из ям вылетало буйное пламя. Путь с участка был перерезан, и отступать, казалось, было некуда, но еще безумней было сидеть и ожидать исхода тут, в этих деревянных вагончиках-коробах.

– Кто это придумал? – выпрыгивая из дрезины, проговорил Кирилл и, подбежав к первому вагончику, крикнул: – Вылезай! Сейчас же вылезай – и в воду. Куда поедете? Там огонь!

Девушки было зашевелились, но машинист, очевидно не разобрав приказания Кирилла, пустил паровозик. Паровозик завозился, издал пронзительный, жалкий

свисток и тронулся.

– Куда? Куда тебя черт понес! Вернуть! Наташа! – с еще большей силой закричал Кирилл, показывая на паровозик.

Наташа была почти у самого паровозика. Она кинулась, нагнала его и на ходу впрыгнула к машинисту.

Паровозик не остановился. Он поскакал во всю прыть по раскаленным рельсам и попал в полосу сплошного огня: огонь бушевал по обе стороны узкоколейки, превратив торф в пепельную, дышащую синей спокойной дымкой золу. И, глядя на эту золу, казалось, что она никакой опасности в себе не таит: в нее даже хотелось сесть. Паровозик чуточку замешкался, дернулся: машинист, видимо, хотел дать задний ход, – но в этот миг провалился деревянный прогоревший мост, и паровозик, будто в шутку, свалился набок.

– Ох! ты-ы! – вырвалось у Кирилла, и он кинулся к вагончикам.

Первой показалась Наташа. Она вскочила на бок паровозика и успокаивающе помахала Кириллу рукой и даже что-то хотела сказать, но в эту минуту раздался раздирающий крик торфушек: загорелись деревянные короба, и торфушки, обезумев, не понимая того, что они делают, начали прыгать в серопепельную, манящую своей спокойной дымкой золу и тут же приседали, хватались руками за босые ноги, корчась, извиваясь, вспыхивая.

– Кирилл! Кирилл! – в ужасе прокричала Наташа и, ничего не соображая, подчиняясь стихии, желанию спасти торфушек, кинулась к ним и тоже присела в серо-пепельную золу, молниеносно превращаясь в маленький пылающий костер. На миг она было поднялась, двинулась в сторону Кирилла, но огонь схватил ее и метнул в пекло.

## 7

Весть о пожаре быстро разнеслась по строительной площадке.

Прорвавшись сквозь огонь, бегущие с четвертого участка люди рассказывали подробности катастрофы – и то, как Наташа вскочила на паровозик, как она махала рукой Кириллу и как кинулась к торфушкам и погибла в огне. Наташу многие знали на строительстве как начальника второго участка и как комсомолку, и весть о том, что она погибла в огне, подняла людей на ноги. Но тут подоспела другая весть. Рассказывали очевидцы, уверенно и подробно: в огне погибли Кирилл Ждаркин и Богданов. Они находились совсем поблизости от поезда с торфушками, и когда торфушки начали прыгать из коробов в золу, они оба кинулись спасать их, но огонь ошалело налетел на свою новую жертву. Богданов метнулся к воде, но огонь преградил ему путь, смял его. Кирилл же Ждаркин хотел было выхватить Наташу из пламени, но торф под ним провалился, и Кирилл сгинул в ревущем котле. Весть о гибели Кирилла Ждаркина и Богданова немедленно приостановила работы на строительных площадках. Люди, оставив котлованы, недоделанные корпуса цехов, коксовые печи, железнодорожные

станции, канцелярии, квартиры в каменных домах, землянки, – десятки тысяч людей, прихватив с собой топоры, лопаты, ведра, ринулись на пожарище. А оттуда, с пожарища, им навстречу бежали обезумевшие торфяники, торфушки. Они бежали, никого не замечая, стремительно обгоняя друг друга, врываясь в вокзал, заполняя пассажирские поезда, товарные вагоны, все время выкрикивая одно и то же слово:

– Оман! Оман! Оман!

Вскоре, как только весть о гибели Кирилла и Богданова разнеслась по площадке, к Стеше пришла Маша Сивашева. Она боялась, что упорные слухи о гибели Кирилла сразят Стешу, еще не совсем оправившуюся после родов, и Маша хотела разуверить ее, убедить в том, что все это болтовня. Но, войдя в квартиру, она сама присела на стул у двери и молча протянула руку к Стеше.

Стеша полулежала на диване, упорно всматриваясь в ту сторону, где был расположен четвертый участок.

– Зачем? Зачем я его послала? Зачем я его послала? – беспрестанно повторяла она, крепко держа за руку Аннушку.

– Стешка! Милая... Стешка, – вырвалось у Маши, и, шатаясь, она подошла к ней, вцепилась своими тонкими пальцами ей в колени. – Ведь это же только слухи. Ведь... ничего же... Вон смотри – и гарь пропадает.

– Зачем? Зачем я его послала? – Стеша посмотрела на Машу тупым, злым взглядом.

– Мама! Не надо, – вдруг строго проговорила, точно взрослая, Аннушка. – Не надо. Вот я пойду и приведу Кирилку.

Стеша, чтоб отвлечь ее от беды, которая так неожиданно свалилась на них, попросила:

– Ты лучше пойди и посмотри, что делает братишка, – и, поворачиваясь к Маше, добавила, улыбаясь: – А мы ему еще не дали имени, – и снова потускнела, мертвенно вглядываясь вдаль, шепча: – Если бы я могла! Ах, если бы я могла, я побежала бы туда.

Прошел час, два... наступила ночь – темная и страшная.

Слухи ползли разные.

Говорили, что Кирилл и Богданов будто бы прорвались сквозь огонь и их видели на шестом участке в толпе. Говорили, что их, обгорелых, посадили прямо в вагон и отправили в областной город. Говорили, будто бы они вовсе не пострадали от огня, но на них напали обезумевшие торфяники, избili их и сбросили в озеро. Говорили, что в горах поднялись земляные жители и разгромили продовольственные склады. Говорили... Говорили разное, но все это было тревожное, страшное, и с каждым новым слухом Стеша все больше гнулась, блуждая по комнате тусклыми, мертвыми глазами. А совсем поздно ночью в квартиру торопливо ворвался редактор местной газеты Бах.

Бах, несмотря на свои молодые годы, был уже лыс. Ходили слухи, что лысину

он себе сделал каким-то искусственным способом. Он всякий раз, проходя через сторожку, дразнил собаку, завывая и лая; заигрывал с ребяташками на улице. И дома у себя Бах – об этом все знали – был груб с сыном и женой.

«Балаболка», – называл его Кирилл.

– Прошу, прошу, – резким, лающим голосом заговорил Бах, выводя из-за своей спины главного инженера строительства Рубина.

Всегда причесанный, приглаженный, аккуратный, в эту минуту Рубин поразил Стешу своей растрепанностью: фуражка у него сидела боком, брюки были смяты, но в руке он держал чистый платок, точно собирался плакать.

– Ну, – быстро, тем же лающим голосом заговорил Бах, снимая пенсне. – Надо приготовиться. Вы, товарищ Огнева, член партии и должны понимать, что потеря одного человека, даже самого близкого вам, не должна бросать вас в уныние.

– Что? Что? Что вы! – Стеша задохнулась и замахала руками.

Но Бах понял ее, очевидно, по-своему и продолжал еще более возвышенно:

– Революция требует жертв.

– Уйди! – зашипела на него Маша. – Уйди! Идиот, – и кинулась к Стеше.

Стеша не дышала. Она свалилась на диван, даже не дрогнув.

– Я только хотел узнать... Мне нужны сведения... в газету... Ведь надо оповестить... – И, пятясь к двери, Бах впервые за свою жизнь смутился.

Инженер Рубин присел на кончик стула. Он плакал. Плакал он молча, стыдливо вытирая слезы белым мягким платком, и шептал:

– Боже мой! Боже мой!

– Чего вы тут еще с богом лезете? – тихо, но строго одернула его Маша, уже входя в роль врача. – Дайте-ка вон графин с водой.

– Ах, о боге я так, просто... Я не знаю других слов, – проговорил Рубин и осторожно, с графином в руке, подошел к дивану.

Стеша очнулась и, переводя злые глаза с лица Маши на лицо Рубина, спросила:

– Ведь это неправда? А? Вы пугаете меня?

– Я пришел утешить вас, – начал Рубин. – Я был на пожаре. Я не видел их... Но мы, – он заторопился, видя, как глаза у Стеши дрогнули и стали еще злее, – но мы послали людей во все концы. То есть кто мы? Комсомольцы и партийцы. Послушайте, – вдруг спохватился он, – мне же надо быть там... там!

– А кто вас держит? – грубо оборвала его Маша. – И кто просил сюда?

Рубин вышел, но тут же кто-то снова стукнул дверью.

– Опять вернулся этот слюнявенький, – недовольно проворчала Маша и направилась к двери.

В двери показалась Феня Панова. Русо-рыжие волосы у нее, как всегда, сбиты

набок; на левой руке перчатка с длинным обшлагом; платье полумужского покроя местами прожжено, помято; но голова чуть закинута назад, держится гордо, да и вся Феня словно была не на пожаре, а в каком-то бою, в котором она одержала победу.

– Ну, вот мы и повоевали, – проговорила она, ни с кем не здороваясь. – Замечательно тушили пожар. Ну и молодец этот Павел Якунин. Он собрал около себя комсомольцев, партийцев и начал тушить пожар каким-то своим методом. Представьте себе – идет стена огня. Казалось бы, надо рыть канаву, заливать водой. А Павел забегает со своей оравой вперед, поджигает лес, и вот две стены огня наскакивают друг на друга, отрываются от земли и несколько секунд бьются в воздухе, как петухи, – взвиваются все выше и выше... пропадают, только дымка остается. Это очень красиво и умно. Изумительный парень.

Рассказ Фени на миг внес успокоение. Даже Стеша и та, взяв руку Фени, начала ее, еще пахнувшую гарью, гладить, вовсе не выдавая того, что гладит она эту руку потому, что эта рука тушила огонь, который, возможно, проглотил Кирилла. Аннушка тихо и незаметно подошла к Фене и начала, как котенок, тереться лицом о ее пахнущее гарью платье.

– А-а-а, мышка, – Феня хотела сначала приласкать Аннушку, погладить ее голову и даже поцеловать, но тут же вспомнила, что так делают все женщины. А поступать так, как все женщины, было вовсе не в обычае Фени. Все эти и подобные женские ласки она называла «сентиментами», да и вообще стремилась больше походить на мужчину, называя женщин «кислой породой». И теперь она грубо, по-мужски встряхнула Аннушку и посадила рядом с собой. – Ты почему, мышка, не на пожаре? Все пионеры там, а ты что ж – сахарная, что ль?

– Пионеры пошли за Кирилкой?

– И за Кирилкой и пожар тушить.

Аннушка кинулась в свою комнату и через несколько секунд вылетела оттуда, на ходу завязывая на шее красную косынку.

– Есть на пожар и за Кирилкой, – сказала она.

– Ты с ума сходишь, Феня, – упрекнула Стеша и, притянув к себе Аннушку, сказала: – Разве ты не любишь маму? Ты же видишь, я больная, – но в голосе Стеши Аннушка не слышала уверенности.

– Эко как вы тут раскисли. Марш, марш, Аннушка! – скомандовала Феня и, чуть подождав, проговорила: – Ведь ничего еще нет. А если что и случится, будем рыдать вместе – и ты, и я, и все, да и вся страна. А теперь – спокойствие и хладнокровие, как всегда в такие минуты говорит Богданов. – Она поднялась, подошла к окну. – Бедный Богданов. Вы знаете, какая трагедия у него была. Случилось это несколько лет назад. Он зимой ехал со своей женой и ребенком по Волге. И вот лошади ночью попали в полынью. И сани, и лошади, и жена с ребенком, и кучер – все ушли под лед. Богданов как-то выскочил с саней и остался на льду, держа в руках опрыскиватели... Эти опрыскиватели и теперь, завернутые в кошму, стоят у него в комнате...

## Звено третье

### 1

Наступила третья весна.

Страна строилась, переоборудовалась, спешила догнать Запад, стать сильнее его, сильнее всех взятых вместе скученных государств.

В далекой Шории, под дикими горами Алатау, на левом берегу реки Томи, заканчивалась постройка гиганта металлургии. Сюда на строительство пришли десятки тысяч людей, и рядом с заводом, на пустыре, вырос город на пятьсот тысяч жителей. Перекраивался и седой Урал со своими крохотными, времен Петра Великого, заводиками. Под Свердловском, в расчищенном бору, на топях и болотах рос красавец Уральский машиностроительный. Под Челябиной – городком избушек, курятников, деревянных тротуарчиков, невылазной грязи – расхлестнулся корпусами, гудронированными дорогами, площадями, клумбами – тракторный. Совсем недалеко от Челябины, около священной Железной горы, при сорокаградусных морозах, в пургу и в зной, топором и лопатой, воздвигался завод, который обещал дать стране чугуна столько, сколько давал весь старый Урал. Перекраивались Тюмень, Шадринск, Уфа, Пермь. Перекраивалась и Волга, испокон веков бурлацкая, лапотная. Вгрызались в землю экскаваторы, рвал глыбы динамит. Перекраивались Якутия, Казахстан, Калмыкия. Строились заводы под Ленинградом, под Архангельском, на Севере, под Москвой белокаменной. Москва как бы состязалась с другими городами, перестраивалась буйно: рылась под землей, прокладывая новые пути, сносила целые кварталы, рубила углы азиатских улиц, строила корпуса новых домов, гудронировалась, красилась и дымила день и ночь – дымила, пылала, гремела голосами строителей, ухая даже на зорях вздохами экскаваторов.

Страна на всех парах мчалась вперед, – мчались города, деревеньки, села, хутора, требуя добавочного угля, железа, стали, мануфактуры, мяса, хлеба, строительных материалов.

Кирилл Ждаркин не был в деревне с того дня, как его впервые вызвали в Москву. Из Москвы он уехал за границу, а потом, когда вернулся в Широкий Буерак, тут же получил выписку из постановления бюро крайкома о том, что он, Кирилл Ждаркин, «рекомендуется секретарем городского комитета партии на строительство металлургического завода», а на его место намечается директором тракторной станции Захар Катаев. Так ему, Кириллу Ждаркину, «сменили руль».

С тех пор он следил за колхозным движением лишь по газетам и рассказам очевидцев.

На страницах печати то и дело мелькали цифры – десять процентов, двадцать, тридцать, шестьдесят, восемьдесят, девяносто девять. Казалось, деревня на всем



скаку ринулась в иную, досель неведомую жизнь, и удержать ее уже ничем было нельзя.

На Урале целый округ – сорок шесть сел – слился в одну сельскохозяйственную коммуну «Красная поляна». Вслед за этой коммунной такие же коммуны стали появляться во всех краях и областях Союза. А в Белоруссии, на топях и болотах, создавался агроиндустриальный комбинат. И о таких же комбинатах заговорили на Урале, в Сибири, в Казахстане, Башкирии, Поволжье.

– Черт знает что! Вот прорвалось, – говорил Кирилл Богданову.

– Да, да. Дела, – гудел Богданов и добавлял: – А ты все-таки больше думай о заводе, а не о комбинатах. Не то комбинацию из трех пальцев получишь.

Иногда у Кирилла закрадывались сомнения: а не слишком ли большой разгон взяла страна? И однажды он эти сомнения высказал Богданову, ожидая, что тот опять промычит что-нибудь неопределенное.

– Мы еще совсем не знаем, какие силы таятся в народе, на что он способен, – ответил Богданов. – Кто предвидел, что Павел Якунин станет такой фигурой?...

Все говорило о новой эпохе, о пробуждении миллионов.

И вот в это самое время совершенно внезапно из Широкого Буерака на строительство примчался Захар Катаев. Влетев в кабинет к Кириллу Ждаркину, он мотнул головой на людей:

– Выкати их на минутку. Разговор есть, – а когда Кирилл всех выпроводил, Захар подошел к нему вплотную и, весь дрожа, проговорил: – У тебя в меня вера осталась? Веришь, я за советскую власть, за партию? Веришь? Говори прямо.

– Верю, – Кирилл удивленно посмотрел на него и попросил сесть.

– Сяду. Сяду ща, – чуть не закричал Захар. – Сяду ща. Так веришь? Жизнь мою знаешь – она какая? А вот и у меня поджилки трясутся – от злобы несусветной. – И Захар рассказал о том, что творится в Полдомасове. – Чего делают?! – натужно кричал он. – Все село мертвяками завалили. И я чую, до нас это же идет.

Кирилл резко, раздраженно остановил его:

– Кто делает?

– Кто? По башкам нас будут бить, а эти – полномоченные разные – они побудут и укатят.

– А кто уполномоченный?

– Жарков... Знаешь птицу эту. Помнишь, в Широкий Буерак приезжал?

– Ну, он мужик умный, – сказал Кирилл, припомнив и то, как Жарков когда-то приезжал в Широкий Буерак, и как потом, будучи секретарем крайкома, он, по ходатайству Плакущева, освободил из-под ареста Яшку Чухлява, посаженного «за бандитское поведение во время хлебозаготовок». Верно, Жаркова недавно проработали в печати за то, что он слишком долго думал, на какую сторону стать во время борьбы с троцкистами. Его прозвали за это в партии «втяютей». Но, однако, оставили секретарем крайкома.

– Мне ум-то его не с кашей есть, – возразил Захар. – По башке-то, может, он... не знай кто... Только дела его мне не по сердцу: люд топит в крови!

– Зря кричишь, – одернул его Кирилл.

И позвонил Богданову.

– В Полдомасове черт знает что творится.

Богданов, увлеченный строительством, мало вникал в деревенские дела. Спокойно ответил:

– Все идет, как надо. Без щеп не обойдешься.

– Да ведь щепы-то слишком огромные летят. По башке могут так стукнуть.

– Вот, вот и стукнут, – подтвердил Захар.

Вечером того же дня Кирилла вызвал по телефону Сергей Петрович Сивашев и предложил немедленно выехать в Полдомасово:

– Посмотри, что там творится, и сообщи мне... А может, где в пути и встретимся. Посоветуйся с Жарковым.

Кирилл с большой охотой принял предложение Сергея Петровича съездить в Полдомасово, по слухам зная к тому же, что где-то там живет и Никита Гурьянов.

## 2

Никита Гурьянов, тогда еще, после «куриного побоища», выехал из Широкого Буерака в Полдомасово, намереваясь тут, наконец, осуществить свою затаенную мечту: стать пчеловодом и независимым хозяином. В Полдомасове он поселился в пустом доме каменщика Якунина.

– Я жилистый, – часто кому-то грозил он в пространство, – меня не угрызешь. Еще ко мне придете и будете просить: Никита Семеныч, что-то чайку с медком охота.

Но тут на него неожиданно нагрянул голод – страшный и свирепый, как страшен и свиреп для одиночки в поле снежный буран. А Никита был почти одиночка: жена его давно умерла, сына Илью расстреляли после событий в долине Паника, сноха Зинка, дочь Плакущева Ильи Максимовича, тоже покинула его и уехала на строительство металлургического завода в урочище «Чертов угол». При Никите остались только девятилетняя дочь Нюрка и полмешка ржи. Нюрка была не по летам развита и такая же рыжая, как и ее отец. И Никита как будто любил ее, по крайней мере он ей единственной открыл свою затаенную мечту, уверяя, что через год-два они «залыются медом».

– Ешь, не хочу – вот сколько меду будет, право слово. И заживем с тобой припеваючи. А те хахали... пускай на колхоз спину гнут. Они и правда думали: я с Давыдкой поругался и потому колхоз бросил. Нет. Бросил я его потому, что поперек горла, как заноза. Понимаешь, Нюрка?

– Ище бы. Чай, свое-то – оно свое, – в тон отцу говорила она, и Никите нравилось.

– Вот именно што, – он утвердительно кивал голевой и, мурлыча, шел к пчелам.

Но вскоре он сжался, как пересушенный гриб. Подбросив под себя мешок с рожью, он сидел и спал на нем, вытаскивая оттуда по горсточке зерна, и украдкой от Нюрки пережевывал его мелкими желтыми зубами. А Нюрка, опухшая, похожая на старушонку, лежала на печке в нетопленной избе и тянула слабым, прерывающимся голосом:

– Ма-а-ама-а! Хли-ибца-а! – сосала пальцы на руке.

Никита иногда бурчал на нее, уговаривал:

– А ты не скули. Ты ж молода. Ты выдержишь, право слово, – и доказывал, топыря пальцы перед ее омертвелым лицом: – Ты то возьми в башку: ежели я подохну, тебе тож подыхать. Кому ты нужна? Ну, ну, не скули. Вот скоро лисичка придет, хлебца принесет, зайчик прискачет, молочка притащит. Ну, ну, не скули, – и отходил, снова садился на мешок, засыпал, видя во сне пышные калачи, пироги во всю улицу. Он подбегал к ним, к калачам и пирогам, жадно ел и не наедался. Но чаще ему снились куры, те самые, которым он на птичнике в коммуне «Бруски» рубил топором головы. Тогда он им рубил головы с остервенением и, отбрасывая в сторону обезглавленных кур, кричал Кириллу Ждаркину: «Эй, племяш, вот твоей радости башку рублю!» Теперь – во сне – он бегал за курами, ловил их, приставлял им головы и жадно пил кровь. А просыпаясь, он вспоминал Широкий Буерак. Иногда в такие минуты он выползал на волю, намереваясь тронуться к Захару Катаеву, пасть ему в ноги и молить о прощении, даже сказать: «Захар, спасай, буду за то тебе вечным кадром!» Но на улице лежала мертвая, белесая, снежная тишина: из избы в избу, из порядка в порядок бродил голод. И поля, непроезжие дороги, знакомые лесные тропы пугали Никиту, – тогда он снова забирался в избу, садился на мешок, погружаясь в мучительный сон, вздрагивая, остерегаясь, как бы Нюрка не соскочила с печки и не выдернула из-под него мешка с зерном.

– Я те дам... Я те дам! – грозил он, взвизгивая.

Никита умирал, умирал обозленный, ни на кого не надеясь, не ожидая помощи, прислушиваясь только к вою псов за околицей. Он стал совсем бессердечным и походил на голодную волчицу, которая в такие дни рвет даже своих щенят. И только однажды, когда Нюрка совсем перестала говорить и опухшие ноги у нее начали трескаться, а глаза устремились в потолок, Никита смягчился, даже заплакал и, достав щепотку зерна из мешка, рассыпая его перед ртом Нюрки, сказал:

– На. Жри, что ль.

Нюрка не дотронулась до зерна. Она была уже безумна и, тихо улыбаясь, еле слышно тянула:

– Ма-а-а-а-ма-а! Ма-а-амычка-а!

– Да кой тебе пес мама? – недовольно проворчал Никита. – Вот еще шишига была. Сгнила она, говорю. Давно, поди-ка, в преисподне жарится. А она – мама, мама. Ну, не хочешь, я сам съем. А тебе все равно умирать, – и, собрав зерно, ловко кинул его к себе в рот.

А наутро, убедившись в том, что Нюрка умерла, он стащил ее с печки и в одной рубашонке, с непокрытой головой, босую, всю в сукровице, держа за руку, поволок по гололедице, выкрикивая хрипло и натужно:

– Подарок! Вот подарок советской власти от мученика Никиты Гурьянова!

Но на него никто не обратил внимания. А с востока надвигалась грязная, лохматая туча. Замазав небо, она медленно и сердито плыла над равнинами, над увалами, над деревенскими владениями. Никите вдруг показалось: стоит он на мертвом поле и, одинокий, подняв кверху голову, надрывно кричит в небо. И он упал на землю, обледенелую и жесткую, как кость.

– Земля, – простонал он, – я тебе все жилы отдал, и ты меня умертвила.

### 3

Сыпала изморозь – резкая и колкая, как шипы. Земля обледенела, покрывалась роговой коркой, и по роговой, жесткой корке мчались, взвихривая снежную пыль, злые ветры. А небо затянулось тучами – черными, грязными, как обгорелая вата.

По гладкому, отполированному льдом шоссе машина мчалась с визгом, временами крутилась, будто кто брал ее за верхушку и пускал, как волчок... и Кирилл, невольно хватаясь руками за что попало, хохотал вместе с шофером.

Чтобы добраться до Полдомасова, им пришлось сделать крюк километров в двести: по проселочным снежным дорогам ехать было невозможно, и поэтому шофер выбрал путь сначала на Илим-город по столбовой «шашейной» дороге, потом на Широкий Буерак. Отсюда на Полдомасово. И тут в дороге еще раз «страх» Захара Катаева показался Кириллу беспочвенным: по пути встречались колхозы, села, и даже при беглом осмотре их было видно, что люди живут вовсе не так, как об этом говорил Захар: на улицах играют дети, у изб сидят бабы, мужики, и по тому, как они отвечают на приветствие Кирилла, приглашая его остановиться, Кирилл заключает, что они довольны и живут не так-то плохо.

– Сморозил, сморозил чего-то Захар, – проговорил он, употребляя любимое выражение Захара.

И вдруг, подъезжая к Полдомасову, он начал недоуменно оглядываться.

По обе стороны дороги то и дело попадались лошадиные трупы с обглоданными ребрами, а неподалеку от них – разбитые телеги или брошенные сани. Но кое-где виднелось и более страшное, чудовищное, на что Кирилл не мог без содрогания смотреть. Вон совсем недалеко от дороги сидит на корточках рыжебородый мужик и крепко держится за задок саней, точно боится, как бы они не ускользнули. Он вскинул голову кверху и, кажется, вот-вот встряхнет ею и

крикнет... но на голове у него вместо шапки слой льда. Лед с головы спускается на шею и тянется по спине.

– Кирилл Сенафонтыч, гляди-ка – сидит. Может, живой? А? – заговорил шофер и направил машину к этому человеку.

Кирилл зажмурился, резко отвернулся и, ничего не сказав, сунул рукой вперед, давая этим знать, что надо ехать мимо.

– Не подъедем? – спросил шофер.

– Он мертвый, – ответил Кирилл, скрывая свой испуг, ибо ему показалось, что этот рыжий мужик – не то дядя Никита Гурьянов, не то кто-то еще из Широкого Буерака: так похож был этот человек на кого-то из родни Кирилла. – Сыпь! Сыпь! – визгливо крикнул он шоферу. – К вокзалу! Вагон Жаркова, – добавил он чуть спустя.

Жарков жил в вагоне, длинном, массивном, и даже, в шутку, хвалился, что вагон этот из состава бывшего царского поезда.

Кирилла он принял в своем купе с двумя кроватями, со столом, заваленным книгами.

– А-а-а! Мой старый знакомый. Ну, как? – сказал он и снова принялся сосать не то апельсин, не то лимон и, заметив, как растерянно смотрит Кирилл, сказал: – Новый сорт выведен. Из лимона и апельсина наши мичуринцы создали вот такой гибрид – прекрасный продукт. Не хочешь ли?

– Я не об этом, – глухо произнес Кирилл, – а о том: по дороге проезжал? Люди там... мертвые.

– А-а-а, – Жарков перестал жевать. Лицо у него омрачилось, левая бровь задергалась. Придержав ее пальцем, он сказал: – Скоро весь так буду дергаться... Да. Вещь ужасная. Люди умирают.

– А это зачем?

– Зачем? Конечно, лучше было бы, если бы этого не было. Но заводы-то ты строишь, а чем платишь за оборудование?

«Ну, да! Но ты же, черт, жрешь гибриды!» – чуть было не крикнул Кирилл, но сдержался и поднялся со стула. – Не понимаю! Разве можно менять человека на машину?

– Да-а? А вот другие говорят так: лучше теперь пролить пот, поголодать, живот подтянуть, нежели потом утонуть в море крови. Ты представляешь, что может быть, если мы не превратимся в могучую силу: начнется раздел Руси – бесшабашный, кровавый... и не только нас, коммунистов, но и наших детей, пионеров, будут вешать на красных галстуках. Вот что будет. – Руки у Жаркова зашарили по столу, отыскивая четки.

Да, да, Кирилл, конечно, понимал, что стране надо стать сильной, могучей, чтоб раз и навсегда освободиться от иноземной зависимости. Однако почему в Полдомасове и около Полдомасова творится такое несуразное – этого он не понимал и хотел было об этом спросить Жаркова, но тот продолжал:

– Мы отстали от Запада на пятьдесят, сто лет. Нам надо догнать Запад в десять лет. Что ж, разве можно догнать и перегнать без жертв? Жертвы! Ничего не поделаешь. Ты знаешь историю времен Петра Великого? Ничего бы он с Русью не поделал, если бы не кинул на чашку весов все. Жертвы! Это страшная вещь, но неизбежная. – Жарков снова придержал пальцем бровь: бровь у него прыгала, точно кто-то ее дергал. – Страной социализма управлять очень трудно... Ты ведь, очевидно, больше и лучше меня знаешь деревню. Знаешь, что крестьянин по-двойному встретил колхозы. И хочет быть в колхозе, и работать в колхозе еще не привык. Вот, например, Полдомасово. Захар Катаев сюда прислал лучшую бригаду трактористов, а ведь и она ничего поделывать не смогла: половина хлеба осталась в поле. Что такое Полдомасово? Кулацкая твердыня, нарыв, гнойник. Кто убил коммунистов на селе? Полдомасовцы. Кто организовал восстание в долине Паника? Полдомасовцы. Гнойник этот может разрастись... Знаешь, что такое гангрена?... В ноге гангрена – ногу отрезают.

Кирилл хотел было вставить:

«Восстание организовали не колхозники, а кулаки», – но Жарков и этого не дал ему сказать.

– Конечно, виноваты тут не колхозники... а враги. Враг умно действовал. Но вот я иной раз смотрю, как умирают крестьяне... и так, знаешь ли – по-человечески скажу, – говорю себе: «И черт с вами... подышайте». А потом спохвачусь, думаю: «Но ведь это же наши люди умирают... нам с ними работать, на нас за их смерть ложится ответственность». – И Жарков начал быстро-быстро перебирать костяные четки, напомнив Кириллу заседание секретариата Центрального Комитета партии и то, как тогда Серго Орджоникидзе кинул Жаркову: «А ты что, дворник? У кого служишь?» – и Кирилл сам посуровел:

«Что-то тут не так. А может, во мне мужичья кровь проснулась: своих жалею?»

Жарков, опустив глаза, с несусветной злобой произнес:

– И пришлось Полдомасово... да не только это село... на черную доску.

– Много ли таких-то?

– Порядочно. По краю есть целые районы на черной доске. Голодают? Черт с ними: нам революцию надо спасать. И тебе я от имени крайкома предлагаю держаться этого же курса, – закончил Жарков и крепко пожал Кириллу руку.

– Сыпь в Полдомасово! – гаркнул Кирилл так, что шофер с перепугу рванул машину и удивленно посмотрел на Кирилла, уже понимая, что тот, почти всегда спокойный, уравновешенный, тут чем-то весьма встревожен.

– Сыпану, сыпану, – ответил он, стараясь успокоить Кирилла.

Кирилл знал – Полдомасово было очагом восстания в долине Паника: здесь жили отрубщики, торгаши, вожди религиозных сект. Знал он все это, однако доводы Жаркова не убедили, а раздвоили его, и даже было подумал: «Жарков перестал быть «втяютей»: взял твердый курс», но как только он въехал в село, то ошалел.

Улиц, собственно, не было: у многих изб окна были выдраны, и избы глядели черными зевами, напоминая огромные беззубые рты чудовищных зверей; в растворенные ворота виднелись опустевшие дворы с проложенными через них тропами. Во всем селе стояла какая-то предостерегающая тишина: ни людей, ни собак, ни кур, только мелкие вихрастые воробьи прыгали по свалившимся плетням.

Но вот из переулка выехал человек на санях. Он едет улицей и кричит, точно скупая:

– Эй! Нету ли мертвяков?

Иногда он подъезжал к какому-либо дому, стучал кнутовищем в раму окна и кричал:

– Мертвяки есть ли? Давай. Сволоку. Вот парочку подобрал уж, – и показывал на двух мертвецов в санях.

На повороте в переулок он остановил лошадь, спрыгнул с саней и наклонился над Никитой Гурьяновым.

– Что, умираешь? – спросил он, подталкивая Никиту ногой.

Никита лежал на обледенелой земле рядом с Нюркой, прикрыв ее полуголое тело полрой полушубка.

– Умираю, – глухо прохрипел он.

– Так ты давай в сани... все равно уж отвозить... – С мертвяками?

– А то с кем же?

– Уйди! – И Никита, зло натянув полу, крепко обнял Нюрку. – Я тут хочу подохнуть.

– А кого удивишь? Нонче и родни не стало... а ты, и не нашенский. Ложись-ка в сани, да и поедem в яму. Чего еще гордыбачишься: все одно околеешь.

– Околею, а сам в яму не полезу. Уйди!

– А-а-а! Вон... комиссар какой-то, – проговорил мужик, видя, как из машины вышел Кирилл, и, подхлестнув лошадь, поехал прочь.

Кирилл упал на колени перед Никитой, хотел его приподнять, но Никита, крепко вцепившись в мертвую Нюрку, не заговорил, а как-то завыл, скрежеща зубами, выпаливая слова – резко и четко:

– А-а-а! Кирька! Ворон прилетел. Мясца мово захотел. Уйди! Натешились уж, чай. Натешились. Радетели!

Кирилл подхватил Никиту и Нюрку, положил в машину, распорядился, чтоб их обоих шофер отвез в больницу, а сам кинулся в сельский совет.

Сельский совет находился в том же каменном двухэтажном доме, в котором когда-то были убиты тринадцать коммунистов. Дом остался таким же ободраным. Вставлены только новые рамы.

– Что такое у вас с селом? – спросил Кирилл председателя сельского совета –

молодого парня с ухарской прической.

– А что? – как будто ничего особенного с селом и не случилось, спросил в свою очередь председатель.

– Почему все избы разрушены?

– Зачем все? Не все. А только те, коих хозяев в селе нет.

– Где же они?

– Кои померли, кои ушли на стройку.

– А почему ж вы не охраняете избы?

– А это же частная собственность.

«Дурак, – подумал Кирилл. – Нет, не дурак, а плут», – перерешил он.

– А где народ?

– У нардома. Ужас, ужас, ужас! У нас ведь не народ, а луковицы с глазами, – председатель хихикнул. – Знаешь что... на днях баб на мороз голыми задницами посадили... отморозили, теперь на улицу не показываются. А то, как что – в волосы тебе, да мало, норвят тебя за то поймать, то есть за самое тонкое место. А теперь – сами отморозили. А село на черной доске висит. Ужас, ужас, ужас!

– Как твоя фамилия?

– Евстигнеев. Силантия Евстигнеева знаешь? Жулик! Мигунчиком звали. Так я его племянник.

– Ага. Вон чья кровь. – И как только к сельсовету подъехала машина, Кирилл грубо, как берут цыплят, взял председателя за шиворот и, вталкивая в машину, крикнул шоферу: – Отвези... в ГПУ... до моего распоряжения... А сам вертайся к нардому. Живо!

И зашагал к нардому. Он шагал большими, широкими шагами, словно измеряя улицу, а под глазами у него налились мешки – серые, с синими жилками. Он шагал, и хрустел ледок под каблуками его сапог.

«К народу! – чуть не вскрикнул Кирилл, тут же вспомнив рассказ Сталина про Антея. – И не горячись, – говорил он себе. – Надо быть осмотрительным. Распугаешь – не словишь. Не горячись».

У нардома стояли, как истуканы, люди. У большинства лица опухшие, точно отмороженные, а глаза слезливые, запавшие. Люди стояли вразброс, поодиночке, будто оглохшие. Только впереди всех, положив обе руки на палку и опираясь на нее грудью, переступал с ноги на ногу старик и как будто внимательно слушал человека, который держал речь с крыльца нардома. Человек как-то приседал на пятки, будто они у него обрублены. Ухо одно у него, как у циркового борца. Говорил он, отчеканивая каждое слово, закинув руку за поясницу, но иногда руки вытягивались по швам, и человек начинал кричать, будто командуя ротой.

– Еще в семнадцатом героическом году, – отчеканивал он, – в годину радостного рождения пролетарской революции, когда рабочий класс и трудовое крестьянство вырвали трехцветное знамя из рук кровавого Николая и, оторвав от



него красную часть, понесли знамя трудящихся через годы мучительной борьбы – годы гражданской войны, разрухи, тифа, – еще тогда рабочий класс предсказал, что кулак является могильщиком пролетарской революции. И вот теперь вы, сбитые кулаками, хотите затоптать красное знамя – знамя, за которое бьются все трудящиеся всего мира!..

Неподалеку от человека с подбитыми пятками сидел за столом Лемм и в знак согласия то и дело кивал головой. Тут же рядом, за спиной Лемма стояли еще люди в туго подтянутых поддевах, в полушубках – черных, романовских. По всему было видно, что люди эти не из Полдомасова, а откуда-то со стороны: уж очень они спокойно смотрели на толпу полдомасовцев, так же спокойно и привычно, как спокойно и привычно мясник смотрит на заколотого быка.

«Стая... волчья», – решил Кирилл и перевел взгляд на старика.

Старик, переминаясь с ноги на ногу, тянулся, вслушивался в слова оратора и, очевидно, ничего из них понять не мог. Иногда он прикладывал ладонь к уху, но тут же опускал ее и снова замирал.

– И вот это красное знамя... – продолжал человек.

Кирилл не выдержал, крикнул:

– Есть ли у полдомасовских крестьян-колхозников хлеб?

Человек замялся и даже растерялся.

– Ты что делаешь здесь? В колхозе? – еще грубее крикнул Кирилл.

– Я, собственно... научный сотрудник опытной станции, а в колхозе помогаю по делопроизводству.

– Ну, стало быть, ты знаешь – есть хлеб или нет?

– Я это точно сказать не могу.

– Тогда какого же черта рвешь тут знамена! Слезай! – И, чуть не столкнув человека с крыльца, Кирилл стал на его место, несколько секунд осматривал крестьян – и грохнул: – Как член Всесоюзного Исполнительного Комитета предлагаю снять село с черной доски!

Люди даже не шелохнулись. Они как будто еще больше окаменели, только где-то позади в толпе слабо вскрикнула женщина да у старика безудержно потекли слезы. Он стоял так же, опершись грудью на «длинную палку, и не вытирал слез.

#### 4

По пути в Широкий Буерак Кирилл переарестовал человек пятьдесят. Он грубо, злобно вталкивал их в автомобиль и отправлял в ГПУ. В Полдомасове, когда он арестовал человека с подбитыми пятками, на него налетел Лемм:

– Это что за жандармские приемы? Что за приемы?

– Мы еще с вами встретимся! – крикнул ему Кирилл и уехал.

Все остальное происходило в каком-то угаре. Вряд ли Кирилл отдавал себе отчет в том, что он делал. Руководил ли им в это время рассудок, или он подчинялся только одному чувству гнева, он понять не мог. Он видел только одно: люди выпрямляются, как выпрямляются освобожденные из-под бревна ветки вишенника. И он инстинктивно чувствовал, что делает хорошо, делает то, что надо, делает так, как надо – решительно и быстро. Он не только арестовывал, но и освобождал. Почти в каждой улице Полдомасова он наталкивался на избу, забитую крестьянами-колхозниками, единоличниками, и он распускал их по домам. Проезжая же мимо одного совхоза, он услышал раздирающий крик. Голодные свиньи, встав на дыбы, перекинув морды через дощатые загороди свинарника, визжали на разные голоса. Пятьсот свиней. Иногда они, перескочив через изгородь, рвали друг друга, тут же пожирая обессилевших, или выбегали на волю и бросались на все живое. А работники совхоза, перепуганные, забились в квартирки и не выглядывали оттуда, боясь попасться на глаза озверелым, взбесившимся от голода животным.

Кирилл подъехал к квартире директора, бывшего партизана, Акулова. Акулов сидел у себя в комнате ипил. При входе Кирилла он поднялся из-за стола и, пошатываясь, полез целоваться. Кирилл оттолкнул его.

– Ты что ж?

– А что ж? Что-о-о? – захрипел Акулов и ударил кулаком по столу. – Выходи вон в поле, уткни морду вверх и ори. Никто не услышит. Свиней, сволочи, решили голодом уничтожить...

Акулов рассказал, что запасы кормов для свиней лежат на складе совхоза, но до сих пор из треста не прислали нарядов, хотя совхоз требовал наряды уже больше двух месяцев тому назад.

– А ты возьми без нарядов.

– Э-э-э! Я уже имею четыре выговора. А около склада стоит вооруженная милиция. Сунься. Возьми. Вот и запил. Чего ж мне делать? – и опять пьяно закричал: – Революцию под откос пускают!

И Кирилл, ярко видя перед собою старика, опершегося грудью на палку, его молчаливые слезы, снова, как в угаре, рванулся к запасам кормов, оттолкнул милиционера, сорвал замок со склада и приказал немедленно же накормить свиней.

И по пути шествия Кирилла Ждаркина поднялся переполох. Не успевал он закончить дела в одном конце села, как другой конец – все поголовно: малые и старые – высыпал ему навстречу. Старики падали в ноги, ревели – хрипато и придушенно. И Кирилл, поднимая их, сам ревел с ними вместе:

– Не дадим умирать. Никому не дадим умирать. Мы же с вами плоть от плоти, кровь от крови. Мы все родня. И тот, кто уничтожает нас голодом, – бейте его! Бейте беспощадно, как били в годы гражданской войны!

– Хлебца! Дядя Кирилл, хлебца! – пищали дети.

И Кирилл шел к государственным запасам, отдавал распоряжение о немедленной выдаче хлеба.

Многие же бежали от Кирилла, как от неожиданно появившейся чумы. Иные подходили близко к нему, долго смотрели ему в лицо и тут же скрывались, глухо бормоча:

– Ну и рвет! Ну и мечет!

За несколько километров от районного села Алая Кирилл встретил Захар Катаев. Тот остановил машину, сел рядом с Кириллом и, впервые называя его так, проговорил:

– Кирюша! Ты что ж это? Башки, что ль, тебе своей не жалко? А? Там приехал Сергей Петрович. В райкоме партии сидит. Тебя велено к нему доставить...

У Кирилла вдруг екнуло сердце, и он как-то весь опустел.

## 5

В обширном зале уже собрался весь партийный актив района.

При входе Кирилла все разом смолкли, застыли, как застывают люди в первую секунду неожиданной катастрофы.

– Видишь? – шепнул Захар Кириллу. – На тебя, как на тигру, глядят.

А Кирилл видел только лицо Сивашева. Сергей Петрович сидел на сцене за столом и при входе Кирилла поднял лицо от бумаг. Оно было суровое, даже гневное, а глаза – бездвижные, но вот открылся верхний ряд зубов – белых, ровных, глаза ожили, засмеялись. Но так они смеялись только миг, и лицо снова приняло суровое, жесткое выражение.

– Настряпал? – тихо сказал он, обращаясь к Кириллу. – Садись, – и указал на стул рядом с собой.

– Ну и натворил. Что это ты сорвался? – тихо упрекнул Кирилла Лемм. – Хоть бы ко мне заехал. А то на-ка вот, как гора на плечи. Что это ты, ангелочек?

– Вы хотели, – Сивашев кивнул Жаркову.

У Жаркова лицо белое, мучное и широкое, особенно в скулах, а лоб высокий – такой, о котором говорят: «благородный лоб». На лоб спадает прядь волос, засеребренная сединой. А губы повислые.

– Мы должны сейчас говорить не о поступках Кирилла Ждаркина, – начал он мягко, спокойно. – Поступки Кирилла Ждаркина являются обратной стороной действий тех бюрократических слоев в нашей стране, которые дело доводят до того, что в совхозе «Ильич»дохнут животные только потому, что до сих пор кто-то не выслал наряд на корма... А корма – запасы их – лежат тут же, в совхозе.

Жарков говорил долго и, казалось, очень хорошо. Но Сергей Петрович то и дело выхватывал из кармана маленький блокнот, перебирал его пальцами, и

Кирилл знал – это признак того, что Сергей Петрович весь внутри кипит и вот-вот взорвется... Успокоившись, Сивашев снова сунул блокнот в карман и снова начал читать какие-то бумаги в папке, то и дело отрываясь от них, прислушиваясь к речи Жаркова. Это была та самая папка, которую когда-то Кирилл видел на столе в кабинете Сталина.

«Почему он так прислушивается к Жаркову?» – подумал Кирилл.

Но вот Сергей Петрович быстро поднялся и ушел за сцену. Жарков растерялся, оглянулся и смолк. А на его место выскочил Лемм. Он чесанул рукой свои непослушные, седые с дымкой волосы, поправил очки и взял сразу в галоп.

– Тут товарищ Жарков сказал, что мы должны сегодня говорить не о поступках Кирилла Ждаркина, а о наших бюрократах. Неверно. Заявляю: неверно. Что будет со страной, – если всякий поедет и начнет проделывать такие штучки, какие натворил Ждаркин?!

– Но ведь Ждаркин – не всякий, а член ЦИКа, да еще уполномоченный Центрального Комитета партии, – выглядывая из-за кулис, произнес Сергей Петрович.

Лемм снял и снова надел очки...

– Это я так, так. Чтоб вы все-таки помнили, что Ждаркин – не «всякий», – успокоил Сергей Петрович Лемма и снова скрылся за сценой.

– Вот именно, что не всякий, а член ЦИКа, уполномоченный и должен давать себе отчет в своих поступках.

А Ждаркин набрасывался на каждого, каждого сдавал в ГПУ.

– Да и не каждого, – вмешался Захар Катаев. – Если бы каждого, то пруды бы надо прудить.

– Вот результат действий Кирилла Ждаркина, – Лемм сунул рукой в сторону Захара Катаева. – Вот его кадры. С такими кадрами в два дня можно сломить шею советской власти. Вот вы, товарищ Ждаркин, арестовали при мне научного сотрудника опытной станции Замойцева. Это очень славный человек. Он мог бы сидеть себе на опытной станции и не вмешиваться в общественные дела.

– И хорошо бы делал, – не выдержав, крикнул Кирилл.

– Вот! «Хорошо бы делал!» Все хочешь сам – один. А надо и социально чуждых людей уметь пересадить так, чтоб они корни пустили в нашу почву.

– Крапиву куда ни пересаживай, она везде крапива, – вставил обозленный Захар Катаев.

Лемм на реплику Захара не сразу нашел что ответить и, пожевав ус, вскинул руки:

– А вот ученый Мичурин из крапивы стручки делает. Вкусные, к обеду подаются.

– Так надо сначала привить, а не голую крапиву пересаживать. Да и глупостью такой, поди-ка, Мичурин не занимается, – сказал кто-то из зала.

Лемм был стар. Стар и обидчив.

– Ты еще учиться должен! – взвизгнул он. – Учиться. У меня учиться. Ты еще и не думал о советской власти, а я уже на каторге сидел.

Сивашев шагнул к столу, резким движением руки отстранил Лемма и заговорил сам:

– Когда человек в мирное время палит из винтовки попусту, мы мылим ему шею.

В зале все смолкли, еще не понимая смысла слов Сергея Петровича, а Кирилл сунул руки между колен, согнулся, думая, что вот сейчас он всыплет и ему за его «бесшабашные поступки».

– Да, – продолжал Сергей Петрович. – Но если он палит в цель, да еще во время боев, мы его хвалим. Как же товарищ Ждаркин мог пройти мимо и не дать распоряжения о том, чтоб выдали корма на свинарник, если свиньи дохнут только потому, что кто-то задержал наряды? Да грош бы ему была цена! За хвост да палкой бы его тогда.

Кирилл облегченно вздохнул, а Сергей Петрович уже тише добавил:

– У нас государство большое и хозяйство сложное. Надо каждому думать, ибо за свиньями, за поломанными санями, за испорченным трактором стоит самое ценное – человек. – Он снова остановился, долго рылся в папке с бумагами, затем, выхватив из кармана блокнот, посмотрел в зал. Вид у него был такой, будто он идет по тонкому канату и вот-вот сорвется, но срываться ему нельзя, ему надо обязательно пройти. И он колебался, бросал фразы в зал – отрывистые, недоговоренные, и вдруг резким движением руки отбросил от себя папку: – Кирилл классовым инстинктом почувствовал, где враг. Посадил? Многих? Говорят, свои попали. Ну, что ж? Перед своими мы потом шапку снимем, извинения попросим. Да свой и не обидится. – И голос Сергея Петровича окреп, сам он весь напрягся и поднял руку. – Да, да. Мы знаем, да не только мы – весь рабочий мир знает, что мы всей страной... поднимаемся со дна – от нищеты, от бескультурия... и нам тяжело, нам приходится подтягивать животы. Но кто некоторые села, в том числе и Полдомасово, посадил на голодный паек? Кто? Врага многие не видят, за врагом плетутся, врагу поддакивают, одни по обидчивости, другие по темноте своей. А врага надо бить. Бить, как гниду. Враг засел в земельных органах, в планирующих, в органах Наркомпроса, в научных заведениях, в Академии... у ево, у врага, корни, как у пырея. Разорвешь, бросишь в землю – опять пошел. Значит – копай, значит – поднимай трактором, собирай корни и жги. Жги беспощадно, без слез, без умиления, не слюняйничай... не то тебя сожгут, детей твоих сожгут.

Зал приглушенно загудел, в зале люди приподнялись с мест, потянулись к Сергею Петровичу, и казалось – стоит только ему крикнуть: «Вот враг, бейте его!» – все кинулись бы на призыв. Но люди еще не видели врага, не знали, где он, несмотря на то что враг сидел тут же, неподалеку от Сергея Петровича. Но о нем люди ничего не знали, и никто не заметил, как его бледное, точно мучное лицо то и дело покрывалось красными пятнами.

– А может, враг среди нас? Может, враг – я? Вот я выступаю перед вами, говорю за советскую власть, а может, я делаю другое? Может, я с целью защищаю Кирилла Ждаркина? Может, и меня и его надо к стенке, к чертовой матери отправить, чтоб мы и землю не поганили?

Зал замер, а Кирилл вдруг понял, что Сергей Петрович идет в наступление – решительное и дерзкое, – и Кирилл поднялся, стал позади него, загораживая собой от удара в спину.

– Где ж враг? А может, враг вот ты? – Сергей Петрович ткнул пальцем в Захара Катаева, и все головы повернулись в сторону Захара, засверлили его глазами.

– Ну что вы? Вот еще. – И Захар удивленно замотал головой.

– Не ты, значит? Не ты?... А может... может... – Сергей Петрович сделал длинную паузу и, переводя глаза с одного коммуниста на другого, медленно повернулся в сторону Жаркова: – А может, ты враг? Молчишь? Жарков?

Жарков сел, затем резко вскочил, опять сел и сунул руку в карман.

– Ничего не понимаю. Что за шутки? – произнес он.

– А-а-а! Шутки? – Сивашев сорвался и с остервенением кинул: – Шутки? Мать!..

Жарков выхватил руку из кармана, и все ахнули: в руке блеснул браунинг. Кирилл со всей силой ударил кулаком по локтю, и браунинг с грохотом упал к ногам Сивашева. Тот поднял его и небрежно бросил на стол перед Жарковым:

– На. Мы пульки-то вынули из ево.

А зал ревел, стонал, зал весь взметнулся и лез на сцену.

## 6

Кирилл сидел в горьком партии и читал секретные документы: «Дело контрреволюционной группы Жаркова».

– Ужасная штука, – прерывая чтение, говорил он. – А мы-то были какие вислоухие.

Вначале казалось, что это вовсе не тот Жарков: с белым, как мука, лицом, с благородным лбом и всегда красными от переутомления глазами. Вначале казалось, что это однофамилец, что все это шутка... Но вот Жарков сам говорит в своих показаниях:

«...С Николаем Бухариным я знаком и политически и дружественно давно – еще до империалистической войны. В период же борьбы с Троцким, когда Бухарин нападал на Троцкого, или, вернее, делал вид, что нападает, я воздержался от выступлений... тут, как мне казалось тогда, я предвидел больше, чем Бухарин: я предвидел, что нам придется бороться со Сталиным, и не выступал. Оно так потом и вышло: всем нам – и троцкистам, и зиновьевцам, и бухаринцам, и прочим

представителям оппозиционных групп – пришлось сомкнуться и вести напряженную подпольную работу, направленную к одной цели – уничтожить Сталина, уничтожить физически, всеми и всякими способами...»

Временами даже казалось, что Жарков наговаривает на себя. Например, он писал, что принимал врагов партии у себя в кабинете, давал им читать секретные документы Политбюро. С секретных документов – и военного и промышленного характера – враги снимали копии и через Жаркова же пересылали эти копии за границу. Он освобождал своих друзей из-под ареста и делал все, чтобы скомпрометировать подлинных коммунистов.

«...И тут мы с особыми политическими взглядами отдельных людей не считались: шли к нам кулаки – мы принимали их, шли явные проходимцы – мы принимали и их, шли даже представители заграничной охраны – мы принимали и их. Лишь бы работали на нашу руку, лишь бы подрывали устои и авторитет Сталина...»

И дело действительно вскрывалось огромное и страшное.

Люди Жаркова сидели в земельных органах, в Наркомпросе, в кооперативных учреждениях, в Академии. Они, подхватив ходячую в то время теорию «мелкой пахоты», ссылаясь на опыт Америки, вводили такую пахоту на полях – и это давало на следующий же год обильные сорняки. Вывешивали села на черную доску, выбирая те села, которые «так или иначе уже замарали себя перед советской властью». «Вот такие села мы в первую очередь и вывешивали на черную доску, потому что по отношению к этим селам у деревенских коммунистов было создано определенное враждебное настроение и их, то есть таких коммунистов, легче было толкнуть на продажу скота у крестьян, на расправу с крестьянами. Так было вывешено на черную доску и село Полдомасово: вся власть принадлежала нам. Нами же был поставлен и тот человек, который ездил по улицам и собирал трупы».

В организации Жаркова оказались и председатель полдомасовского сельского совета и ветеринарный врач. Они вместе со своими единомышленниками сыпали просо в уши лошадям. Лошади бились, кидались на людей, тогда этих лошадей признавали бешеными и пристреливали. «Так мы уничтожили конское поголовье, – писал в своих показаниях Жарков. – А чтоб навести панику на соседние села, мы часто посылали ослабевших, голодных крестьян с каким-нибудь поручением в районное село. Крестьяне по дороге умирали... Особенно крепко мы ухватились за так называемые встречные планы. В иных колхозах мы буквально мели хлеб под метелку, причем на это охотно шли и некоторые неразвитые местные коммунисты, потому что за это мы вручали колхозу красное знамя, а коммунистам – путевки на курорты, в вузы, а тем колхозам, которые не шли на встречный план, давали рогожное знамя, и получалось так, что те, кто остался с рогожным знаменем, имели хлеб, а те, кто получал красное знамя, оставались без хлеба...» «Мы не чуждались и индивидуального террора. Обрезы были в полном ходу».

«– Что вы, собственно, хотели?» – задал мне такой вопрос следователь. Что? Вопрос ясен и без ответа. Но если это надо, я отвечаю: мы хотели, чтобы все

население ополчилось против партии, против советской власти, и, стремясь к этому, мы никого из данного села не щадили – ни бедняка, ни середняка, ни даже кулака. Ни один из местных кулаков о нашем плане не знал, а если кто из местных хотел принимать активное участие в нашей деятельности, мы его перебрасывали в другие села, в другие районы. «Вы стремились реставрировать капитализм?» – задал мне вопрос следователь. Отвечаю: «Да, мы, собственно, в первые годы революции шли с пролетариатом так же, как шел кулак вместе с крестьянством против помещика. Но то, что создала партия большевиков, было чуждо нам, не являлось нашим идеалом: мы стремились, прогнав помещика, занять барские хоромы и жить в них на правах таких же бар, а пролетариат строит свои хоромы, свои колхозы, свои заводы... Вот я сказал все. Я разоблачен, раздет, и политическая жизнь моя кончена. Но я еще надеюсь, что рабочее государство мне, как политическому инвалиду, даст возможность дожить жизнь и исправить свои ошибки».

«Имей в виду, – писал в особой записке Сергей Петрович Кириллу: – Жарков главных не открыл, а так откровенно говорит о себе только потому, что хочет выторговать себе жизнь: авось, дескать, сжалятся. Нет. Хватит. Жалели. Ты погляди у себя на строительстве. Там обязательно есть союзники Жаркова. Имей в виду, что банда Жаркова все дела свои вела под флагом партии, но «чутьточку левее». И дураки считали их своими».

И Кирилл вспомнил: ведь не так-то давно кто-то убил Шлёпку на берегу реки Алая, не так-то давно кто-то по пути в урочище «Чертов угол» сбил с лошади самого Кирилла и накинул ему на шею петлю... кто-то поджег торф... Этих людей до сих пор не открыли... А открыть их надо во что бы то ни стало...

И Кирилл отодвинул папку: «Дело контрреволюционной группы Жаркова», невольно припоминая события после пожара на торфяниках.

## 7

...Два человека уходили от пожарища. Они ползли через спутанный кустарник, продирались сквозь сосенки, по пояс утопая в тине. Иногда они приостанавливались, чтоб передохнуть, но огонь быстро настигал, кидался на них, как буран. Огонь бушевал, потешался над человеком, над его усилиями. Огонь шел с ревом, словно гигантский бык, ломая, коверкая все на своем пути, громоздя костры, осушая болота, превращая их в тинистые ямины... Два человека уходили от пожарища, а с ними вместе убегали и звери: неслись шустрые, с крысиными глазами лисы, прыгали зайцы, мчались, как сорвавшиеся с цепи, волки, и неуклюжий, словно с подбитым задом, ковылял медведь. Иногда он взбирался на поваленную сосну и с тоской посматривал в сторону пожара.

Уже светало, когда Богданов заявил, что он не в силах двигаться дальше, и тут же свалился в болото.

– Эх, Богданыч, рано ты, – проговорил Кирилл и хотел его взвалить себе на плечи, но тот запротестовал:



– Нет. Я сам. Я сам. – Но сил подняться у него не было, и он снова повалился. – Слушай, Кирилл. Ты иди. А когда выберешься, пришли за мной людей.

– Хорошо, – сказал Кирилл и двинулся вперед. Но передумал: «Ведь мы его потом не съедем!» – И, несмотря на протесты Богданова, взвалил его на плечи – Тучного и мягкого, как слабо надутый мяч. – Тут тебя жуки съедят. Больно дорогая для них пища, – пошутил Кирилл.

И только к вечеру следующего дня они случайно выбились на сухую поляну, перейдя вброд топкое болото. Богданов свалился на землю и, хлопая по ней ладошкой, сказал:

– Земля. Вот она.

– Вот так же бываешь рад земле, когда долго летаешь на аэроплане, – подтвердил Кирилл. И хотел тоже развалиться на поляне, но тут же выпрямился.

Неподалеку от них лежала полуголая женщина. Она лежала вниз лицом, поджав под себя руки. Казалось, она бежала, придерживая руками груди, и, споткнувшись, упала замертво.

– Да не может быть!.. – пробормотал Кирилл, переворачивая женщину вверх лицом. – Богданыч! Да это же... это же Зинка!.. Ну, та, Зинка...

– Странно! Как она сюда попала? Живая? – не поднимаясь и даже не глядя в сторону женщины, очевидно думая о чем-то другом, проговорил Богданов.

– Да нет. Видимо... – Кирилл хотел сказать, что Зинка мертвая, но Зинка глубоко вздохнула, открыла огромные серые глаза и снова закатила их.

– Она, видимо, тоже работала на торфе... бежала от пожара и, переправляясь через болото, обессилела... устала... видишь, платье все оборвано, – говорил Кирилл, понимая уже, что тут случилось что-то необычайное.

Перетащив Зинку под куст, он накрыл ее курткой.

Тут, на поляне, их и настигли комсомольцы во главе с Павлом Якуниным. С ним же вместе пришел и Егор Куваев. Увидав Зинку, он снова закачался, как и там, в парке, перед своим портретом, и, поняв, что Зинка мертвая, решил: «С ней и все в воду кануло».

Комсомольцы же ликовали, лезли к Кириллу, к Богданову, наперебой рассказывали о том, как они тушили пожар и как отыскивали их – Кирилла и Богданова. Один только Павел стоял чуть поодаль и все время поводил головой, тоскливо посматривая во все стороны. Кирилл подозвал его к себе и, усадив рядом, крепко обнял:

– Правда? – тихо спросил Павел.

Кирилл посмотрел Павлу в глаза – и тот все понял. Освободившись от объятий Кирилла, он поднялся, пробормотал:

– Я устал. Я пошел, – и скрылся в кустах.

Все долго смотрели ему вслед. Но вскоре тишину нарушили звонкие голоса:

на поляну высыпали пионеры.

Впереди всех неслась Аннушка и, не видя Кирилла, кричала комсомольцам:

– А мы за вами! Мы за вами по пятам!

– Анка, – позвал Кирилл. – И ты тут?

На следующий день к обеду Аннушка и ввела его в квартиру.

На диване полулежала Стеша. Неподалеку от нее сидели Маша Сивашева и Феня. Когда в дверях кто-то стукнул, Стеша приподнялась и, услышав знакомый поскрип сапог, сказала:

– Он!

Кирилл вошел и увидел только ее глаза – большие, зеленоватые, с синяками, и пошел им навстречу, ничего не говоря, и опустился на колени, положив свою растрепанную, пахнущую гарью голову ей на руки.

«Я принес тебе себя, – хотел сказать он, – но я оставил в огне Наташу Пронину, девушек-торфушек. Чем залить эту рану мою, я не знаю. Я вижу, ты рада, но сколько слез льется сейчас там, вне нашего уголка!»

– Грязищи-то наташил! – перебила его мысли Аннушка, будто расторопная деревенская хозяйюшка: – Сапожищами-то, эй, грязи-то, мол, сколько! – и, тронув за ухо Кирилла, спросила: – Кирилка, я тебе потомство или нет?

– Что это ты такое, хозяйюшка? – Кирилл поднял голову и только тут увидел Машу Сивашеву и Феню.

– Потомство я тебе или не потомство?

– А-а-а, – догадался Кирилл. – Конечно, потомство. А кто ж? Ты мое потомство, а я твой секретаришка. Приказывай нам, что ты хочешь.

Аннушка захлопала в ладоши и, быстро превратившись из расторопной деревенской хозяйюшки в девчущку, со всего разбегу несколько раз перекувырнулась на ковре. Затем поднялась и серьезно произнесла:

– Кино. Но чтоб и мама видела и все...

## 8

Клубок все больше и больше запутывался...

Два сторожа, оставшиеся в живых из четырех сторожей участка, рассказывали, что с вечера в «Шереметьевском тупике» было все спокойно. Поздно ночью вспыхнул пожар. Им показалось даже, что кто-то в это время бегал по лесу с факелом в руке и совал факел в сухую траву. Но, возможно, им это только показалось. Вернее всего, пожар возник от самовозгорания торфа-крошки.

Дело запутывалось. Все вело к тому, что пожар на торфоразработках возник

сам собой. К такому заключению пришла комиссия во главе с Леммом. Но Кирилл, – он даже сам не знал почему, может быть даже потому, что такое заключение «сломит голову Богданову», – не верил в решение комиссии и изо дня в день искал других причин пожара, цепляясь за каждую мелочь, за всякую возможность, держа под стражей людей, арестованных им во время поездки по району, оттягивая оглашение решения комиссии, несмотря на то что возбуждение среди партийцев и рабочих строительства росло с каждым часом и в конце концов могло обрушиться на него и Богданова.

«Возможно, я охраняю себя», – иногда думал он и все-таки снова принимался за поиски.

Но на сегодня, на сейчас вот, назначено заседание партийного актива с докладом Лемма. Нет фактов. Значит, придется подписаться под решением комиссии и уйти... уйти из горкома... а может быть, и из партии.

И Кирилл, отодвинув от себя папку «Дело контрреволюционной группы Жаркова», снова задумался над тем же вопросом – и вдруг ударил ладонью по столу.

«Ого! Вот что! А ну-ка Зинку! Ну, ту самую... Почему она очутилась там – на острове?» – и, позвав своего помощника, сказал:

– Разыщи мне, пожалуйста, Зинку.

...Зинка стояла у порога, по старой привычке держа руки на груди, и такая же робкая и послушная, какой была, когда Кирилл жил с ней, строил новенький домик, ухаживал за рысаком – серым в яблоках, корчевал пни на Гнилом болоте, разделявая его под огород. Кирилл посмотрел на нее сурово, так же, как когда-то он смотрел, будучи ее мужем.

– Ну, рассказывай и не виляй у меня, – заговорил он.

– Что рассказывать? – Неожиданно для Кирилла Зинка выпрямилась и гордо пошла на него. – Что рассказывать... мальчик?

«Ого! Она стала другой», – мелькнуло у него, и он, не меняя тона, сказал:

– Ты знаешь, кто тебя подобрал на поляне?

– Сказывали, ты. Ну и что ж?

– А кто тебя там бросил?

– Сказать тебе? А потом ты меня вместе с ним к стенке, а себе орден возьмешь?

– Ты знаешь, – будто не слыша ее, продолжал Кирилл, – там сгорели торфушки. Такие же, как и ты.

Глаза Зинки прищурились и уставились в угол.

– Присядь вот здесь. Ты ведь еще не оправилась, – Кирилл подвинул ей стул и искренне, так же, как делал со многими, погладил ее по голове.

И Зинка сломилась.

– Я не знаю его... я не знаю, как его звать. Я бы никому о нем не говорила, – он страшный. Это он зарезал девушек, которых нашли с распоротыми животами. В больнице мне говорили, что будто бы на горах какой-то садист появился. Он вовсе не садист. А с девушками делал так, чтобы «панику нагнать», как он говорил. – И Зинка, перепрыгивая с одного на другое, выложила перед Кириллом все, что накипело у нее. Она рассказала, как, подговоренная тем человеком, она забралась в «Шереметьевский тупик», взяла из рук человека факел, бегала и совала его в сухую траву, в камыш. Потом она отыскала на пожарище Кирилла и Богданова. И когда они стояли лицом к поезду с торфушками, она подкралась к ним, намереваясь выплеснуть из кружки бензин на спину Кириллу.

– И я бы плеснула, – говорила она, глотая слезы, – да загорелись коробка, торфушки начали прыгать в огонь...

И тогда Зинка, дрогнув, кинулась в сторону от огня. Тут к ней подскочил тот человек, схватил ее, как волк ягненка, и уволок в глубь зарослей. Они бежали от пожара вместе, но Зинка то и дело останавливалась и, колотя руками о деревья, выкрикивала:

– Окаянный... Что ты наделал!..

Поняв, что она выдаст, человек кинулся на нее. Он хотел ее убить – так же, как убивал многих: ножом в живот. Она и не помнит, как отделалась от него. Он как будто провалился неожиданно в яму, а Зинка, перебравшись через болота, обессиленная, свалилась на поляне.

– Вот и все, – закончила она и снова стала тихой, спокойной, даже улыбчивой – такой, как будто с ней ничего и не случилось.

«Кровь отца, – подумал Кирилл, рассматривая Зинку, вспоминая Плакущева. – Тот при любой беде вел себя вот так... только тонкие губы улыбались». Он некоторое время молча рылся в бумагах. Внешне он в эту минуту очень походил на Сивашева. Затем он неожиданно резко поднял голову.

– Значит, мерзавец он? Как же ты доверила себя такому?

– Но ведь и ты тут не чистенький. А ты, ты, ты? – зачастила она. – Бросил меня. На чьи руки? Иди, таскайся, подкладывай себя под каждого. Муху... муху и ту можно разозлить... А я ведь, Кирюша, – тихо добавила она, – тоже человек. Что ж отец? Он свое дело вел.

– У нас дети не отвечают за поступки отца, – смущенно буркнул Кирилл, сознавая, что и он виноват в том, что Зинка сорвалась, пошла таскаться по миру. – Да. Ты права. И я не чистенький, – откровенно сказал он.

– Кирюша! Это ты правду? Пожалел меня? – вдруг снова переменилась Зинка и опять стала покорной и робкой, сложив руки, подпирая ими высокие груди. – А я ведь... я хочу, чтоб ты мне поверил. Я не знаю, как его по-настоящему... а мы его звали Юродивым.

– А-а-а! – вырвалось у Кирилла, и он еще что-то хотел сказать, но в это время отворилась дверь, вошел Богданов и буркнул:

– Кирилл! Актив ждет.

– Сейчас. Ты, Зина, присядь тут, отдохни, – сказал Кирилл. – Хочешь, приляг на диване. А если чаю хочешь, поешь – попроси, тебе все принесут... И это... не горюй. Еще как заживешь... с колокольчиками!

– Не знаю, – вяло произнесла Зинка. – Колокольчики давно все оборвались.

– Ничего. Мы их привяжем. Подберем и привяжем, – сказал Кирилл и скрылся следом за Богдановым.

В зале, рядом с кабинетом, собрался городской партийный актив. При входе Кирилла шум моментально смолк, и все, кто был в зале, уставились и а Кирилла Ждаркина, как в суде, когда вводят преступника. Кирилл это не только увидел, но и почувствовал, и, пробираясь к своему месту за столом, он быстро окинул глазами людей. Их было необычно много. Никогда еще партийный актив не собирался в таком количестве, как в этот день. В дальнем углу зала вертелся Бах, поблескивая лысиной. Кирилл знал Баха «насквозь». «Бах всегда плывет к пристани и никогда не поплывет на открытое море: трус». До пожара Бах поддерживал Кирилла Ждаркина, теперь переметнулся к тем, кто повел кампанию против Кирилла и Богданова, и доказывал, что пожар возник от самовозгорания торфа-крошки и что в этом целиком виноват Богданов: он придумал добывать торф крошкой. В эту причину поверили не только противники Кирилла, но и его сторонники. Кирилл это видел по их глазам и понимал, что стоит ему сделать еще один промах, даже незначительный, и они «выкинут его из секретарей», как ненужный хлам.

«Может, сказать им сразу? – подумал он и тут же перерешил. – Нет. Пусть учатся. Пусть друзья учатся на своей неосмотрительности... и крепче бьют врага. – Он еще раз посмотрел в зал. В углу стоял Лемм и что-то шептал коммунистам. – Жужжит, шут гороховый». Кирилл позвонил в колокольчик, хотя этого вовсе и не требовалось: в зале стояла тишина. Затем нагнулся над столом, долго копался в папке с бумагами, и все следили за его длинными, узловатыми, крепкими пальцами.

– Я думаю, – наконец, заговорил он, – мы первое слово дадим нашему старому другу, товарищу Лемму.

Богданов встрепенулся, удивленно посмотрел на Кирилла, а Лемм быстро взбежал на трибуну.

– Всем товарищам известно, что я назначен председателем тройки по выяснению причин пожара на четвертом участке и главным образом причин гибели поезда с торфушками. Для нас, старых большевиков, самое дорогое – это человек. – Лемм долго говорил о людях, о бдительности, о том, что классовый враг скрывается иногда в таких людях, о которых и подумать нельзя; что многие коммунисты, в том числе и Кирилл Ждаркин, слишком рано лезут в вожжи, слишком увлекаются славой. – Протопопы. Все протопопы. А учиться не хотят или не могут, то есть не способны! – Затем он решительно заявил, что пожар на четвертом участке возник от самовозгорания торфяной крошки. – А в этом виноваты, конечно, и Богданов и Кирилл Ждаркин. Разве можно было применять такой способ в широком масштабе, не проверив его?

Зал загудел.

В Кирилле все закипело. Карандаш, который он вертел в руке, треснул. Но Кирилл улыбнулся и в знак согласия кивнул головой:

– Конечно, мы еще молодые коммунисты. И вы, товарищ Лемм, хорошо делаете, что учите нас. Нас надо учить, ясно-понятно и без никаких, – намеренно исковеркал он фразу.

– Учить?! – голос у Лемма сорвался. – Учить? А на чем учить? Без конца учиться будете? Торговать не умеете – учитесь. Завод строить не умеете – учитесь. Торф горит – учитесь. Ты вот скажи-ка нам прямо, отчего торф загорелся? От крошки? Тоже учились? Учитесь на государственной спине! А она трещит, спина государственная трещит. – И, помахав маленьким кулачком в воздухе, Лемм выкрикнул: – Вот чем вас надо учить!

Кирилл опустил голову. Кулачок Лемма – маленький, сморщенный – показался ему смешным, но из зала поднялся приглушенный гул, и глаза у людей блеснули ненавистью.

– Возможно, – улучив момент, проговорил Кирилл, – возможно, пожар возник от самовозгорания торфа-крошки. Возможно... многих из нас через несколько дней надо будет хорошенько в партийной баньке протереть с теркой... не протереть, а продрать. – И Кирилл оборвал, ибо почувствовал, как в нем все закипело. И он хорошо сделал, что не дал выхода своему гневу: в это время на стул вскочил Бах и твякующим голосом начал кидать в зал:

– Доколе?! Доколе будем болтать?! Мы, журналисты, мы давно вскрыли причины пожара на торфе. Мы знаем...

Он что-то кричал, поблескивая лысиной, но голоса его не было слышно, ибо в зале поднялся невообразимый галдеж, такой, какой бывает при давке: все повскакали в мест, все кричали, потрясая руками. А к Кириллу подбежал Богданов и забубнил:

– Что ты? Хочешь, чтоб бунт начался на строительстве?

Кирилл обнял Богданова, нагнулся над ним и вполголоса проговорил:

– Милый Богданыч, ты же меня учил: прямота в политике свойственна только дуракам, – и вдруг, резко выпрямившись, глядя на Лемма и ораторствующего Баха, сказал: – Ослами нас хотят сделать. А знаешь, есть поговорка...

Люди в зале неожиданно смолкли, думая, что Кирилл уже держит речь, и Кирилл поневоле принужден был продолжать:

– Знаете, есть такая добрая русская поговорка: «Если ты добровольно соглашаешься быть сивым меринком, то тебя непременно сделают ослом».

– Такой поговорки нет. Это ты выдумал, – ковырнул Лемм.

– И то хорошо. А мы... А ну-ка, позовите из моего кабинета женщину...

Зинка вошла в зал – так же, как и в кабинет, держа руки на груди. Она смотрела только в одну сторону, на Кирилла Ждаркина, и он смотрел на нее.

– А ну, скажи нам, – проговорил в тишине Кирилл. – Кто там... на торфоразработках поджег?

– Я, – еле внятно, но твердо произнесла Зинка. – Но я еще хочу сказать...

– Хватит, – оборвал Кирилл и быстро увел ее.

## 9

Все было перевернуто.

Инженер Темкин – мастер-акробат. Во время монтажа электростанции он, как кошка, бегал по балкам, ловко садился, спускал ноги, будто находился не под крышей огромного здания, а на скамейке. И в свободное время рабочие забегали на электростанцию, чтоб полюбоваться на Темкина, и всякий раз говорили:

– Прямо цирк. Цирк и есть.

Однажды зашел и Кирилл. Темкин в это время сидел на балке и командовал рабочему, который внизу из будки руководил краном. Кран тащил тяжелую чугунную раму.

– Влево! Влево! – командовал Темкин.

Что случилось? Или рабочий не расслышал, или кран не послушался его, только тяжелая чугунная рама тупо опустилась на ноги Темкину, и ноги, отрезанные выше колен, с высоты шлепнулись на цементированный пол. Темкин ухватился руками за перекладину, глянул удивленно вниз на свои ноги, затем в глазах у него вспыхнул испуг, и лицо, – именно лицо, ибо все в это время видели только его лицо, – лицо закричало: дико, пронзительно. Темкина быстро сняли с балки, и, умирая, он попросил, чтоб его похоронили рядом с электростанцией.

Темкина хоронили торжественно. Над могилой плакала его жена. Она держала за руку шестилетнего сына и, захлебываясь слезами, говорила ему:

– Миша! Вот тут твой папа. Будь таким же, как он, люби рабочих. Да, да, люби рабочих, как любил он, – дальше она говорить не могла, закачалась и упала.

Кирилл подхватил сынишку, вскинул его над собой и, показывая толпе, сказал:

– Умер великий мастер, инженер Темкин. Таких рождает только рабочий класс. Он умер на боевом посту и оставил нам своего сына. Клянемся, мы воспитаем его, и он понесет гордость своего отца, его ловкость, его преданность рабочему классу...

Многотысячная толпа вскинула руки вверх.

Теперь Кириллу было стыдно: недавно вскрыто, что Темкин несколько лет уже находился в организации Жаркова, а жена его, бывшая польская подданная, вела все время работу как японская шпионка... И на второй же день после вскрытия дела кто-то снес могилу Темкина около электростанции, и тысячи ног затоптали ее.

Да, было стыдно.

– Какой я дурак, какой я все-таки неосмотрительный дурак! Вот Сивашев не бухнул бы такое, – говорил Кирилл Стеше и утешил себя тем, что при арестах в районе ему удалось случайно захватить и Юродивого, гулявшего там под личиной Замойцева, научного сотрудника опытной станции.

Замойцев, он же Подволоцкий, он же Юродивый, очень долго не открывался. Недели через две после того как его арестовали, он попросил сочинения Ленина. Вот на этом Кирилл его и поймал.

– Чтоб наш человек, коммунист, читал в такой обстановке Ленина? Нет. Это не выйдет. А ну-ка покажите его Егору Куваеву.

Егор Куваев после свидания вернулся весь развинченный. Он попросился на личное свидание к Кириллу и, когда они остались вдвоем, глухо проговорил:

– Казни или миловай... А я ведь другой стал. Тело, может, у меня старое, прошлое, а душа другая. – И рассказал, как он пьянствовал в горах среди жителей землянок и как там встречался с Юродивым.

– Молчи о себе. Не только ты попался ему на удочку, а люди более опытные, чем ты... вот, например... – Кирилл хотел было сказать «Лемм», но промолчал. «Того, старого дурака, надо спасать», – подумал он.

Уличенный при очной ставке, припертый к стене фактами, как уж вилами, Юродивый сознался, что он действительно Подволоцкий, участник карательных экспедиций Колчака. Но от подробных показаний отказался, заявив, что разговаривать будет только с Кириллом Ждаркиным.

– Цену набивает, – решил Кирилл. – Хорошо. Мы его прижмем вдвоем с Богдановым.

Лицо у Подволоцкого было незабываемое, своеобразное: низкий лоб, заросший волосами; расплющенный нос с широкими ноздрями; рот большой, с сочными, толстыми губами.

И как только он переступил порог кабинета, Богданов шепнул Кириллу:

– Я его где-то видел.

– Здравствуйте, – проговорил Юродивый осипшим голосом.

И в ушах Кирилла вдруг прозвучали когда-то сказанные глухие и далекие слова: «Пускай показнится и задушится».

– А-а-а, – невольно протянул он, и тут же перед ним ярко встала картина: извилистая горная дорога, удар в затылок, падение с лошади, затем чьи-то руки взяли Кирилла и понесли в сторону... потом туго затянутая петля на шее, бред... больница. – А-а-а, – протянул он и, бледнея, поднялся, пошел навстречу Юродивому. – Да мы с вами, кажется, давно знакомы?

– Не кажется, а знакомы, – ответил Юродивый. – Несколько раз виделись. Последний раз в Полдомасове. Я речь говорил.

– А еще? В более интимной обстановке – не виделись ли?



– Ах, вы о том... Ну, там вряд ли вы меня видели. Ведь тогда я вас ударил молотком по затылку. Крепкий у вас затылок. Медный.

– Говорят, медный бывает только лоб. Ну, что ж вы хотели нам сказать?

Юродивый-Подволоцкий указал, что по происхождению он галичанин, являлся одним из руководителей так называемой «Военной организации Украины», центр этой организации находился в Киеве, организация эта существовала уже несколько лет и состояла почти целиком из «поддельных коммунистов», прибывших из-за границы, главным образом из Польши.

– Члены нашей организации вступали в партию коммунистов за границей и с партийным билетом в кармане перебрасывались на Украину. Здесь они находили своих друзей, бывших боротьбистов, которые когда-то целиком вошли в коммунистическую партию под лозунгом: «Сольемся, разольемся и зальем большевиков». Две основные задачи стояли перед нами: первая – разложить партийные организации за границей, и вторая – подготовить вооруженное восстание на Украине в первую очередь и смежных с ней республиках – во вторую... – И Подволоцкий развернул перед Кириллом и Богдановым картину действий «Военной организации Украины», в которую входили не только те, кто прибывал из-за границы, но и украинские так называемые «националисты», «боротьбисты», «укаписты». Оттуда, с Украины, нить организации тянулась дальше – во все крупные города Союза в Москву. – Свои люди сидели не только в сельских советах, деревенских ячейках, но мы стремились посадить своих людей и в Академию наук, и в Совнарком, и в Коминтерн.

Богданов, слушая Подволоцкого, все время шагал по кабинету и трепал свои лохматые волосы, еле удерживаясь, чтобы не выкрикнуть: «Какие мы были слепые! Как это мы всего этого не видели?...»

Он послал записочку Кириллу:

«Кирилл! Об этом надо немедленно же передать в Центральный Комитет партии Украины. Ведь это же целая сеть».

Кирилл в перерыве сказал:

– Брось. Ты думаешь, Подволоцкий дурак? Так вот тебе все и выложил. Торгуется. Надо полагать, что он нам открыл то, что уже известно ГПУ Украины.

И после перерыва Кирилл, совсем не удивленный показаниями Подволоцкого, сказал ему:

– Мы вам дали много времени на рассказы о том, что делает вообще ваша организация. Теперь вы расскажите-ка мам, что делали вы.

– А я делал то же, что и каждый член нашей организации, – ответил Подволоцкий и заметно сник, но тут же выправился и снова с достоинством посмотрел на Кирилла.

– Видите ли, вы слишком многое берете на себя. Слишком героями выставляете себя, – спокойно заговорил Кирилл. – Ведь нам же известно, что при такой ломке, какую производит в стране наша партия, неизбежны и ошибки и издержки. Мы же знаем, что крестьянин, который привык жить в своем хозяйстве,

при своем загончике, идя в коллектив, колеблется, отступает и наступает. А вы и эти колебания-отступления приписываете своим действиям, или, вернее, воздействиям. Уж слишком героями себя рисуете.

Подволоцкий улыбнулся и, презрительно скосив глаза, проговорил:

– Там, где рана, там и микроб. Мы ваши ошибки превращали в наши боевые участки.

«Попал в кон», – подумал Кирилл и неожиданно спросил:

– А Жаркова вы знали?

Подволоцкий снова презрительно скосил глаза.

– Это вопрос не совсем умный. Я также могу вам задать вопрос: а Сергея Петровича Сивашева вы знаете?

– Ну, да. Это я к тому, что вот Жарков в своих показаниях говорит, что вы бывали у него в кабинете, в крайкоме партии, и читали там документы. Что это он – на вас все сваливает, жизнь себе выторговывает?

Подволоцкий еле заметно дрогнул, а Богданов взглянул на Кирилла, зная, что Жарков в своих показаниях вовсе не упоминал фамилии Подволоцкого.

– Да. Я бывал у него в кабинете. Читал документы, – сказал Подволоцкий. – И отправлял за границу. Что вы от меня еще хотите?

– Мы от вас вообще ничего не хотим, – проговорил спокойно Кирилл и хотел было встать.

Глаза у Подволоцкого-Юродивого блеснули, будто у волка, когда к его клетке подносят кусок мяса и тут же отнимают.

– Ага, – сказал про себя Кирилл и продолжал: – Вы сами захотели нам рассказать. А так ведь мы о вас уже все знаем. Например, нам известно, что вы лично убили секретаря районного комитета партии, – Кирилл сделал длинную паузу, будто думая о чем-то другом, и резко кинул: – Василия Брускова, он же Шлёнка. Так? Ага! Вот видите, какая у нас осведомленность. И мы можем с вами распрощаться. Прощайте.

Губы у Подволоцкого-Юродивого побледнели, глаза забегали.

– Погодите, – сказал он. – Я вам скажу то, чего вы еще не знаете.

«Не умен. Трус...» – подумал Кирилл и снова сел.

– Слушаем.

– У вас работает Бах, – начал Подволоцкий-Юродивый и, увидав, как Кирилл качнулся, не в силах сдержать своего изумления, улыбнулся так же, как только что улыбался Кирилл. – Бах – ваш враг. Что вы на это скажете?

Кирилл оправился.

– Просто не поверю: хотите в петлю вместе с собой затащить и Баха.

Подволоцкий встал, зашагал по кабинету твердо, уверенно и зло.

– Знаете что, если бы я был на воле, я потребовал бы от вас ответа за оскорбление. Я офицер. – Он еще несколько секунд расхаживал по кабинету, затем присел и сказал: – Я человек не глупый и понимаю, что главное сказано и молчание теперь – не спасение. А я хочу жить. Я понимаю, мы перед вами многоголовый политический труп, который никакими силами воскресить нельзя.

– И на этом спасибо. Баха! Баха давайте! Иначе я вас пристрелю. Здесь же, как пса. Понимаете, господин офицер?

– Вы шутите?!

Кирилл, поняв, что Подволоцкий-Юродивый играет им, выхватил маузер из стола и проговорил:

– Я вот сейчас над вами такую шутку сыграю...

Глаза у Подволоцкого-Юродивого снова заблестели, но он спокойно сказал:

– Бах – троцкист. Боротьбисты, бухаринцы, зиновьевцы, троцкисты – все, кто против вас, все с нами. – И Подволоцкий-Юродивый рассказал все сначала: и то, как он вместе с Плакущевым участвовал в уничтожении лошадей, и то, как он принимал участие в полдомасовском восстании, и то, как он потом перекинулся на строительство, где встретился с Бахом. – Бах знал о нашей организации. Вам этого мало? Бах должен был убить вас на охоте. Он должен был вас убить в тот момент, когда раздастся выстрел в Москве. Надеюсь, вас и это интересует? – Подволоцкий снова улыбнулся. – В Москве мы готовили крупное дело. Дело это было поручено мне и Жаркову.

Кирилл нажал кнопку, раздался звонок, в кабинет вошли люди в военных шинелях.

– Уведите. И немедленно ко мне Баха.

Бах в кабинет не вошел, а впрыгнул. Прыгающей походкой он подбежал к столу и, чуть нагнув голову, из-под пенсне удивленно глянул на Кирилла и Богданова. И показался он Кириллу в это время коротеньким, маленьким и юрким, как рыбешка-оголец.

– Партийный билет сюда, – проговорил Кирилл и, не глядя на Баха, протянул руку.

– В чем дело? – твякнул Бах.

– А вот в чем, – и через стол, со всего размаха, не помня себя, Кирилл ударил Баха по лицу.

Бах отлетел в сторону и, скользя по паркетному полу, пронзительно закричал:

– Не буду... Ой, я больше не буду... – и пополз, шаря руками пенсне, цепляясь за ноги Кирилла.

Кирилл пинком отшвырнул его.

– Я не за себя ударил, за партию. Тебе – и вам таким мы доверяли. Богданыч, пойдем спасать старого дурака, – сказал Кирилл, и они отправились к Лемму в гостиницу.

## 10

Кирилл открыл Лемму, кто такой был научный сотрудник опытной станции, с которым дружил Лемм. К удивлению Кирилла и Богданова, Лемм стал защищать не только себя, но и Юродивого. Тогда Кирилл показал ему несколько фотографических карточек: первую – Юродивый, он же полковник Подволоцкий, на параде среди офицеров и генералов; вторую – Подволоцкий с карательным отрядом расстреливает коммунистов в Сибири при Колчаке; третью – Подволоцкий в шутовском наряде Юродивого скачет на палочке по улице Широкого Буерака; четвертую – он же, Юродивый-Подволоцкий, только не в шутовском наряде, рядом с Леммом.

– Да что вы мне все это показываете?! – взорвался Лемм.

– Да, тебе надо в баньке вымыться, хорошенько. С теркой. – Кирилл обозлился и прочитал показания Юродивого-Подволоцкого: – «Я, Подволоцкий, показываю. Я часто бывал у Лемма. Во время своей длительной и упорной борьбы я немало встречался с большевиками. Есть три категории большевиков. Одна – неподкупная, упрямая и умная. Этим надо было бить, но их нельзя было не уважать. Вторая – читари, они все хотят победить цитатами. Эти невредные. И третья категория – размягченные, такие, которые падки на лесть, которые все время себя мнят корольками. К ним принадлежит Лемм. А так как он и сам кем-то обижен, то невольно еще больше помогал нам. Например, он сразу поверил, что пожар на четвертом участке возник от самовозгорания торфа-крошки, и стал защищать эту точку зрения. Нам это было на руку, ибо...» – Кирилл оборвал чтение и не успел опомниться, как Лемм выхватил браунинг и два раза выстрелил себе в грудь.

– Гниль! – с омерзением вырвалось у Кирилла, и он покинул номер гостиницы.

Через несколько минут ему позвонил Богданов:

– Лемм еще не умер. Просит тебя. Зайди.

– Не пойду. Он плюнул своим выстрелом в партию! – ответил Кирилл.

– Нет. Ты приезжай. Он хочет что-то тебе сказать.

«Что он мне еще может сказать? – подумал Кирилл. – А может...» – решил он и отправился в гостиницу.

Лемм лежал с закрытыми глазами. Его седые, с дымкой, вихрастые волосы повяли, и прилегли его всегда тарачившиеся усы. По всему было видно – он отходил. И, когда к нему приблизился Кирилл, он долго всматривался в него, наконец еле внятно прошептал:

– Простите меня.

– Чего же прощать? Вот выздоровеете – поговорим. Доктора говорят, не опасно. Выздоровливайте, – сказал Кирилл и покинул гостиницу.

## Звено четвертое

### 1

Страна с великим торжеством принимает новые заводы. Она уже приняла металлургические, тракторные, автомобильные, химические, нефтеперегонные, цементные, гвоздильные, кораблестроительные, патронные, дав каждому свое имя. И каждый новый завод, входящий в строй действующих, вызывает бурное ликование: о нем пишут в газетах, о нем кричат по радио на весь мир, его называют наследником пролетариата, им гордятся в школах, в деревенских хатах, на полях, в бригадах, ибо каждый знает, что и он строил этот завод, хотя, быть может, во время стройки находился в двух-трех тысячах километрах от строительной площадки. Но один отправлял туда хлеб, другой – нефть, третий – уголь, четвертый – строительные материалы, пятый послал сына, шестой – дочь. И не кончилось еще ликование по поводу пуска одного завода, как в строй вступал новый, – и страна с еще большим подъемом принимала этот новый завод, гордясь им, а печать уже извещала о том, что в ближайшие дни вступят в строй металлургический и тракторный в урочище «Чертов угол» или где-то в тайге, где-то за Уралом, где-то далеко на севере.

Кирилл Ждаркин недавно получил ряд статей из английской и французской прессы. Статьи перевел и прислал Арнольдов.

«Кирилл! – писал он. – Посылаю тебе статью о вашем металлургическом и тракторном. А помнишь, мы сидели с тобой на берегу моря в Венеции? Был солнечный и, кажется, праздничный день. На берегу кишели люди – купались, жарились на солнце. Нам с тобой надо было расставаться, и мы, помолчав некоторое время, вдруг подняли бокалы и враз, будто договорясь, произнесли: «Выпьем за нашу Венецию!»»

Так вот, наши заводы уже приближают нас к «нашей Венеции». Еще – я перешел все-таки на другую работу. Пишу. Пишу большую картину. Не знаю, что из этого выйдет. Хотел было посмотреть на тебя. Если не зазнался, пригласи к себе на завод. Твой Арнольдов Иосиф».

Кирилл читал статьи, в которых писалось о том, как строятся металлургический и тракторный заводы в урочище «Чертов угол». При этом многое изображалось в обычном стиле заграничной прессы: писалось, что на строительстве ежедневно появляются бурые медведи, что бурые медведи и волки ходят прямо по котлованам, лазят на коксовые печи, что недавно они съели одного иностранного инженера, что люди на стройке все обросли бородами, ибо парикмахерских совсем нет, что в уборные записываются в очереди, – и, несмотря на всю эту болтовню, в статье все-таки сквозила зависть, вынужденная похвала большевикам: их сравнивали с американцами, с Колумбом, с передовыми

дельцами мира, им завидовали и их боялись. О Кирилле Ждаркине и Богданове писали, что это такие самородки, которые в Европе сделали бы гораздо больше, но там, в стране социализма, их связывают по рукам и ногам безграмотные массы.

– Погодите, не то еще запоете, – прочитав статьи, сказал Кирилл и отослал их Богданову, сделав от себя приписку: «Почитай, подивись и давай скорее пускать заводы».

Заводы в урочище «Чертов угол» можно было уже вводить в строй действующих, но Богданов не торопился: он хотел обязательно проверить их налаженность, хотел обязательно спустить с конвейера штук десять гусеничных тракторов и иметь во дворе тысяч пять тонн чугуна. Поэтому он день и ночь вместе с Кириллом пропадал на заводах, – они ходили по цехам, проверяли, советовались с инженерами, беседовали с рабочими, устраняли аварии, неполадки. За эти дни Богданов совсем осунулся.

...А сегодня Кирилл Ждаркин ехал на другой праздник – в Широкий Буерак к Никите Гурьянову, бригадиру седьмой бригады колхоза «Бруски». Никита Гурьянов, после того как «хлебнул досыта беды» в Полдомасове, вернулся в Широкий Буерак, вступил в колхоз, а совсем недавно на съезде колхозников в Москве, неожиданно для всех, просидев три дня молча, на четвертый забрался в президиум и в перерыве сказал Сталину:

- Пшеницу даю сам-тридцать.
- Не хвалишься? – спросил Сталин.
- Руби потом мою башку на чурбаке.
- Рубить не будем, а посмеемся.
- Это сколько же сам-тридцать? – спросили Никиту журналисты.

– А он знает. Он – голова наша, – Никита показал на Сталина и отошел в задние ряды зала, досадуя на то, что обещание его услышали и другие – посторонние, по его мнению, люди, журналисты. И когда снова к нему подлетели журналисты, фоторепортеры, он мрачно отвернулся:

- Идите к псовой матери.

Но его уже несколько раз сняли, и на следующий день в печати появились его слова о том, что он дает пшеницу «сам-тридцать», и портрет – вылитый Никита Гурьянов. Портрет ему понравился.

- Выхожу, стало быть, в герои, – сказал он, – да как бы горб не набили.

Вскоре об обещании Никиты узнали в крае, в районе, и все всполошились, сочтя Никиту Гурьянова за какого-то чудака, наболтавшего Сталину великую ересь, за которую теперь надо отвечать и краю и району. Край всполошился еще и потому, что в районе, где работал Никита, «извечно средний урожай пшеницы – шесть центнеров с га». А Никита пообещал тридцать пять. Многие смеялись, рассказывая про Никиту тут же придуманный анекдот, а Никита сердито бурчал:

– Дам. Да что вы – вот осенью проверите. Не из своего же кармана я буду добавлять. Усдоблю землю и дам, – и это слово «усдоблю» было непонятно

горожанам, журналистам.

Тогда Никита зло бубнил:

– Вы, милые мои, до сей поры только сдобные булки жрать умеете, а что значит «усдобить» – не знаете. Она, булка, вкусна делается, когда в тесто молочка, сметанки положат, сахарку – вот и сдобная получается. И в землю надо своей сметанки положить.

Неверие людей в мечту Никиты вначале поколебало и его самого, и он замкнулся, упорно гнал от себя приезжающих журналистов и требовал, чтоб к нему в гости приехали Кирилл Ждаркин и Богданов, с которыми, как казалось ему, он сможет поговорить так же откровенно, как говорил со Сталиным.

В «клятве» Никиты первое время усомнился и Кирилл Ждаркин. Верно, он знал, в эту осень пшеница, посеянная по клеверищу, дала двадцать центнеров с гектара. Но ведь Никита «бухнул» тридцать пять!

«Чудак, обалдел на съезде колхозников», – решил Кирилл, но сомнений своих не высказал Никите, наоборот, решил поддержать его, зная, что в крестьянах заложены такие возможности, о каких еще мало кто думал; что Никита Гурьянов, даже у себя в хозяйстве, в самые засушливые годы умел собирать средний урожай; что, если даже Никита и не выполнит своего обещания в этом году, он выполнит его в следующем, но колхозники потянутся за ним теперь, а это уже хорошо.

Кирилл Ждаркин ехал в Широкий Буерак не только для того, чтобы поддержать своего дядю – Никиту Гурьянова, но и затем, чтобы самому убедиться, что случилось с его планом по переустройству деревни.

Да, вот страна ожила, страна укрепилась... скоро пустят еще два завода – металлургический и тракторный, все идет хорошо... но, несмотря на все это, Кирилл грустил: сегодня утром он впервые поссорился со Стешей. Ссора произошла из-за какого-то пустяка. Четыре года они живут вместе, на одной квартире. Верно, они до сих пор еще не зарегистрировались. Но зачем это? И без этого Стеша каждое утро провожает его ласково, любяще. И каждое утро Кирилл подходит к кровати сына. Сына они назвали, по настоянию матери, тоже Кириллом, и теперь в квартире два Кирилла – Кирилл большой и Кирилл малый: так назвала их Аннушка. Причем, Кирилл малый всегда требует больше, чем Кирилл большой. Иногда Кирилл-отец задерживается утром, тогда Кирилл малый подходит к нему, несколько секунд требовательно смотрит ему в глаза и, потянув за рукав, командует:

– Ложись, – и, сев верхом на отца, пронзительно кричит, подражая рожку автомобиля, изображая шофера, а отца превращает в автомобиль, мать – в толпу прохожих, Аннушку – в милиционера, регулирующего уличное движение, и в этот час все в доме подчиняется ему, Кириллу малому, у которого уже выросли зубы, но который почему-то зовет аэроплан «мараткой», боржом – «моржому-барьжому». Он упрям, а подчас дик: забьется в угол и пыхтит, никому не рассказывает, на что обижен.

– В мамашу, – шутейно говорил Кирилл-отец, – ты ведь тоже, как обидишься,

так и давай губой шевелить...

А Аннушка растет. Ей уже двенадцать лет. Она выправилась, стала менее шустрой, но стройнее, менее «хозяйюшкой», но и эта черта в ней еще не пропала, только переменялась – из деревенской «хозяйюшки» Аннушка превратилась в городскую «хозяйюшку»: она, так же расторопно тараторя, вступает в разговор со взрослыми, употребляя новые для нее слова. Кириллу большому, когда не согласна с ним, кидает:

– В тебе мелкобуржуазность сидит.

– Что это за птица такая, мелкая буржуазность? – хохочет он.

Аннушка, не моргнув, отвечает:

– Почитай у Ленина. Ты – секретарь горкома. Надо знать учение Маркса – Ленина.

– Хо-хо-хо! – гремит, закинув голову, Кирилл, и чтоб окончательно не разобидеть Аннушку, подхватывает ее на руки, кружится с ней по комнате и кричит: – Воюй, воюй, мое потомство! Мир-то ведь вам принадлежит, стервецам. Стешка! Вот как они жить будут.

Мать в эти минуты молчит. Она ласково смотрит на Кирилла большого и Кирилла малого и на Аннушку, и по всему видно: больше всего она в эти минуты благодарна Кириллу-отцу и за то, что он любит сына, и за то, что Аннушку называет «мое потомство», совсем не давая ей почувствовать, что она не его дочь.

– Какой он у меня хороший, какой он у меня хороший, – шепчет в эти минуты мать.

И все шло хорошо. Растет Аннушка, растет сын, весела и приятна Стеша. Она домовничают. Нигде не работает. Зачем? Что, Кирилл один не прокормит семью? Прокормит. Пускай рождает детей. Хорошо бы иметь еще дочку. Ведь мать Кирилла за свой век родила одиннадцать человек. А что, Стеша хуже его матери, или Кирилл неподходящ как отец? Так иногда ночью в постели говорит Кирилл Стеше. Стеша тихо посмеивается и будто соглашается. Но – будто бы... Однако что-то не видать, чтоб она была «в интересном положении». А иногда после такой беседы, наутро (Кирилл стал замечать это чаще), она украдкой провожает его тоскующим взглядом, и он, ловя ее взгляд, спрашивает:

– Ты что как смотришь на меня, будто я навек ухожу?

– Да нет... что ты?... Скучно без тебя, – отвечает Стеша, и снова в ее глазах вспыхивает радость.

Казалось, все шло хорошо, но сегодня утром они поссорились. И потому что ссора была первая, она и была особенно тяжела.

Стеша сказала:

– Я поеду с тобой в Широкий Буерак.

– А на кого оставишь Кирилла?

– Да не вечно же мне с ним сидеть! – раздраженно бросила Стеша.



И если бы Кирилл в этот миг хорошенько прислушался к ее словам, то не было бы той драмы, которая разыгралась впоследствии в их семейной жизни. Но он торопился, ничего из ее слов не понял и в тон ей буркнул:

– Не понимаю. Так кому же с ним сидеть? Мне, что ль?

Разговор был мимолетный, но на прощанье Стеша поцеловала его уже не так, как всегда, крепко и откровенно, а чуть сухо и машинально – по привычке.

И теперь, забившись в угол автомобиля, Кирилл хмурился и болезненно переживал эту ссору. Он даже не замечал, как иногда Феня и Богданов говорили между собой слишком дружелюбно и тепло.

«А, да пустяки, – думал Кирилл о своем. – Ну, всякое бывает в семейной жизни. Мы еще хоррошо живем, а на других посмотришь – прямо ад». – И он начал перебирать в памяти, кто и как живет.

Многие семьи живут плохо – это он знал как секретарь горкома партии. Вот недавно к нему пришли двое. Муж – парикмахер. Он обыватель, – это Кирилл определил по всем его суждениям, – а она, его жена, в течение пяти лет, живя с ним, окончила втуз и стала инженером. Он к ней пристаёт, безумно ревнует, ходит на совещания инженеров, подглядывает, подсылает к ней людей со всякими гнусными предложениями. Конечно, они разойдутся.

«И правильно сделают, – подумал Кирилл. – А вот Бах – царство ему небесное, – этот, бывало, никого мимо себя не пропускал – работницу, домработницу, учительницу, а на стороне имел сына, ходил к матери этого ребенка, ночевал у нее, но каждый раз, когда выплачивал алименты, брал с нее расписку. Вот был гад. А дома истязал жену».

«Кто ж хорошо живет? Ах, вот кто хорошо жил – Паша Якунин с Наташей Прониной!»

После пожара Павел Якунин вызвался поехать агитировать разбежавшихся торфушек и торфяников. И все знали, что именно у него сгорела во время пожара молодая жена, всем известная Наташа Пронина. И именно он, выступая, больше всех действовал на них. Кирилл удивлялся тому спокойствию, той улыбочности, с какой Паша разговаривал с народом, и даже одно время подумал: «А ему, видно, совсем не жаль Наташу: спокоен».

Но однажды ночью, находясь с Павлом в одном номере в гостинице, Кирилл проснулся на заре от сдержанного крика: Павел лежал на кровати и, крепко втиснув лицо в подушку, сдерживал рвущийся из его груди стон.

А что стало бы с Кириллом, если бы со Стешей случилось что-нибудь такое – страшное?

«Надо за ней немедленно послать машину. Вот как только приедем, я сейчас же вышлю машину. В самом деле, почему она все время должна сидеть дома? – подумал Кирилл, и это решение обрадовало его. – А Богданова надо женить. Обязательно. Вот на Фене – хорошо бы».

Как только Кирилл вышел из квартиры, Стеша присела на свое обычное место у окна, откуда она каждое утро провожала Кирилла. И нынче она села так же, так же посмотрела в окно, не спуская взгляда с Кирилла, и он, как и каждое утро, глянул на нее, помахал ей рукой. Но помахал как-то торопко, будто говоря: «А стоит ли заниматься такими штуками?» Может быть, потому так, что Стеша задержала его ссорой. Но и сама Стеша смотрела на него в это утро совсем не так, как всегда. Она, кажется, даже не улыбнулась и не помнит, ответила ли на его приветствие. Она в это время думала совсем о другом.

«Да что же со мной такое? – упрекнула она себя, когда длинная, плотная и устойчивая машина увезла Кирилла. – Что ж мне надо? У меня же все есть, – и поднялась со своего обычного места у окна. – Есть сын. Есть дочка. Есть муж. Да еще какой муж! Мне ж все завидуют. И кто бы не захотел иметь такого мужа? Маша Сивашева? Я знаю, что она Кирилла любит, готова всем пожертвовать для него. Феня? Эта тоже часто засматривается на Кирилла. Да и как на него не засматриваться? Он такой... такой... такой... – Стеша не сразу смогла подобрать слово и, чуть погодя, нашла: – Солнышко. Его даже и сравнивать нельзя с Яшкой, – она брезгливо передернулась, ярко вспомнив Яшку – пьяного, воняющего перегаром самогонки, его побои, его плевки, его тупое издевательство. И Кирилл стал еще милей, еще притягательней. – Я дура, дура, дура; сама не знаю, чего хочу». – Стеша кинулась к письменному столу, быстро написала телеграмму: «Кирилл, прости за утро. Приезжай скорее. Мы ждем. Стешка, Аннушка, Кирилл малый. Я слышу, он гудит у себя в комнате».

И Стеша успокоилась, запела свою любимую песенку, побежала к Кириллу-сыну, подхватила его на руки и, зарываясь лицом в его пухлое тельце, зашептала:

– Кирилка! Маленький Кирилка! Скоро приедет большой Кирилка.

Затем она занялась, как всегда, домашним хозяйством.

Надо было доставать продукты – это Стеша делала каждое утро: она давала деньги домашней работнице, и когда та возвращалась с рынка, Стеша тщательно, – хотя и скрывая это от нее, чтобы не обидеть, проверяла продукты и счета. Затем надо было что-то необычное приготовить на обед. И Стеша долго копалась в кулинарной книге, отыскивая подходящие кушанья из тех, которые любит Кирилл. Она знала, что Кирилл в еде неприхотлив. Он всегда говорил в шутку: «Мне бы жареная картошка с бараниной да щи – я этим доволен». А Стеша все-таки каждое утро подбирала блюда. И когда то или иное новое кушанье подавалось Кириллу и он, съев его, вдруг говорил: «А это ведь замечательно!» – Стеша краснела от похвалы и была весь день довольна.

Сегодня на ужин Стеша решила приготовить пельмени, зная, что к обеду Кирилл не вернется. Он почти никогда не завтракает, выпивает только стакан чаю, но ужинает всегда много и плотно и смеется, уверяя: «Если я на ночь не поем, спать не буду». – «Говорят, это вредно, – тоже смеясь, замечает ему

Стеша. – Доктора говорят, сон будет плохой». – «Ого, – отвечает ей Кирилл, – покорми-ка наших мужиков хорошо на сон грядущий, спать будут так крепко, как волк, съев овцу». А сегодня на ужин Стеша решила приготовить Кириллу пельмени. Пельмени в доме все любили – и Кирилл большой и Кирилл малый. Этот всегда требует, чтоб пельмени клали ему в чайное блюдце. И, вылавливая их рукой, он сердится, дует на них, если они горячие, затем кладет их в рот и глотает, как утка, и все время покрикивает: «Я сам, сам!» Он вообще за все берется сам и, даже не умея что-либо самостоятельно сделать, все равно кричит: «Я сам! сам!» – И всегда недоуменно огорчается, когда видит, что не в силах справиться с тем или иным делом. Пельмени любит и Аннушка. Садясь за стол и видя, как из кухни домашняя работница несет дымящиеся пельмени, она обычным тоном «хозяйюшки» говорит: «А не остудила ли? Смотри у меня!» Пельмени любит и Стеша. Но она их любит, пожалуй, потому, что их любит Кирилл. Да и вообще Стеша стала замечать, что любит все, что любит Кирилл. Ела она то же, что и Кирилл, книги читала те же, что и Кирилл. О людях судила так же, как о них думал и судил Кирилл. Даже друзья у нее были те же, что и у Кирилла. В семьях близких друзей Кирилла, с женами его друзей, она, как ей казалось, держала себя так, как и полагается жене секретаря горкома партии: сплетнями не занималась, ни перед кем не гордилась, но держалась с подобающим достоинством. Иногда интересовалась какой-либо сплетней, но лишь для того, чтобы ее приглушить. Ей все это удавалось легко: она была умнее других жен ответственных работников, начитаннее и более искренна и добра. И ее любили, к ней всякий раз обращались за советами: какое шить платье, как назвать новорожденного, что делать с ребенком, который не хочет кушать, что делать с сыном или дочкой, которые не ходят в школу или плохо учатся. И Стеша прекрасно знала, что у нее ничего особого, своего, отдельного от Кирилла, нет, и это радовало ее, этим она даже гордилась и стремилась, вовсе не насилуя себя, во всем подражать Кириллу, даже его деланной улыбке при людях, той самой улыбке, которую она когда-то ненавидела.

Покончив с выбором блюд, решив на ужин приготовить пельмени, Стеша пошла по комнатам, – их надо было прибрать. У нее был заведенный план: уборку она всегда начинала с кабинета Кирилла, думая, что он может неожиданно вернуться (хотя этого никогда и не случалось) и застать у себя в кабинете беспорядок. Кабинет Кирилла она вообще ото всех охраняла, как медведица свою берлогу. Она туда никого, даже малого Кирилла, не пускала. Заходила только сама – и то в минуту тоски по Кириллу. Она вдыхала воздух его комнаты и несколько секунд смотрела на портрет Кирилла. Кирилл стоял в тени вишневого кустарника и держал в руке теннисную ракетку. И ракетка в его большой руке казалась такой маленькой, игрушечной, что всегда вызывала на лице Стеши улыбку.

Кирилл за последнее время втянулся в курево. И как все люди, поздно начавшие курить, курил жадно, много, до сотни папирос в день, а окурки бросал куда придется, тыча их в чернильницу, в чайное блюдце, вообще во все, что попадалось под руки, но почему-то всегда обходил пепельницу и на замечание Стеши, усмехаясь, прося прощение, говорил: «Ты уж прости мне эту слабость.

Какая-нибудь слабость да должна быть у человека, – забываю».

Стеша убрала окурки, открыла форточку, чтоб гарь от табака вытянуло на улицу, и перелистала ту книгу, которую вчера читал Кирилл. Название книги для Стеши было совсем незнакомо: «Врубовые машины». Но она запомнила его, решив, как только дочитает свою, приняться за эту... и на миг остановилась: Кирилл в чтении книг обогнал ее уже намного. Она вытащила из стола записку и, перечитывая названия книг, ужаснулась: Кирилл за два года обогнал ее на сто двадцать книг, а эта, «Врубовые машины», будет уже сто двадцать первая. Причем, иные книги он читает по два-три раза и что-то всегда подчеркивает на страницах, что-то выписывает на специально приготовленные карточки. Стеша читает не так. Она еле успевает раз прочесть книгу – и то иногда, дочитывая до конца книгу, она совсем не понимает смысла. Читает, перед глазами проходят слова, фразы; листаются страницы, а смысла никакого. Вот недавно она взяла книгу, уже прочитанную Кириллом: «Синдикаты и тресты капиталистического Запада» – и ничего не поняла. А ведь Кирилл несколько раз, потрясая книгой, говорил: «Вот это здорово написано. Прямо замечательно – глаза открываются на всю мерзость капитализма». Да, Стеша не понимает этих книг и читает больше художественную литературу. Она ей доступна и более понятна, она ее волнует, заставляет вместе с героями страдать, мучиться, веселиться, радоваться. Об этих книгах Стеша иногда заводит разговор с Кириллом. Но он, чудачок какой-то, всегда улыбаясь на вопросы, говорит:

– Владыко, после одиннадцати ночи – время мое. Не воруй его у меня своими расспросами. Вот за обедом давай поговорим. Мне ведь нельзя быть теперь «нутряком» (так он называл всех даровитых, но безграмотных самородков).

И Стеша понимала его, не сердилась на него. Она даже разрешила ему, когда он начал курить, читать не в спальне, а у себя в кабинете, только дверь всегда он должен держать открытой, чтоб Стеша могла видеть его.

– Да, он далеко укатил от меня, – с грустью проговорила она, занося в список «Врубовые машины», затем спрятала бумажку и принялась убирать кабинет.

Из кабинета Стеша перешла в комнату Аннушки. Но сюда она заходила только для проверки. Аннушка сама убирала, и как только Стеша появлялась в ее комнате, она надуту и сердито ворчала:

– Ну, пришла. Контрольная.

Из комнаты Аннушки шла в столовую. Тут первое, что она делала, – это заводила стенные, в желтом ящике часы. Стирала с часов пыль, хотя пыли на них и не было. Расставляла по местам стулья – к стене и сиденьями под стол; поправляла скатерть или стелила чистую; перетряхивала ковер-дорожку; обтирала кожаный большой дубовый диван. Покончив со столовой, она шла в комнату Кирилла малого, а часы в это время били половину двенадцатого. Стеша давно заметила: как только она входила в комнату Кирилла малого, часы били половину двенадцатого. Так каждый раз, каждый день – и как Стеша ни спешила, раньше половины двенадцатого она к Кириллу малому не попадала. Прибрав комнату Кирилла малого, она принималась его кормить. Хорошо, если он не капризничал,

что, правда, бывало с ним редко, ибо ел он, как и его отец, не привередничая. И только в час дня она уходила из его комнаты, шла в другие – для гостей, прибирала тут и в три часа уже возилась на кухне. Делала она все аккуратно, чисто, красиво: расставляла мебель, цветы, разные безделушки – слонов со слонятами, подарок от Богданова в день начала «совместного жития»; фарфоровые вазы, которые Стеша случайно купила у одной бывшей барыни; разглаживала, расправляла гардины на окнах так, чтоб свет солнца падал в комнату свободно. Иногда она переставляла крупную мебель – передвигала диван в столовой, переставляла тяжелый дубовый буфет, и тогда столовая казалась новой, более приятной – и это радовало Стешу. Прибрав комнаты, повозившись на кухне, она к пяти часам чувствовала, что тупеет, будто подряд несколько часов толкла в ступе воду: никакой мысли, никакой радости, никакой злобы, только тупость. Тупость и мелочные, раздражающие домашнюю работницу и ее, Стешу, придирки.

«Отчего я так устаю? – иногда думала она. – Может быть, я нездорова? Да нет, – она подходила к трюмо и видела яркий румянец на своих щеках, ощущала здоровье во всем своем упругом, красивом теле. Только вот в глазах, зеленоватых и больших, с длинными бархатными ресницами, которые так любит трогать пальчиком малый Кирилка, – в глазах какая-то пепельная серость и усталость. – Что это такое может быть?» – беспокоилась Стеша и тут же стряхивала с себя тревогу, гордясь собой, свежестью своего лица, красотой своей фигуры, и запевала любимую песенку, с тоской поджидая прихода Кирилла. И всегда к шести часам она уже лежала на диване в столовой, будто вся вымолоченная, боясь сказать об этом Кириллу, зная, что он, хотя и ласков, но со скрытым упреком бросит:

– Не люблю болезных. Сам никогда не хвораю и другим не велю.

Сегодня Стеша комнаты убирала с еще большей усталостью, чем вчера, позавчера. Сегодня она была на кухне – помимо своей воли – еще более придирчива, неприятна, чем обычно. Это она понимала, но сдержаться уже не могла, как не может удержать себя на воде человек, не умеющий плавать: она тонула в мелочных придирках, в мелочном гневе, в мелочном раздражении и не в силах была вынырнуть из всего этого. И под конец разрыдалась, убежала из кухни в кабинет Кирилла, стала перед его портретом и, улыбаясь сквозь слезы, прошептала:

– Кирилл! Скоро ли ты приедешь? Получил ли ты телеграмму? Мне что-то страшно, – и тяжело опустилась в кресло.

Кирилл получил телеграмму от Стеши, как только подъехал к конторе тракторной станции. Телеграмму вынес Захар Катаев. Он вылетел на крыльцо – причесанный, в сером костюме, с распростертыми объятиями – и был похож на отца, встречающего долгожданных сыновей.

– Милые мои, – заговорил он, – как вас долго в наших краях не было. Ну, теперь мы вас скоро не отпустим. Ну прошу, прошу, – пригласил он к себе. И тут же подал Кириллу телеграмму.

Кирилл прочитал телеграмму и успокоился.

«Ну, вот и хорошо. Все-таки какая она у меня славная», – и не послал машины за Стешей, решив как можно скорее отделаться тут и ехать к ней.

Он хотел было уехать в ту ночь, но дела затянулись на несколько дней. Причем, затягивались они каким-то будто случайным стечением обстоятельств. Сначала Захар Катаев увел всех к себе, предложил еще раз и подробно ознакомиться с теми дополнениями к плану по переустройству района, какие сделал он сам.

– Я же мужик, а не рабочий... может, по моей голове надо так, а на самом деле не так, – говорил он, вытаскивая из шкафа толстые папки с картами, диаграммами, докладными записками, с ходатайствами колхозников, со спорными вопросами и с резолюциями края и центра.

План еще только начали просматривать, как Захар Катаев переметнулся.

– Я думаю, на бегу такого плана не разглядишь. А нынче мы должны поехать в гости к Никите Семенычу Гурьянову. Он, поди-ка, все глаза проглядел. Завтра приступим к плану, у меня есть что сказать.

– Это верно, – согласился Богданов.

Все шумно поднялись и отправились к Никите Гурьянову.

«Ну, вот видишь, сегодня я вряд ли попаду к тебе, – мысленно обратился Кирилл к Стеше, и сердце у него снова сжалось, будто в предчувствии какой-то беды. – Ехать бы надо», – думал он.

И все-таки раньше пяти дней выбраться из Широкого Буерака не смог. Они всю ночь провели у Никиты Гурьянова, в его холостяцкой избе. Никита снова рассказывал про свои путешествия в поисках «страны Муравии, где нет коллективизации» – и все, в том числе и Никита, до упаду хохотали над этим. Затем, на другой день, они отправились к Захару Катаеву, почти до вечера рассматривали план по переустройству района, а вечером их затащил Захар Катаев к себе на квартиру. После Захара пришлось идти в гости и к другим колхозникам, и отказаться от этого никак не удалось, ибо и Кирилл и Богданов не были в Широком Буераке года четыре. И только на пятый день Богданов вдруг спохватился.

– Кирилл, – сказал он. – А ведь у нас через несколько дней свой праздник: заводы пускаем. Давай-ка скорей сматываться.

И только благодаря этому доводу их отпустили из Широкого Буерака.

### 3

Они шли тихо, медленно, будто обозревая местность. Так иногда ранней утренней зарей тянутся на присад ожиревшие дикие гуси. Затем они понеслись с треском, с гулом, выныривая из-за гор, и, как страшные тупорылые коршуны,

промчались над заводом, над новым городом, над толпами. И толпы на перекрестках, на площадях, на углах улиц, и прильнувшие к окнам жители каменных корпусов, и мать, кормящая грудью ребенка, и ребенок, оторвавшийся на необычайный звук от груди матери, – все на миг застыло, приковалось взглядом к этим диковинным птицам, впервые прилетевшим такой большой птицей сюда, в бывшее урочище «Чертов угол». Все на миг застыли, замерли и вдруг взорвались криками, аплодисментами: далеко на горизонте из стальных птиц посыпались черные точки; вспыхнув белыми зонтами, они, плавно раскачиваясь, быстро стали приближаться к земле.

– Эва... прыгают... прыгают, – запоздало сообщил кто-то.

– А во на бомбовозы. Бона.

Из-за гор, будто чему-то сопротивляясь и упорствуя, выползли громадины. Они обогнули завод, издали, словно одним глазом, глянули на творение человеческих рук и скрылись за девственными лесами.

Люди громко вздохнули, заговорили, восхищенные виденным, и двинулись в разные стороны. Двинулись автомобили, грузовики, пролетки, трамваи...

Жизнь пошла своим чередом.

Но вот на синем небе, на очень большой высоте – еле видать – блеснула крошечная красная муха. В далекой синеве она плыла беззвучно, точно лепесток мака. Она долго кружилась, купалась в синеве, как бы забавляясь. Но вдруг она перевернулась, замоталась, точно ее ударили хлопучкой, и ринулась вниз, как ястреб на полевую мышь. Вот блеснули крылья, хвост, мелькнула голова летчика, похожая на каплю нефти... вот и вся муха – ярко-красная, пламенеющая, будто загоревшаяся от трения в воздухе. Она падала, молниеносно приближаясь к земле, к людям, к застывшим машинам, матери, кормящей грудью ребенка. И люди закричали дико, безумно, десятки тысяч рук вскинулись к небу – руки с растопыренными, напряженными пальцами.

– У-у-у-у! А-а-а! – будто в предсмертной тоске ревели люди, шарахаясь в разные стороны, одни – боясь, как бы «муха» не свалилась на голову, другие – намереваясь подхватить ее на руки...

Никита Гурьянов бежал вместе со всеми, и лицо его, рыжее, загорелое, побледнело, а глаза выкатились, как будто на него навалили непомерно тяжелую ношу, и ноша давила, душила его. Он, как и все, чувствовал одно – непомерно великую обиду, и бежал наперерез падающей красной мухе, вскинув руки, будто намереваясь поймать ее, не дать ей упасть и своим падением «осрамить» праздник.

Но поднебесная муха молниеносно падала... Вот она... вот еще... Вот еще ниже, вот уже видно ее всю... вот она уже недалеко от жестких крыш каменных корпусов... вот еще секунда – и она стукнется, разлетится вдребезги, как брошенная об пол хрустальная рюмка... Да! Да! Случилось что-то страшное, оскорбительное для праздника. И люди, плотно прижавшись друг к другу, крепко зажмурили глаза, иные же застыли, открыв рот, давясь собственным криком... А поднебесная муха, дрогнув, вдруг выпрямилась и, чуть не касаясь крыши

электростанции, расправив крылья, снова взвилась, перевернулась через голову и понеслась низко над строениями.

– А-а-а! Дьявол! – вырвалось у Никиты. – Шут гороховый! Чай, так и брякнуться можно! – И, стыдясь своего страха, он зашагал по направлению к горкому партии, намереваясь навестить своего племянша Кирилла Ждаркина. А радио кричало о том, что на открытие завода прибыли еще два поезда с гостями, что на площадку только что прилетел герой завода Павел Якунин. Он прилетел на машине особой конструкции: она, когда это надо, падает на землю камнем.

– Ну и чудеса! – проговорил Никита, крутя головой. Он сам всего только часа два тому назад приехал на завод в мягком вагоне. Когда он вошел в купе, то осторожно ощупал сиденье, столик, лампочку и долгое время не решался присесть. Может быть, потому, что он чувствовал себя в мягком купе слишком неудобно, может быть, именно поэтому в нем и проснулся старый Никита Гурьянов, и он – этот старый Никита – стал всех ковырять, всякому противоречить. А может, потому, что оторвался от своих полей, оставил в колхозе незаконченные дела, и дела эти терзали его... Одним словом, Никита кипел и негодовал. Например, когда их поезд перевалил через высокий хребет и все пассажиры высыпали в коридор и наперебой стали восхищаться видами гор, девственными лесами, Никита буркнул:

– Бесплезные горы.

– Почему? – спросили его.

– Да, что... ни сеять, ни пахать.

Пассажиры засмеялись, а Никита в душе смеялся над ними:

– Ишь нашли чем потешаться.

И иногда ему казалось, что вся эта «затея» с постройкой заводов – «пустая затея», и он ворчал:

– Машины стряпают. А кому они нужны? Чай, своей-то рукой всякое дело, как мать младенца в купели, купаешь. А машина что? Души в ней нет и любви к ней нет. К лошади подойдешь, видишь – глаза есть, морда есть, ноздри, дух есть, и охота поговорить с ней. А машине что скажешь? Железо.

И, сойдя с поезда, он пренебрежительно толкался среди людей, глядя только себе под ноги, будто не желая даже смотреть на то, что творится вокруг него. Но, войдя в ворота завода, он вдруг начал вытирать ноги, будто неожиданно с грязной улицы попал в чистую горенку: перед ним расхлестнулся своими белыми корпусами, гидронированными, лощеными дорожками, площадками, клумбами цветов – тракторный. И Никита растерялся, хотел кинуться обратно за ворота, чтоб отряхнуть пыль с пиджака и сапог, но тут же пришел в себя и, заметя усмешки других, пошел к сборочному цеху, нарочито шаркая каблуками, и даже хотел плюнуть, но кругом было так чисто, что ему показалось: плюнуть тут – это все равно, что подойти к зеркалу и плюнуть в него.

«Ты, пес их возьми-то! Всякую охоту к маранию отбили», – подумал он, но в сборочный цех вошел, так же пренебрежительно шаркая каблуками и толкая



встречных.

В сборочном с конвейера сходил четырнадцатый по счету гусеничный трактор. Он на колесиках катился по рельсам. Впереди него лежали две гусеницы. Они растянулись и напоминали выпотрошенных удавов. Их надо было надеть на колеса трактора. И водитель, молодой парень, ведя по рельсам трактор, весь вспотел, напрягся – очевидно, и потому, что дело это было для него непривычное, а главное, еще и потому, что трактор окружила толпа человек в триста. Толпа стояла молча, затаив дыхание, а парень пыхтел, обливался потом. Казалось, и трактор с ним вместе обливался потом.

«Сопляк! Народ пригласил, а дела делать не умеешь», – потешался Никита, хотя то, что водитель взмок, ему нравилось, ибо он уважал всех, «у кого на работе спина мокрая».

Гости, окружив водителя, стояли молча, напряженно следя за движением трактора. Слышно было, как трактор гудел, пыхтел: он то отбегал назад, то снова стремительно падал на гусеницы – и снова отбегал. И вдруг он как-то весь подскочил, словно его пырнули в бок, и, став на гусеницы, быстро начал вбирать их под себя.

– Обулся, – в общем молчании неожиданно вырвалось у Никиты.

Все засмеялись, а Никита, спохватившись, опять начал ломаться, коверкаться, уверять:

– Такие машины нам на поля не понадобятся, вишь, у него лапы-то какие, всю землю придавит... и притом керосином хлеб провоняет. Вон как фыркает.

На Никиту накинулась молодежь, как иногда кидаются ласточки на ястребов. Они доказывали Никите, что гусеничный трактор способен не только пахать, но и возить разные тяжести.

«Да я же шучу!» – хотелось крикнуть Никите, но он бормотал другое:

– Брехня. Пустая.

Полет стальных птиц приковал к месту Никиту Гурьянова. А когда красная поднебесная муха падала на землю, Никита, как и все, кричал дико, пронзительно и потом долго смеялся над своим страхом, покачивая головой, и, ни к кому не обращаясь, твердил:

– Ну, и шут гороховый! Чай, так брякнуться можно.

Кирилл Ждаркин, увидев из окна летчика, подозвал к себе Феню Панову, сказал:

– Знаешь, кто прилетел? Павлушка Якунин. Вон, смотри, молодец какой.

– Паша? Да, он молодец, – машинально проговорила Феня и, подавая Кириллу бумаги, растерянно сказала: – Вот план празднования. Посмотри, пожалуйста.

Все было предусмотрено и расписано, как в классе: ровно в двенадцать дня открывается митинг. Митинг должен открыться у металлургического завода, ибо он старше тракторного, более могуч и является поставщиком: он дает тракторному чугун, железо, сталь. Первое слово на митинге будет предоставлено Михаилу Ивановичу Калинин. Михаил Иванович сегодня утром неожиданно прибыл в своем поезде, везя с собой журналистов, колхозников, колхозниц, агрономов, инженеров. Приезда его никто не ожидал, но все были очень рады такому гостю, и по плану ему предоставлялось первое слово. Предполагали, что к часу дня он закончит свою речь, а в час загудят гудки заводов – загудят впервые, что должно обозначать рождение новых заводов, и в это же время над заводами – «над сыновьями пролетариата» – взвоятся аэропланы. Они будут приветствовать рождение заводов и разбрасывать над демонстрантами листовки.

– Надо выйти из митинговщины, – уверяла Феня, которой была поручена разработка плана празднования. – Гудят заводы, носятся аэропланы, приветствуют люди – это будет эффектно, – доказывала она, и с ней все согласились.

Затем, когда промчатся аэропланы и прогудят заводы, – на это потребуется не меньше пятнадцати минут, – слово предоставят Кириллу Ждаркину или Богданову. Но Богданов категорически отказался от слова, заявляя, что он перед массой говорить не умеет, и слово перешло к Кириллу. За Кириллом от крестьян выступит Захар Катаев, а от рабочих – Егор Куваев. Тут снова должны на небе появиться аэропланы, но не все, а несколько штук, и обязательно Павел Якунин на своей поднебесной мухе. Затем слово дадут комсомолу, профсоюзу, представительнице от женщин, от... Одним словом, все было расписано, разработано и одобрено.

Движение колонн началось с десяти часов утра. У самой трибуны были поставлены пионеры. За ними – колонна грабарей. Грабарям отвели почетное место потому, что они вывезли с двух площадок восемь миллионов кубометров земли, и еще потому, что они первые пришли на строительство. Дальше шли каменщики, плотники, служащие столовых, детских домов, портные, служащие прилавка. По правую же сторону трибуны стояли слесари, механики, инженеры, токари, то есть вся квалифицированная сила двух заводов. Они стояли по цехам – сборочный, мартеновский, доменный, коксовый, торфяной, литейный и другие. Площадь была забита людьми, а демонстранты все шли и шли. Крыши домов, балконы были усыпаны, как воробьиными стаями, любителями все видеть, все слышать. На трибуне стояли почетные гости, среди них – Захар Катаев, Никита Гурьянов, Егор Куваев, Павел Якунин, секретари райкомов, председатели райисполкомов тех районов, которые тоже принимали участие в строительстве заводов, посылая на площадки людей, материалы, хлеб, мясо.

Все было предусмотрено, продумано, расставлено, как расставляются вещи в квартире у хорошей хозяйки. И Феня Панова, в половине двенадцатого глянув на демонстрантов, совсем успокоилась и сказала Кириллу:

– Хорошо. Ты теперь об этом не думай. Готовься к выступлению.

Но в двенадцать часов все перепуталось. Во-первых, сам Михаил Иванович

Калинин опоздал минут на пятнадцать; затем, когда демонстранты увидели его – своего любимого всесоюзного старосту, то приветствовали его не пять минут, как предполагалось по плану, а больше. Колонны сдвинулись, люди полезли на трибуну и, оглушая площадь приветствиями, с каждой секундой все больше возбуждались, аплодировали, кричали «ура», «да здравствует Михаил Иванович!» и проделывали все это с такой страстью и с таким азартом, как будто для этого и собрались на площадь.

Михаил Иванович Калинин, держа в левой руке клочок бумажки, очевидно конспект своей речи, волнуясь, улыбался людям и платком то и дело вытирал губы, подправляя усы, приподнимая их кверху. Он все порывался заговорить, но люди аплодировали, кричали так, как будто хотели, чтобы Михаил Иванович каждого из них приметил, на каждого глянул, каждому улыбнулся. А когда кто-то с трибуны крикнул: «Да здравствует партия коммунистов!» – толпы, точно вышедшие из берегов реки, хлынули к трибуне, и все смешалось, сорвалось, как смешивается, срывается, когда налетает оголтелая буря. Так и тут: все кричало, двигалось, путалось, улыбалось, смеялось... И только единственный человек, стоя на трибуне, тоскливо смотрел на это и хмурился: Феня Панова. Она понимала, что план ее давно сорван, что через несколько минут восторжествует кутерьма, и предотвратить это никакими силами и средствами уже нельзя...

Оно так и вышло.

Михаил Иванович Калинин, наконец, заговорил – тихо, с перерывами, очевидно еще не успокоившись от волнения, но в наступившей тишине голос его через усилитель долетал до каждого. И как только Михаил Иванович подошел к самому интересному месту в своей речи, часы на башне пробили час. Сердце у Фени сжалось, она побледнела и крепко вцепилась своими тонкими пальцами в плечо Кирилла, ища у него защиты. А в тишине вдруг заревели гудки заводов – завывающие и густые, – и все пошло само собой: из-за каменных корпусов города вынырнули аэропланы и с оглушительным треском, кувыркаясь, взвиваясь, заметались над демонстрантами, сбрасывая листовки, а демонстранты в свою очередь начали приветствовать летчиков, бурно, страстно, – и все вновь смешалось: кричали демонстранты, ревели гудки, пели свои песни аэропланы.

Михаил Иванович смолк, глянул на демонстрантов, затем вверх на аэропланы, прислушался к гудкам заводов, глаза у него под выпуклыми стеклами очков, до этого добрые и ласковые, вдруг блеснули недоумением.

«Кто все это придумал?» – казалось, говорили его глаза. Он оглянулся на трибуну и, увидав хохочущего Кирилла Ждаркина, который тормозил какую-то русоволосую, растерянную девушку, позвал его к себе.

– Кто выдумал?

– Вот. Вот виновница всему. – И, не переставая смеяться, Кирилл подтолкнул к Михаилу Ивановичу растерявшуюся Феню.

– Кому доверяете? – сердито проворчал Михаил Иванович, но тут же, очевидно, поняв, что все эти «нарушения» пустяки, что бывают дела похуже, что, собственно, ничего особенного не произошло: никто никого не обидел, не

оскорбил, хозяйству от такой кутерьмы нет никакого ущерба, – а это для Михаила Ивановича было всегда главным, – он ласково посмотрел на Феню, на ее молодое, горящее стыдом лицо. Глаза Фени молили о пощаде, и ему, видимо, на миг стало жаль ее. Жаль и того, что у него уже не такие лучистые глаза, что он уже не молод, – а молодым он всегда завидовал. И, глянув в глаза Фени, он махнул ладошкой, будто отгонял от себя какие-то несуразные, ненужные мысли, и улыбнулся:

– Так это ты, значит, милая, настряпала?

– Михаил Иванович, да ведь вы сами виноваты: опоздали на пятнадцать минут. Ну, вот теперь и расхлебывайте, – ответила Феня и вся задрожала, перепугавшись своей дерзости.

– Да-а, – протянул Михаил Иванович. – Вот вы, молодежь, всегда на нас, стариков, ошибки сваливаете, а успехи – себе. Знаю, знаю, – погрозил он Фене и, шагнув к ней, сказал так, чтоб никто не слышал: – Ты это... не огорчайся. Похуже бывает. А сегодня праздник. Вся страна весело глядит. Да и не только наша страна, но и весь рабочий мир. Эко что случилось! Заводы-то на месте. Вон какие гиганты построили! – еще тише сказал он и, отвернувшись, быстро снял очки и, будто намереваясь их протереть, украдкой смахнул слезу. – Ведь это все вам, – он махнул платком на город, на заводы, не замечая уже того, что гудки смолкли, аэропланы скрылись, толпы людей пришли в порядок и, застыв, ждали продолжения речи Михаила Ивановича Калинина.

Михаил Иванович протирал очки, о чем-то думал, иногда поворачивался к Фене, точно у него не было сил забыть ее, ее молодое, горящее стыдом лицо, ее лучистые глаза, ее копну русых волос, смелость и дерзость, ее молодость, и, любуясь ею, ее молодостью, он не отпускал Феню от себя, то и дело поворачиваясь к ней; затем отступил от барьера и поставил ее впереди себя, перед микрофоном. Сделал он это просто, безо всякой преднамеренной цели – может быть, потому, что хотелось впереди себя видеть молодую, здоровую, цветущую девушку-комсомолку, а через нее и всю молодежь, во имя которой и ради которой Михаил Иванович прошел сквозь каторгу, работал и день и ночь, отдаваясь работе. А может быть, и потому, что Феня еще не успокоилась, губы ее еще трепетали, и она жалась, пугливо оглядываясь по сторонам, отовсюду ожидая насмешек над ее так тщательно разработанным и так нелепо смятым планом. Но демонстранты, увидев рядом с седовласым Михаилом Ивановичем молодую и стройную девушку, ошалело взорвались, закричали, зааплодировали, откуда-то появились букеты цветов, и цветы посыпались на Михаила Ивановича, на Феню, на всех, кто стоял на трибуне. И план Фени был совершенно опрокинут.

– Михаил Иванович, – затормошила она Калинина, – вам же надо говорить.

– Ах, да, да. Правильно, – согласился Михаил Иванович и, отряхиваясь от цветов, поднял руку.

Демонстранты смолкли не сразу, и Михаил Иванович начал говорить не сразу, очевидно потеряв нить своей речи.

– Вот ваш Магнитогорский завод... – начал он.

– Сталинский, а не Магнитогорский, – поправила его Феня.

– Да, да, правильно, – согласился он. – Так вот ваш Магнитогорский завод...

– Сталинский, Михаил Иванович, – уже командовала Феня.

– Вот, – ласково посмотрев на Феню, обратился к демонстрантам Михаил Иванович, – чуετε, как Магнитогорский завод в память вьелся. И ваш завод так же в память войдет. Обязательно! – обыграл свою оплошность Михаил Иванович.

И ему зааплодировали. Его прерывали возгласами приветствий, к нему рвались, его хотели поднять на руки и носить без устали по заводам, по квартирам – всем показывать, всех порадовать таким дорогим гостем.

После Михаила Ивановича слово было предоставлено Кириллу Ждаркину. Кирилл никогда перед выступлением не волновался, его всего трясло потом, когда он уже все выскажет. Сегодня же он волновался. Перед ним говорил Михаил Иванович Калинин – мастер, массовик, и Кирилл, безусловно, своим выступлением не сможет «перекрыть» Калинина, человека, которого любят и ценят массы, знают как бессменного председателя Центрального Исполнительного Комитета. И если бы Калинин просто вышел на трибуну, постоял несколько минут молча и ушел, ему бы так же буйно аплодировали. Кириллу же надо говорить, заслужить уважение масс.

«Ну, что ж, ведь я не Михаил Иванович. Выйдет похуже – не беда», – успокаивал он себя, но «похуже» ему не хотелось, и он, подойдя к микрофону, необычно бледный, чуть прищурив глаза, крепко вцепился рукой в перила и замер. И случилось то, чего он не ожидал: первыми закричали пионеры, узнав своего «дядю Кирилку», за ними грохнули комсомольцы, потом волна приветствий понеслась со всех сторон – от грабарей, каменщиков, сталеваров, женщин – служащих столовых, больниц, школ. Волна с каждой секундой нарастала, подхватывалась другими колоннами, и через две-три минуты уже ничего нельзя было разобрать – все ревело, аплодировала, орало. Кирилл невольно чуть заметно улыбнулся, но демонстранты как будто только этого и ждали – двухсоттысячная глотка гаркнула еще сильнее и своим ревом затопила все. От рева, от аплодисментов Кириллу вдруг стало тяжело, приветствия двухсоттысячной толпы свалились на него, как буря, и он повернулся к трибуне, ища там защиты, но с трибуны на него хлынула такая же волна и Кирилл растерянно глянул на Михаила Ивановича Калинина и вспыхнул: Михаил Иванович, стоя рядом с Феней и сунув платок под мышку, аплодировал и смеялся. Так же мельком Кирилл заметил на трибуне и Пашу Якунина. У Павла глаза горели, а ладони, вскинутые выше головы, хлопали, хлопали, хлопали без перерыва и без устали. В голове у Кирилла все перепуталось, смешалось, и так тщательно продуманная и приготовленная речь куда-то улетучилась.

«Ну, что это я? Ровно перед пропастью – прыгать или не прыгать, – подгонял он себя, уже видя, что все смолкли, приготовились слушать его. Он не знал, с чего ему начать. Так промелькнули, может быть, какие-нибудь секунды, но секунды эти показались Кириллу вечностью. – Глупо! Глупо как! Ну, что ж это я?» – И, шагнув вперед, ища у него поддержки, он обнял Богданова и неожиданно нашел

начало своей речи.

– Вот, – сказал он. – Вот кому мы должны аплодировать, вот этому человеку, который всю свою жизнь отдал заводу и мам!

И этого было достаточно, чтоб взорвать толпу: грабари, плотники, сталевары, мартенщики, токаря, инженеры, техники, служащие столовых, детских домов, больниц, школ, – увидев на трибуне своего начальника, вместе с которым они пришли сюда, в былое урочище «Чертов угол», вместе с которым когда-то, в первые дни стройки, жили в шалашах на пустыре, – гаркнули так, что Михаил Иванович Калинин в шутку зажал уши. А когда Кирилл крикнул: «Да, и пусть весь мир знает, что мы, большевики, вместе с рабочим классом, вместе с колхозниками, инженерами, вместе со всеми трудящимися, сегодня вводим в строй еще два новых гиганта – гигант металлургии и гигант тракторный», – из рядов на трибуну вылетел Никита Гурьянов и, перебив Кирилла, крикнул:

– Да, пускай знает весь мир... пускай не тешится там буржуй, мы его вот так теперь – под ноготь!

И толпа, потрясая знаменами, бросая вверх кепки, береты, двинулась к трибуне и затопила ее.

План же, разработанный Феней, продолжал жить своей жизнью: на башне ударило три часа, и распорядители митинга, каждый на своем участке, занятые только выполнением плана, двинули первые колонны к тракторному, а оттуда на центральную площадь – и митинг у металлургического был окончательно сорван.

Казалось, вся земля ликовала в этот день.

Десятки тысяч людей, разряженные в самое лучшее, группами, поодиночке, под трубные возгласы оркестров, с буйными песнями шли твердо, отбивая шаг, чувствуя себя хозяевами земли. Потоки людей спускались с гор, от рудников, тянулись на долины от торфяников, переправлялись через реку Атаку и могучей лавиной вливались в центр города, оглушая неистовыми криками, песнями, от-мочаливая на площадках, на дорогах «русскую барыньку» и «трепака».

Так шли люди с десяти часов утра.

Над ними развевались красные полотнища. Красными полотнищами играл ветер. Они плескались над толпами кумачовыми вспышками. Среди полотнищ, лозунгов плавали самодельные стратостаты, воздушные шары, блестели на солнце портреты вождей, ударников, знатных людей – героев страны.

## 5

Кирилл, распоясанный, в халате и в туфлях на босу ногу, взлохмаченный, расхаживал у себя по кабинету и, несмотря на то что голова у него трещала от выпитого вчера на банкете вина, от шума и гама, – несмотря на это, он, еще не остывший, ходил по кабинету, подбрасывая на ладони кусок стали, и возбужденно говорил:

– Сталь, сталь, сталь. Сейчас такие же куски ходят по рукам в Москве. Как же! Буржуи там разные, еще со времен Екатерины, великой блудницы, как называет ее дядя Никита, мечтали построить тут завод, чтоб использовать богатейшие природные данные. Одних только проектов накопилось чертова пропасть... и ничего поделать не смогли. А мы вот пришли и построили, да не один, а два завода. И вот она – сталь.

Стеша сидела в углу, забравшись с ногами в мягкое, обитое черной кожей кресло, и с восхищением смотрела на Кирилла – такого растрепанного, лохматого и большого. Она смотрела на него с восхищением, стараясь заглушить в себе одну обиду. Обида заключалась в том, что Кирилл не взял ее с собой на банкет и даже на демонстрацию. Может быть, так случилось потому, что он был слишком занят. Но ей было обидно и на него и на Богданова. Почему они забыли про нее, про ту самую Стешку, которая когда-то развозила их на машине и которую они оба любили, уважали, оберегали и ценили. Почему и они теперь, когда настали такие торжественные дни, забыли о ней? И, затаив в себе обиду, Стеша смотрела на Кирилла, затем как бы неожиданно спросила:

– А ты, Кирюша, вчера поел? Я так и не дождалась тебя: за день утомилась, прилегла и уснула. Ты заметил, я спала в платье? – И опять она хотела, чтоб Кирилл сам догадался об ее обиде, о том, почему она спала в платье и почему у нее сегодня такой усталый вид. «Неужто он уже стал такой черствый, что и не понимает?» – подумала она, глядя ему в глаза.

Кирилл, занятый совсем другим, мельком глянул на нее и только тут вспомнил, что вчера, вернувшись очень поздно, он действительно нашел у себя в кабинете на столе кастрюлю с пельменями, укутанную одеялом. Но есть ему не хотелось, и он не обратил особого внимания на Стешино старание. А Стеша спала, одетая, прикорнув в углу дивана. Будить ее он не решился. И теперь Кирилл понял, почему все это произошло так. Он только посмотрел на лицо Стеши и, видя синяки у нее под глазами, спросил:

– Почему у тебя лицо измятое?

– Лицо? Ой, я еще не умывалась, – впервые сказала неправду Стеша, а глаза ее кричали: «Кирилл, да ты сам, сам догадайся! Пойми, мне больно и досадно. Неужто я хуже всех? Неужто я опозорила бы тебя, если бы ты взял меня с собой?»

Но Кирилл, возбужденный другим, и тут не обратил внимания на ее невольную ложь. Он взял со стола преподнесенный ему вчера каравай хлеба и прочитал выпеченную надпись:

– «Кириллу Ждаркину – другу нашему, от землекопов». Видала? О-о-о! Эти землекопы вывезли с площадок не только восемь миллионов кубометров земли, но и эшелоны грязи из себя. Вот в чем наша заслуга. Дело не только в заводе. Завод сам по себе еще ничего не значит. Заводы Форда я видел. Они, пожалуй, не хуже наших, но там заводы давят человека, а наши – дают человеку полет, выправляют его душу. И знаешь, что я им ответил, когда принимал от них хлеб?

– Да где же мне знать? – чуть не с сердцем, почти выдавая себя, сказала Стеша.

– Ты почему-то не разделяешь моей радости. Что с тобой?

– Что ты, что ты? Твоя радость – это и моя радость. Без этого жить нельзя.

Кирилл, заглушая в себе досаду на Стешу, на ее невнимание, так и не сказал о том, какой он дал ответ землекопам, взял со стола скатерть, преподнесенную ему женщинами – служащими столовых.

– А это от бывших баб, теперь женщин. – И невольно снова загорелся. – О-о-о! я им сказал! У-у-у, что было, когда я кончил говорить. Меня они чуть с балкона не сорвали.

– Я слышала.

– Вот как! Ты была там? И что ж?

– Многие плакали, слушая тебя. А я смотрела на тебя и думала: какой он у меня хороший, Кирилл... и какой умный.

– Нет, нет, – перебил ее Кирилл и опять не заметил, что этим он снова обидел Стешу: ему хотелось знать не то, что она думала, а что говорили там в толпе, когда он произносил речь.

«Чужой... чужой!» – мелькнуло у Стеши, и она, уже перепугавшись того, что он от нее уходит, и не в силах сдержать себя, заговорила о своем. Она встала перед Кириллом и, открыто глядя ему в глаза, сказала:

– Мне казалось, что ты с балкона упрекал таких вот, как я. Таких вот, которые возятся дома... у себя в хозяйстве. Нет, нет, не перебивай, – и мягко, робко, точно обидели не ее, а Кирилла, продолжала: – Помнишь, ты сказал: «У нас есть такие барыньки. Имеет одного ребенка и возится с ним, как клушка с цыпленком». Это ты обо мне. – Ресницы у Стеши дрожали, губы изогнулись и трепетали.

– Нет. Ну что ты, что ты! – запротестовал Кирилл в замешательстве, будто его уличили во лжи, и в то же время понимая, что там, на митинге, перед женщинами, он говорил и о Стеше, но раньше он об этом вовсе не думал и вовсе не намеревался подводить Стешу под категорию женщин-«клушек».

Стеша уловила его колебания, поняла, что он думает о ней, догадалась, что там, на митинге, перед женщинами он говорил и о ней. Она отвернулась от него и стала ниже ростом, вся обвисла, будто выслушала смертный приговор, и разом – и этот кабинет с расставленными креслами, с коврами, с книгами, кабинет, который она так оберегала от посторонних, и спальня с двумя большими под карельскую березу, кроватями, и вся квартира, и даже малый Кирилл и Аннушка, – вдруг все разом начало давить ее, душить, и она, еле сдерживая рыдания, через силу, перевела разговор:

– А какие еще были подарки?

– Много всякого вытащили, – уже с неохотой ответил Кирилл, думая, что Стеша интересуется подарками исключительно со своей хозяйственной точки зрения.

– А все-таки?



– Да всякое. Колхоз «Бруски» прислал жеребца. Я отослал его обратно, сказал: «Пускай, мол, в мою память плодит жеребят». – Кирилл подошел к телефону и позвонил. – А, спасибо, спасибо, – ответил он телефонистке и, повернувшись к Стеше, сказал: – Поздравляет с орденом Ленина. – И опять к телефонистке: – Дайте-ка мой кабинет. Феня, ты? Вот молодец. Отыщи, пожалуйста, Рубина. А сама валяй к нам. Стеша тебя ждет. И я, конечно, что за разговор! – и, положив трубку, сказал Стеше: – Спасибо, что рекомендовала ее мне в помощники. Замечательная работница. Да, кстати, ты не следишь за дискуссией в нашей газете о семье и браке?

– Да я с квартирой никак не управлюсь, – с блеском в глазах, ожидая, что Кирилл ее за это похвалит, проговорила Стеша.

– Беда, сколько дел. Я бы за час все переделал.

– Попробуй. Сделай. – И Стеше стало еще тоскливей, и тоска эта бурно всколыхнулась, когда загудел гудок завода и Кирилл кинулся к окну, оживленно заговорил:

– Ого! Ревун какой. Помнишь, Кирилла ты рожала? Я вбежал к тебе в комнату, а ты вцепилась мне в шею и душишь, душишь... потом раздался его крик – властный такой, на свет явился Кирилка. Сколько у меня радости было! И тут – когда вчера впервые загудел завод, я ног под собой от радости не чуял. Вон, смотри, молодец какой! Погоним мы теперь с него сталь, чугун, тракторы и во сто крат отплатим народу.

– Ты за последнее время стал говорить как-то возвышенно, – заметила Стеша и вся сжалась, точно прибитая, понимая, что Кирилл радуется заводу, а для нее завод – чужой и даже враждебный, ибо он у нее отнял Кирилла, отнял и то светлое, могучее, чем жила и гордилась Стеша. Но она еще надеялась на спасение и, подойдя вплотную к Кириллу, перебирая дрожащими пальцами борт его халата, проговорила: – Кирилл... Я сама не знаю, что со мной. Помоги мне. Я за последнее время стала какая-то злая. Почему это?...

– От безделья, – грубо прервал ее Кирилл. – Сидите и от безделья щиплете лучинку на волоски. Людям занятым некогда подобными переживаниями заниматься.

– Ой! Кирилл! – Лицо у Стеши посинело, точно кто-то душил ее, рот раскрылся, глаза выкатились, и она еле выговорила: – Кирилл! Зачем? Зачем так? – и стремительно вылетела из комнаты.

## 6

Кирилл ехал на Угрюме и чувствовал, что свершилось что-то непоправимое: против его воли, против всех его желаний, он стал холоден к Стеше. «Я этого не хочу. Я хочу любить ее, уважать ее. Но этого нет, нет!» – И ему было горько, обидно, тяжело.

В их отношениях уже не было радости. Все делалось по привычке, как по

привычке человек умывается, чистит зубы, бреется, иногда сожалея, что приходится тратить время на такие пустяки. Внешне в их отношениях почти ничего не изменилось: Стеша так же каждое утро провожает его на работу. Верно, на работу он теперь стал ходить позже. И так же каждый вечер Кирилл является с работы домой и застаёт у себя в кабинете порядок, так же открывает дверь в спальню, когда садится за стол читать. Все внешне шло так же... Но даже и самое радостное в жизни, даже и это стало чем-то обычным, и иногда Кирилл думал: «Все равно что высморкался», – и быстро переходил с постели Стешы на свою кровать, отворачивался к стенке и лежал не засыпая. И если Стеша спрашивала, что с ним, он обычно отвечал:

– Неполадки на заводе.

Какие неполадки, он не говорил. Стеша настаивала, тогда он раздраженно ворчал:

– А-а-а, отстань, не до тебя. Да и у тебя тут простое любопытство.

И между ними вспыхивала перебранка – злая, тягучая и мучительная. Стеша, присев на своей кровати, боясь подойти к нему и не в силах сдержать себя, кидала злые, оскорбительные слова, говоря о Кирилле как о черстве человеке, который думает только о себе, намекая ему и на то, что у него было уже столько жен и что он вовсе не коммунист, а Кирилл, не говоря ей о том, что он переживает, грубо бросал:

– Коммунист я или не коммунист – об этом не тебе судить. И не прикрывай коммунизмом свою обывательскую дурь, – и тут же спохватывался: «Батюшки, что я болтаю! Это у Стешы-то обывательская дурь?!» – но остановить себя не мог, как не могла остановить себя и Стеша.

«Ну что нас держит, что скрепляет? – думал он и теперь, глядя на лиловые переливы реки Атаки. – Дети? Но разве ради детей надо жертвовать собой? Глупо превращать жизнь в ад крошечный. Разойтись? Дело это в наше время чрезвычайно простое... Но я не хочу, не хочу! – кричало все в Кирилле. – Я хочу любить ее, вернуть любовь к ней. Ведь она такая славная!»

Только сегодня утром он ей сказал:

– Не пора ли тебе поступить на работу: Кирилл уже стал большой, побудет с бабушкой.

Кирилл недавно выписал из Широкого Буерака свою старуху мать.

Стеша совет Кирилла поняла по-своему.

– А-а-а, раньше ты меня не пускал, уговаривал, что сам всех прокормишь...

Кирилл хотел было возразить, но она взвизгнула:

– А теперь истрепал меня и хочешь бросить! Я не пойду. Слыхал? Никуда не пойду. Выгоняй!

– Баба, – с сердцем сказал Кирилл и ушел из квартиры.

А теперь вот Кириллу было жаль ее, жаль себя, жаль всего того радостного,

хорошего, что было в их отношениях и что, казалось, потеряно навсегда.

«Почему все это так и зачем все это складывается так уродливо? – часто думал Кирилл, сидя за столом и глядя на Стешу – на ее совсем еще свежее лицо, на умные, чуть зеленоватые глаза, на всю на нее – внешне славную и красивую. – Да, она красивая, но красота ее не трогает меня. А вот...» – Он начинал злиться на то, как она ест, подбирая пальцами крошки и облизывая пальцы. Он совсем не понимал: Стеша так делает потому, что у нее уже выработалась кухонная профессиональная сноровка – все подбирать, все подлизывать, и это раздражало его. Раздражало его и другое: к Стеше привилась какая-то глупая привычка – всегда жевать. Читает – и что-нибудь жует: сахар или пышку; разговаривает с Аннушкой – и что-нибудь жует; ходит по комнатам – и что-нибудь непременно жует. Видя ее такой, Кирилл отворачивается, заглушая в себе неприязнь к ней. Или вот: Стеша при людях всегда вступает в разговор и говорит уверенно, но всегда следом за Кириллом. Она все время молчит, пока молчит Кирилл, но стоит ему только высказать свое суждение, как она подхватывает его и вступает в разговор и упорно, настойчиво защищает то, что высказал Кирилл, – и это Кирилла раздражает, и ему всегда хочется сказать: «Брось. Ведь ты же говоришь не свое». А то вот еще – иногда Стеша по целым дням ходит в рабочем платье – грязном, полинялом, потрепанном. Прежде, наоборот, ему нравилось, когда он Стешу заставал дома не в нарядном платье, а в простеньком, сереньком, и он ей говорил:

– Я тебя и такой люблю... даже больше люблю: солнце никакой мишурой не прикроешь.

И вот сегодня Кирилл решил уехать в горы и там, в горах, проверить себя, свое отношение к Стеше.

«Возможно, такая кутерьма оттого, что мы все время вместе», – подумал он.

Кирилл ехал вдоль берега реки Атаки. Впереди, тоже верхом, ехали Богданов и Феня Панова. В горах надо было осмотреть две новые рудные шахты. Это оказалось кстати и потому, что за время стройки заводов ни Богданов, ни Кирилл, ни Феня ни разу не отдохали. И теперь, отправляясь в горы, они, не сговариваясь между собой, решили там и передохнуть. Особенно упорно на такой поездке настаивал Богданов.

– Чердак чего-то пошаливает, – смеясь, говорил он, стуча ладонью по голове. – Надо малость проветриться. Возьмем и Феню: она там уже была, знает места. Да и сама просится.

Они ехали впереди. Кирилл отстал, чтоб наедине кое о чем подумать, главным образом о новых и «уродливых», как он называл, отношениях между ним и Стешей.

Реку Атаку пришлось в ряде мест переходить вброд. Местами она была настолько глубока, что при переправе всадники закидывали ноги на шею лошадей, и лошади пускались вплавь. Иногда раздавался по ущельям смех Фени.

«Какой задорный смех», – завидовал Кирилл и сам невольно смеялся.

Подъезжая к одному из таких бродов, Кирилл увидел в кустарнике черную тетрадь.

«Видно, кто-то уронил», – подумал он и, не слезая с лошади по былой привычке кавалериста, на всем скаку подхватил тетрадь и, перелистывая, начал ее просматривать, а потом и читать то, что было написано крупным почерком:

«Отец как-то назвал ее «юлой». Я переименовал и назвал ее «Юлай». Мне так нравится. Я боюсь ей об этом сказать... Вначале она мне показалась мопассановской Пышкой. Серые глаза, румяная, мягкая, будто ваточная. Но так сначала. А потом она совсем не такая.

...Странно, мне стыдно ей сказать о том, что я ее люблю. И я боюсь сказать об этом, боюсь потерять ее, потерять ее простое и товарищеское отношение ко мне. Ведь я знаю: я старше ее на тридцать два года... на тридцать два. Боюсь сраму: ведь я начальник строительства».

– О-о-о, – протянул Кирилл, – так это ты, Богданыч? Вон ты какой? – И он быстро свернул тетрадь в трубку, сунул ее за борт кожанки и даже покраснел оттого, что невольно открыл тайну Богданова, и одновременно порадовался за него. «Ему надо... ему непременно надо полюбить. Но о ком он тут пишет? Кто это такая кроется под «Юлаем»? Он такой скрытный и, пожалуй, обидится на меня за то, что я подобрал тетрадь... Ну, ну! Йога! Хатха или раджа? – вспомнил он рассказы Богданова об индусских йогох. – Вот я тебя и накрыл». – И Кирилл кинулся вброд.

Брод тут оказался самым глубоким. Надо было знать, где переходить реку. Это знали только проводники и люди, которые тут часто бывали. Кирилл осторожно свел Угрюма и, казалось, попал на подводную тропу, но жеребец нырнул, вместе с ним нырнул и Кирилл. Выбившись на другой берег, Кирилл остановился, спрыгнул с лошади, решив вылить воду из сапог, и, снимая сапог, задел ногой о пень, замер.

На полянке, спустившейся одним концом к реке, окруженная густым кустарником ивняка, расхаживала нагая Феня. Пара ее маленьких сапог торчала вверх подошвами на сучьях, и тут же висели ее синий, полумужского покроя костюм и мокрое белье. А Феня расхаживала по полянке, согреваясь, вскидывая руки.

Кирилл хотел податься назад и подумал даже: «Как все это некстати... и этот дневник и эта голая Феня», – но невольно залюбовался ею.

При ярком утреннем мягком солнце тело Фени было совсем розовым. Она, очевидно, недавно начала принимать солнечные ванны, и тело кое-где из розового стало переходить в красно-загорелое. Талия у нее тонкая, ее можно перехватить двумя ладонями, но грудь сильная, широкая, широкие и бедра, а ноги мускулистые, живот же вдавлен и будто окатан кругами. Вот она остановилась, и словно метнув диск, швырнула пустой рукой, вся перевернулась, вскрикнула.

– Хоп! – и тут же, не то перепугавшись своего вскрика, не то кого-то заметив в стороне, побежала к своему платью, но снова остановилась, выпрямилась, провела ладонями по своим круглым плечам и пошла к реке медленно, тихо

приподнимаясь на цыпочки, так, точно на поляне, среди молодой травы, рассыпаны были осколки стекла.

– Сабинянка, – еле внятно прошептал Кирилл, вспомнив виденную в Италии скульптурную группу «Похищение сабинянок», и скрылся за кустарником, чувствуя, как в нем поднимается и растет что-то хорошее, радостное, то, чего у него раньше вовсе не было и тени. «Ну вот, ну вот, – подумал он. – Ну вот, разве я виноват. Ведь прежде я ее вовсе не замечал такой. Хорошая работница, хорошая комсомолка – и все. Ну вот, ну вот... Да нет, все это пустяки». – Он хотел было вскочить на рыжего жеребца и проехать мимо Фени – и сделать это просто, чтобы дать понять себе и ей, что в этом отношении они люди чужие и нагота Фени вовсе не трогает его.

– Кирилл! погоди. Я оденусь. Я просушиваюсь, – услышал он и понял, что Феня уже видела его и в этом ничего особенного не находит.

«Ну вот и хорошо. Так просто все кончилось», – он обрадовался такому исходу и крикнул:

– Ты поторопись! А то всю осмотрю и расскажу ребятам, какая ты есть.

– Позавидуют, – ответила Феня.

– Чему? – спросил смущенный Кирилл.

– Когда расскажешь, какая я есть.

– Ишь ты, – пробормотал Кирилл, считая, что новое чувство его к Фене у него пропало. Но с ее последним вскриком оно снова вспыхнуло, заполняя его всего, и ему стало хорошо, радостно. Ему даже стало досадно, что вот сейчас он не может подойти к Фене и сказать ей, что у нее такое красивое тело, а копна рыже-русых волос на голове горит, как подсолнух на солнце, что... Да мало ли что мог бы сказать Кирилл. «Фу, – фыркнул он, – какой я все-таки влюбчивый! Но какое хорошее это чувство!»

Позади Кирилла, на противоположном берегу реки раздался конский топот. Кирилл повернулся. По берегу ехал Богданов и что-то искал близорукими глазами.

«Тетрадь ищет», – догадался Кирилл и помахал тетрадкой.

– Богданыч! Вот!

– А-а-а! – перепуганно протянул Богданов и быстро переправился через реку, мокрый и растрепанный. – Читал? – спросил он, принимая из рук Кирилла тетрадь.

– Маленько. Надо же было узнать, что тут и чья тетрадь, – начал оправдываться Кирилл, краснея вместе с Богдановым.

– Ну, все равно. Тебе можно. А другим бы в руки попала – срам.

– А где это она, твоя героиня? – осмелев, шепотом спросил Кирилл. – И как ты ее называешь... «Юлай»?

Поняв, что Кирилл ничего из тетрадки не узнал, Богданов махнул рукой в

сторону:

– Там... далеко... палкой не докинешь. Как вы там, Феня? – крикнул он в кустарник и хотел было туда тронуться.

– Она, кажется, переодевается. – Кирилл придержал его и подумал: «О-о-о, я уже ее охраняю».

Вскоре, взяв Феню в середину, они тронулись узкими тропами через ущелья каменных скал, обросших вечными мхами. Тронулись выше в горы, где ветер мягок и солнце ласково.

Кирилл сидел в седле, как влитой, и, рассматривая украдкой Феню, думал:

«Какая она статная!»

## 7

Разведочный участок и две новые рудные шахты находились в горах, покрытых дремучими лесами, километрах в ста двадцати от металлургического завода. Разведка тут еще не была закончена, но и теперь, по предварительным подсчетам, стало известно, что на участке под названием «Шалым» имеются колоссальные залежи руды. Кроме залежей руды, тут найдены засыпанные землей примитивные кузницы. По уверению Богданова, кузницы эти построены горными жителями, когда-то воинственным и могучим племенем. Разведки начались только в прошлом году, и поэтому сюда еще не успели провести железную дорогу, и надо было или ехать верхом, или узкими тропами пешком пробираться через скалы.

На третий день, измотанные ездой, но весьма довольные таким путешествием, Богданов, Кирилл Ждаркин и Феня подъехали к постройкам – шатровому, красиво расположенному около огромной скалы дому, избушкам горняков, палаткам, сарайчикам, огородным плетешкам. Ни Богданов, ни Кирилл еще ни разу не были в этой части гор, Феня же когда-то ездила сюда и хорошо знала дорогу и местность. В пути она иногда сворачивала с дороги, уводила своих путешественников в глубь гор и, останавливаясь перед котлованом, говорила:

– Подивитесь-ка.

В котлованах открыто лежала руда в виде больших рыжих тяжелых камней. И то, что руда лежала открыто, это больше всего и удивляло Кирилла.

– Какое все-таки богатство у нас в стране! – сказал он, подбрасывая на ладони куски руды.

– Да-а, – заметил Богданов. – А помнишь, кое-кто из инженеров нас уверял, что руды в нашем районе нет и строить тут металлургический завод – великая нелепость. Признаться, и мы строили завод только потому, что имели под боком колоссальные запасы топлива – торфа, а руду хотели доставлять с Урала. А теперь на первом участке мы открыли около двадцати миллионов тонн руды, на втором – не меньше, а на этом... наши запасы, очевидно, утроятся. И какое все-таки

нахальство было у наших врагов: руда лежит открыто, а они уверяют, научно обосновывают, что руды тут нет и быть не может. – Богданов шагал по котловану, бережно ступая по кускам руды, как ступает по снопам ржи хороший хозяин, и все говорил: – Знаете еще что, нам придется теперь третий завод строить!

– Разошелся, – кинул ему Кирилл.

– А это, милый мой, судьба. Тракторный завод не сможет поглотить весь чугун, сталь, железо металлургического. Увозить же отсюда все это добро в сыром виде – величайшая чепуха. Надо построить вагонный завод. Будем строить железные вагоны, грузить в них тракторы и отправлять куда следует.

– А самоварный не надо ли?

– А что? И самоварный. Делать из нержавеющей стали самовары. Что ж, это идея. Ты думаешь, самовары отошли в прошлое?

Кирилл подметил: Богданов вот уже второй день норовит уколоть его и колет как-то неумело, неудачно, часто по-ребячьи, – и Кирилл молчал, только переглядывался с Феней и улыбался, но еще совсем не понимал, что такое с Богдановым.

– Я думаю, – наконец, решился он ответить на колкость Богданова, – я думаю, люди культурно подрастут и начнут голодать, подражать индусским йогам – тогда и без самовара станет ладно.

– А что ж! Это весьма серьезная теория, милый мой.

И Богданов рассказал, как он, будучи еще студентом, увлекся теорией голодания, явился к одному профессору-экспериментатору и согласился две недели голодать. Его заперли в особую комнату, давали в день по стакану воды и куску сахару. В конце второй недели Богданов еле волочил ноги, еле выговаривал слова и начал задыхаться. Так это было на самом деле, но романтика юношеских лет все это прикрывала и теперь Богданов говорил совсем другое. Было ему тогда удивительно хорошо, хорошо думалось, хорошо работала фантазия: все эти две недели он путешествовал по каким-то замечательным странам, совсем не существующим на земле.

– Видно, очень кушать хотелось, – серьезно произнесла Феня и расхохоталась.

За ней расхохотались и Кирилл с Богдановым.

– Это верно, есть хотелось очень... но только первые дни, а потом – одни только видения. Чудесные картины. Вот тогда я и понял, почему индусские йоги иногда так подолгу голодают: мозг освежается.

– Вот что бы нам пустить в ход в те дни, когда на стройке не было ни хлеба, ни мяса. Голодай, мол, ребята, мозга освежится, – добавил Кирилл.

– Ну, это ты шельмуешь.

– А ты глупишь и дурака из себя разыгрываешь, – ответил Кирилл и подумал тут же: – «Ну, зачем мы так ковыряемся?» – и все-таки продолжал: – Теория голодовки выдумана сытыми людьми, как выдумана сытыми людьми и теория Мальтуса.

– Что это за теория Мальтуса? – захотел сбить и опозорить его Богданов.

Кирилл улыбнулся и, словно не слыша его вопроса, продолжал, уже поясняя теорию Мальтуса, издеваться над ней. Богданов посмотрел на него, и в нем победил учитель, который увидел своего способного ученика. Подъехав вплотную к Кириллу, Богданов похлопал его по локтю.

– Ты все-таки, Кирилл, молодец. Я думал, с заводом ты забросил чтение книг, а ты, вишь, что. А помнишь, как однажды на «Брусках» ты пришел ко мне и попросил книжку о Джордано Бруно, предполагая, что Джордано Бруно является соратником Ленину?

– О! Да, да! Как же, – и Кирилл снова захохотал.

– Неужели так и считал? – переспросила, заливаясь смехом, Феня.

– Так и считал. И был в этом уверен. А когда прочитал книжечку, дня три ходил красный, как рак, и боялся показываться Богданову. А он ведь такой – и виду не подал, что я несучушь.

...К вечеру на третий день они подъехали к центральной усадьбе и тут столкнулись с человеком. Человек возился около улья на маленьком огорожке.

– Э-э-э, да здесь и пчелы водятся! – Кирилл подъехал ближе и спросил: – А где нам найти заведующего участком?

Пчеловод смутился и, прикрывая лицо рамкой, отвернулся, махнул рукой на шатровый дом под огромной скалой:

– Там он. Там.

Около шатрового дома их встретила женщина, белолицая, весьма дородная, но легкая на ногу. Она встретила их грубо-приветливо:

– А, путешественники! Девуцу-то, поди-ка, замаяли. Да это ты, Феняга? А ну, слезай. Ноги-то, поди-ка, отекли, – и подала Фене свою сильную и широкую руку.

– Ничего, дядя Саша. Я уж не такая слабенькая. – Феня почему-то назвала женщину мужским именем, и та совсем не обиделась на это. – Вот знакомьтесь, дядя Саша. Это Кирилл Ждаркин, это Богданов. Слыхала, поди-ка, о таких.

Кирилл ожидал, что женщина смутится, растеряется, узнав о том, кто перед ней, как это бывало часто с другими, а она взбежала на крыльцо и, повернувшись к огороднику, крикнула:

– Эй! Иди-ка. Все начальство прикатило. Да брось ты там пчел своих. Вот увлекся пчелами. Всего изъели – ни уха, ни рыла, – обратилась она к Кириллу и Богданову, жалуясь на своего мужа.

Через несколько минут подошел заведующий участком. Он, смущенный, сердито посмотрел на жену, упрекая ее взглядом за то, что она разоблачила его, и, чтобы оправдать себя, заговорил:

– Опыт. С пчелами хочу произвести опыт. Великое будущее тут для пчел. Понимаете, медосбор великолепный, климат (он почему-то сказал не климат, а климать) – чудесный. Нектар, тишь – все условия. Я думаю, при социализме



пчелам будет полный... полный... – и смолк, очевидно поняв, что говорит что-то нелепое.

– Тетя Степа, – сказала Феня, – вы потом о пчелах. А сейчас укажите-ка нам местечко, где мы могли бы переночевать. Синенький домик свободен?

– Свободен, свободен, – заторопился тетя Степа.

– И чайку, чайку, – вступился Кирилл и, видя, что заведующий показал на рамку с медом, добавил: – Конечно, с медком.

За чаем Кирилл разглядел лицо заведующего. Хотя оно было припухлое, изъеденное пчелами, но и через эту припухлость проступали на лице старушечьи черты – черты кастрата. А жена его была дородная, энергичная, такая, про которых говорят: «женщина в соку». И, рассматривая их лица, Кирилл подумал: «А метко их назвали: «Тетя Степа и дядя Саша!» – и в шутку предложил:

– Послушайте, дядя Саша, не сделать ли так: вас назначить заведующим участком, а мужа вашего – пчеловодом?

– Я на пчел согласен, – согласился тетя Степа.

– А над участком-то я сама работу веду. Вот Феняшку спросите, – подчеркнула дядя Саша.

– Его еще зовут: «Не туда пошел», – шепнула на ухо Кириллу Феня. – У него поговорка такая, как что не так сделал, сейчас же буркнет: «Эх, не туда пошел». Вот смотри, – она незаметно подвинула к тете Степе свой стакан с чаем, а его стакан – к себе и, когда тот хотел было в стакан положить меду, сказала: – Тетя Степа, мой стакан трогаете.

– Эх, не туда пошел, – спохватился тот.

– Это хорошо, это очень хорошо, – невольно рассмеялся Кирилл, давая этим знать Фене, что кличка весьма «подходява».

– Подходява, подходява, – пустил он в ход свое шутливое словечко.

Но всем было некогда. Тетя Степа спешил к ульям – у него роились пчелы, дядя Саша спешила – ей надо было отправляться на рудник посмотреть, что там делается. Богданов обязательно хотел пошататься по горам, Феня рвалась на волю и, оживленно болтая, все время посматривала в окно, полной грудью вдыхая горный воздух, и все спрашивала:

– Чем пахнет? Что это за запах несется с гор?

Все сидевшие за столом тянули носом, но никакого особого запаха не чувствовали.

– Да вот же! Вот это пахнет сосной. Это? Это пахнет мхами. Знаете, дядя Саша, теми, что на скалах. Скалы за день нагрелись на солнце, и от тепла мхи издают такой запах... А вот этот? – Феня потянула носом. – Вот это? О! Это будто тополи цветут? Но ведь осень. Ну, пошли!

Черная горная ночь. Все залито прохладной тьмой. Тьма колыхается, вздрагивает и ползет по ущельям, по горам, окутывая вековые сосны, скалы.

По узкой, извилистой тропе, через скалы, первой шла Феня, за ней – Богданов и Кирилл. Выбравшись в горы, разыскав полянку, они быстро соорудили костер и, когда костер запылал, присели около него, подобрав под себя ноги, как буддийские истуканчики, и запели. Богданов пел диким, завывающим голосом, забегая все время вперед. И Феня, прерывая пение, держа Богданова за руку, смеясь, всякий раз останавливала:

– Богданыч! Преувеличиваете темпы. Скачок вперед!

Богданов хохотал, широко разевая рот, уверяя, что ему кажется – он поет очень хорошо:

– Если бы с таким голосом на сцену, все зрители падали бы в обморок. И на афише реклама – со слабыми нервами не ходить! И повалили бы все.

## 8

Богданова и Кирилла поместили в двух смежных комнатах, соединенных одной дверью, а Феню – в другой половине домика, с отдельным ходом.

Богданов зашел к Кириллу; долго сидел молча, затем сказал:

– А знаешь, кто такая Юлай?

– Да ведь ты говорил – там, далеко, палкой не докинешь.

Богданов снова помолчал.

– Феня, – наконец, проговорил он.

– Да ну! – пораженный неожиданностью, вскрикнул Кирилл и, растерянно посмотрев на Богданова, подумал: «Тут мы можем с ним и того... поссориться, пожалуй. Не лучше ли мне удалиться?... Вот еще... Ведь у нас же общее дело...» – но сказал другое, весьма неопределенное: – Вон оно что.

– Что «вон оно что»?

Кирилл пожал плечами и вынужден был сказать, что только пришло ему в голову:

– Подмечал я.

– Что ты подмечал? – сердито спросил Богданов. «Вот, черт, начинается. Пристал. В самом деле, что я подмечал?» – подумал Кирилл, но отступить было уже нельзя.

– Так, иной раз подмечал я, – сказал он и присел на стул, как школьник, не знающий урока.

– Ничего ты не подмечал, – еще сердитей буркнул Богданов.

Но через несколько секунд, очевидно не в силах сдержать себя, снова заговорил:

– Она удивительный человек. Цельный. Творчески насыщенный. Вот когда мы

говорим о новом человеке, так вот он новый человек: Феня. – И Богданов, увлекшись, очень долго рассказывал о Фене, о том, что она и есть передовая и новая девушка страны, девушка, не зараженная предрассудками.

Кирилл его слушал и думал о своем, все о том же: как бы они не поссорились. И, чтоб покончить разговор, вставил:

– А ты ей скажи об этом. Мне кажется...

– Ничего тебе не кажется, – опять сердито оборвал его Богданов. – «Скажи ей». Я не студент, милый мой. «Скажи». Это когда-то легко было все это «скажи». А теперь...

Кирилл понимал: Богданову очень трудно высказать свои чувства Фене. И, не зная, что посоветовать ему, в шутку проговорил:

– А голодовка тут помогает?

– Черствый ты человек... – Богданов рассердился и ушел к себе в комнату.

## Звено пятое

### 1

А это произошло через несколько дней, в осеннюю ночь, когда пламенеющий клен тихо сыпал листья на обгорелую землю.

Феня была в комнате Богданова, громко, оживленно о чем-то говорила, часто смеялась – раскатисто, задорно и звонко. Кирилл сидел у себя и, не зная, с кем поделиться своими думами, решил, по примеру Богданова, вести дневник.

Он писал:

«Мы, большевики, – люди решительные и упорные. Верим в себя, в свои силы... и многое делаем. Ни один класс не смог так... (он все это зачеркнул и начал проще). Все эти ночи гуляли с Феней и Богдановым по горам. Днем работали – обследовали рудники, были на разведках, переставили людей, двинули дело, а ночи – гуляем. Все мы в горах будто помолодели, то есть я и особенно Богданов. Феня то и дело, словно горная коза, скачет через костер, и мы скачем за ней. Верно, Богданов иногда отходит в сторонку, чтобы украдкой передохнуть: он задыхается от такого скака. И не ему бы и бегать по горам. А вот бегают, откалывают такие коленца. Недавно, только вчера, Феня забралась на самую высокую сосну и крикнула: «Богданыч, давайте играть. Я белка, а вы? Ну, вы медведь. Догоняйте меня». И пошло. Богданов, отдуваясь, полез на сосну. А я стоял внизу и дрожал – вот свалится Богданов, и пропадет наш начальник. Феня, правильно, удивительный человек. С ней даже не скучно молчать. Но с ней можно и говорить о любых вещах. Станный человек. Она то делается какой-то маленькой-маленькой, наивной девчушкой, то вдруг заговорит о таких вопросах,

что даже Богданов становится в тупик. Он почему-то все время говорит возвышенно, со смешком. Сыплет Фене похвалы, сравнивая ее улыбку с лучами солнца.

Вчера мне Богданов сказал:

– Я около Фени облагораживаюсь. Она мне дает зарядку, – и все шутит, а я вижу, ему не до шуток, и я, нарочно грубо, сказал ему на его «я около нее облагораживаюсь»:

– И поспать, чай, поди-ка, с ней охота?

Богданов обругал меня дураком и целый день не разговаривал.

Да, так-то вот завязалось дельце.

О Стешке я много думаю, когда около меня нет Фени. Мне ее жаль. Нет, не ее, а того чувства, которое пропало во мне. Странно, когда у людей появляется трещина в любви, они начинают друг друга поносить, оскорблять и, очевидно, думают этим замазать трещину. Какие глупые люди: желая вернуть друг друга, они похабно оскорбляют один другого.

Вчера вечером Богданов, очевидно желая испытать меня, Феню и себя, покинул нас в горах и ушел на рудник. Мы с Феней разожгли костер и присели около него... И разговор у нас не вязался. С чего мы ни начинали, быстро обрывали, быстро договаривались, не могли вызвать спора.

– Вот, Кирилл, видишь, нужно третье лицо, чтоб было весело, – сказала она, первая догадавшись, почему у нас не вяжется разговор, а я подумал: «Значит, она любит Богданова. И чего я, дурак, тянусь за ней? Мне бы надо отправиться в рудники, а их оставить вдвоем».

Признаться, я был рад за Богданова и досадовал на себя... и долго, молча смотрел от костра во тьму. Ночь удивительная в горах при костре. Тут костер – пылают сосновые сучья, трещат, извиваются, а там, дальше от костра – тьма кутает все, превращая обычные сосны в какие-то причудливые фигуры. Я смотрел от костра во тьму и думал:

«Хорошо. Пусть они любят друг друга», – но, сказав это, я вдруг почувствовал, что мне больно, что я сам люблю Феню, и я хотел было сказать Фене об этом. Но она запела песенку, ту самую песенку, которую пел вчера Богданов. Песню эту он вывез из Абхазии. Она была без слов, а содержание ее, оказывается, такое: один знаменитый абхазский охотник, гонясь за козой, попал на такую скалу, где он не только не мог повернуться, но не мог и двигаться вперед, ибо впереди была пропасть, и вот он запел песню. Он пел до тех пор, пока не свалился в пропасть. Феня затянула эту песенку.

«Она поет его песенку, значит думает о нем», – решил я но она в это время засмеялась:

– Как ее поет Богданов? – и, крепко зажмурив глаза, закинув голову назад, широко разинув рот, она очень точно передразнила Богданова.

А сейчас она сидит в комнате Богданова, и они оживленно разговаривают,

смеются. Значит – есть общий язык. Обходятся и без меня. И мне, я не могу сказать, что мне легко...»

– Кирилл. Скоро ты там? – позвала Феня и, влетев в комнату, увидев, что глаза у него почему-то впервые блеснули обидой, чуть попятилась, спросила: – Что ты пишешь?

– Письмо в крайком.

– Может, тебе помочь?

– Да нет, зачем же, – Кирилл смутился. – Я уже заканчиваю, – и собрал исписанные листы бумаги.

– Ну вот что. Я сейчас пойду к себе, а вы через полчаса заходите за мной, и двинемся опять в горы. На другое место – выше. Ночь сегодня хорошая – не темная и не светлая, а самая «подходявая». Слыхал? Кирилл? – И она быстро вышла.

«Ой! Огонь девка», – мелькнуло у Кирилла.

В комнату вошел Богданов и присел на диван.

– Слушай, Ждаркин, – впервые так назвал он Кирилла. – Я сегодня... Понимаешь ли?... Ну, хочу... сегодня... ей все сказать, – вдруг выпалил он и опять сердито посмотрел на Кирилла. – Ну, как тебе сказать... хочу... ну, предложить.

– Наверняка отказ. – И Кирилл тут же спохватился: – То есть я хочу сказать, так же нельзя. Нельзя к Фене подходить с пряником в кармане. Ты лучше как-нибудь по-другому. А предложение – это не подойдет. Это даже может ее оскорбить. Сватовство какое-то. Я уверен, что она тебя любит, но она же, ты же сам знаешь, не так смотрит на все это. – И, не зная, что говорить дальше, Кирилл стал путаться.

– Ты даешь советы, как будто я иду покупать лошадь.

– Тогда чего же ты ко мне лезешь? Валяй сам.

– Да. Я пойду. А ты часок посиди тут. Мы потом вернемся сюда. – И Богданов вышел.

«Вот и новый удар. К тому, что есть, прибавилось еще», – подумал Кирилл и долго сидел не шевелясь, все думая о том же, чувствуя себя не просто обиженным, а обойденным, оскорбленным. Иногда он намеревался подняться и бежать за Богдановым, вступить с ним в бой, напрячь все силы, всю свою ловкость, чтобы овладеть Феней. Но с места не двигался, понимая, что это будет не только подло, но гнусно, отвратительно.

«Что мы, жеребцы, что ль?»

Богданов зашел за Феней.

– А где ж Кирилл? – спросила сна.

– Он пишет письмо Стеше, – подчеркнул Богданов. – Видимо, соскучился, – еще раз подчеркнул он и подумал с отвращением: «Зачем это я?» – Но он через полчаса нагонит нас. Пойдемте-ка пока, распалим костер.

– Ага. Вот и хорошо. Пошли. Костер разведем, пока Кирилл явится. Будем плясать. Я придумала новый танец.

– Да-да-да, – сказал Богданов, а когда они взобрались на скалу и Ступили на ту самую полянку, где каждую ночь жгли костры, он задержался и, ощущая, как на спине выступает холодный пот, выговорил: – Юлай.

– Что это вы сказали? – спросила Феня. – Юлай? Это что-то такое широкое.

– Да-да-да. Хотя вовсе нет, – резко оборвал Богданов. – Юлай – это имя девушки. – Он переждал, передохнул и начал: – Мне недавно приснился сон. Присядьте, Феня, вот тут, и я вам его расскажу... Такой сон: нахожусь я далеко на севере, кругом безлюдье, скучная, застывшая, окованная морозами пустыня, суровые глыбы льда и следы белого медведя. И вот среди этой безлюдной, застывшей пустыни я один. Я один нахожусь тут уже несколько лет, может быть сотни, тысячи лет... Так давно, что я совсем не помню. Я оброс, одичал, совершенно разучился говорить. Передо мной только одна задача – мне надо прокладывать путь через пустыню, через эти льдины, через Северный полюс. И я прокладываю его. И работа эта вовсе не утомляет меня, наоборот, я иногда думаю, что бы я стал делать, если бы не эта задача. Иногда я горюю, что я одинок. Верно, временами я слышу, как позади меня, где-то еще очень далеко раздастся людской гул. Это идут люди по мною расчищенному пути, и это радует меня. Они идут уже с весельем, с песнями, с радостью... – Богданов остановился и посмотрел на Феню. – Да! Да. Это очень похоже. Ваш сон, – сказала она.

– Так вот, – снова передохнул Богданов и толкнул ногой камень. Камень соскользнул в ущелье, и еще долго раздавался его стук и грохот. – Так вот. Я один, – подчеркнул Богданов. – И вдруг в одно утро я вижу – на ледяной глыбе начерчено что-то человеческой рукой. «Неужели тут кто-нибудь был до меня?» – подумал я и пошел к скале. На скале из тусклого очертания стала ясно вырисовываться человеческая фигура. Через миг она ожила, затем приподнялась, и я увидел перед собой девушку. Она привстала, отряхнулась. На ней было платье полумужского покроя, сапоги, и в руках она держала тонкую трость из камыша. Она еще раз отряхнулась, расчесала рукой небрежно взбитые волосы и сказала: «Меня зовут Юлай. Я так давно ждала тебя. Тысячу лет я лежала в этой льдине, прикованная, замурованная, и никто не мог растопить эту льдину. И вот ты пришел». – «Да, да, я пришел, – ответил я. – Я пришел, – и тут я вспомнил, что именно ее, эту девушку по имени Юлай, я искал всю жизнь. И, протянув ей руку, я сказал: – Пойдем. Пойдем вместе. Жизнь исчертила лицо мое морщинами, но душа моя молода, как и твоя душа».

Богданов смолк и даже обрадовался, что рассказ вышел так удачно, а Феня вся сжалась. Богданов подумал, она еще не понимает, к чему он рассказал такой сон, и потому добавил:

– Я ей сказал: «Юлай! Если ты пойдешь со мной, то мой трудный путь будет

радостным».

– А учиться я должна? – вдруг выпалила Феня. – Мне ведь еще надо выдержать испытания на инженера-металлурга.

– Конечно, это главное, – потухая, согласился Богданов.

– Ну, вот, видите, – Феня вскочила и быстро побежала вниз, точно боясь своим присутствием оскорбить Богданова.

– Все, – чуть погодя сказал Богданов.

Феня неслась с гор, ничего не видя под ногами, и ей было не только обидно, но и стыдно. Внизу, у синенького домика, она столкнулась с Кириллом и, став перед ним, как вкопанная, сказала:

– Холодно. Холодно. Я домой, домой. – Она было пошла к домику, но резко повернулась и бросила Кириллу. – Подсылаешь? Зачем? – и раздраженно добавила: – Я ему сказала: «Нет».

– «Ну, подожди, – Кирилл кинулся за ней. – А отчего ж ты такая? Ну, сказала нет... а что ж?»

– Сам знаешь, – и Феня скрылась в синеньком домике, крепко хлопнув дверью.

И все, казалось, было сломано, измято и выброшено, как выбрасываются помятые, потускневшие цветы.

Богданов остался на старом месте, у потухающего костра. Феня скрылась у себя в комнате. Кирилл повернулся от гор в другую сторону, к ущельям, и стал кружить около синего домика, как на привязи, думая о Богданове, о Фене, о себе, о Стеше. Он бродил около часа, изредка взбирался на возвышенность и отсюда видел, как у потухающего костра сидит застывший Богданов, и ему было жаль его. Он хотел было подняться к нему, утешить его, сказать, что он, Кирилл, страдает не меньше его.

Но в эту минуту из синего домика кто-то вышел. А через несколько секунд рядом с Кириллом уже стояла в черном плаще Феня и, вся дрожа, говорила:

– Зачем? Зачем ты все это сделал?

Кирилл ей рассказал все, как было.

– Не мог же я его держать за фалды?

– А-а-а, – вырвалось у Фени, и она, дернув его за руку, шепнула: – Пошли. Пошли. Пусть будет что будет.

Она вела его по темным, извилистым тропам, в другую сторону от Богданова. Кирилл не сопротивлялся. Чуть погодя она сказала ему:

– Нагнись... не ушиби голову, – и первая нырнула в пещеру, освещая ее маленьким фонариком.

Кирилл мельком увидел, что пещера совсем небольшая, скорее это не пещера, а какое-то логово. В одном углу разостлан сухой болотный мох, в другом – стоит стол, завяленный стеклянными пробирками.

– Не удивляйся. Сюда мы часто заходили с подругой. Это наш горный кабинет.

– С подругом?

– Ну, зачем мне тебе врать?

Кирилл осекся. В самом деле, какое он имеет право подозревать ее? Но зачем в такую пещеру ходить с подругой?

«Ой, сколько еще во мне грубого. Я уже не могу мечтать так, как мечтает она, как когда-то и я мечтал», – обругал он себя и закурил.

Феня попросила папиросу.

– Я не курю. А так иногда балуюсь, – сказала она.

Она курила, не втягивая дыма в себя, и папироска у нее скоро потухла. Кирилл хотел было зажечь спичку, но Феня запротестовала.

– Не надо. Я от твоей.

И при вспышке папиросы Кирилл увидел ее лицо и глаза. Глаза ее смотрели не на папироску, а на него – Кирилла, смотрели с тоской и упреком. И это вышло у него невольно. Он обнял ее и поцеловал, а она вся вздрогнула и тихо погладила его большую руку.

– Пусть мои девичьи мечты оборвутся здесь, если им суждено оборваться, – еле слышно прошептала она и сама, нагнув его голову, поцеловала его долгим, вязким, непривычным поцелуем и отпрянула в угол логова, и оттуда долетели до Кирилла ее слова: – Я до этого никого... никого, Кирилл, не допускала. Слышишь?

– Я знаю, – сказал он и, уже не в силах остановить себя, пошел к ней.

## 2

Стремительно наступала осень...

Лось-самец, старый лесной вояка, лежал в чаще. У него ныла рана на левом бедре, – это он вчера получил в схватке с молодым лосенком, может быть даже сыном или внуком.

И красивая самка, с рыжеватым загривком, с такими, пружинистыми ногами, с узкой холкой и аккуратной мордочкой, отделившись от стада, гуляла на поляне. Сегодня она не притрагивалась к травам, не рыла землю копытом. Она все время куда-то всматривалась, держа голову высоко, напряженно, и вздрагивала всем телом. И на ее дрожь, на ее томный взгляд из леса вышел молодой самец. Он кинулся к ней, но, встретив резкий, дробный удар копытами, отскочил в сторону: молодой самец был еще совсем неопытный. И самка брезгливо, ударила его задними копытами, но с места не двинулась, так же томно посматривая по сторонам, вздрагивая всем телом.



И вот совсем далеко, за увалами гор, раздался в утренней прохладе трубный зов. Зов – глухой, с перерывами – неся по ущельям, перекатывался через горы, терялся где-то в густой чаще леса и снова обрушивался на самку-мать. Она потянулась мордой, выпрямилась, разом всеми четырьмя копытами ударила о землю, и ее красивая голова чуть склонилась набок. Казалось, вот сейчас она со всех ног метнется на трубный зов, перескочит ущелья, прорвется сквозь чащу, – но она вовсе не кинулась. Она встряхнулась, как-то вся опала и нехотя принялась щипать траву. Тогда молодой самец снова вышел из кустов, но не кинулся к ней, а начал кружить, обхаживать ее. Он совсем уже было к ней приблизился и даже опустил морду, исподлобья глядя в ее глаза, как со стороны гор снова раздался властный, глухой, с перерывами зов, и вскоре на поляне показался рослый, с широкой грудью, с разветвленными, огромными, точно куст шиповника, рогами, с отвислыми губами, с глазами навывкате – старый самец, владыка лесов. Он не пошел сразу на самку, как это сделал молодой самец. Он молча, будто давно привык к этому делу, одним могучим ударом свалил молодого самца с ног и гордым шагом пошел к самке. Самка кинулась в чащу леса. Дробный стук ее ног уводил старого самца в глубь леса. Затем она, сделав круг, снова вернулась на старую поляну, и от ее спины, из-под ее пахов, покрытых нежным пушком, валил пар. Она, очевидно, вовсе не ждала встретить тут молодого самца, желая остаться наедине с тем, кто так торжественно мчался за ней, издавая рев, ломая, срезая острыми, разветвленными рогами сучья.

Но молодой самец вступал в жизнь. Он со стороны двумя-тремя прыжками настиг старика и всадил свои острые рога ему в бедро. Старый самец, не ожидая удара, осел задом, – но тут же выпрямился, круто повернулся, и рога молодого спутались с рогами владыки лесов.

Они бились на опушке, а самка стояла в стороне, нехотя щипала траву и даже несколько раз копытом рванула рыхлую землю.

Сдался молодой... Обливаясь кровью, он нехотя поплелся вниз к ручью, а старый самец, издав глухой зов, пошел на самку. И она, строгая, бойкая, неподатливая до этого, покорно встала навстречу ему...

Сегодня старый самец проснулся позже. С вечера они вместе с самкой забрались в чащу, легли – голова к голове, и он всю ночь охранял ее, но на заре уснул и, проснувшись, увидел рядом с собой только примятое логово: самка куда-то ушла. Он поднялся, тихим шагом тронулся к водопою. Увидав в ключе отражение своих разветвленных рогов, он оторвал морду от воды и заревел, посылая в чащу все тот же трубный, глухой зов. С его темных, почерневших губ стекали струйки.

И из чащи на его зов вышла та же самка с рыжим загривком.

– Кирилл! Смотри, теперь она уже пришла к нему, – проговорила Феня, показывая на самку.

Феня сидела на обглоданном ветрами, морозами красном камне. Кирилл стоял около, так, что свисшие ноги Фени чуть не касались его лица.

– Смотри, смотри, она идет к нему – смело и бойко. А вчера она бегала от него, – говорила Феня и вся горела.

– А... а тебе, Феня, как бы сказать... ну, ведь не всякая девушка способна так рассматривать подобные картины, – проговорил Кирилл и, чтоб не обидеть Феню, приложился лбом к ее ноге.

Феня громко рассмеялась и потрепала его за ухо.

– Ты что ж, считаешь, я кисейная барышня? Но не думай, что у меня... ну, там... пакость какая-нибудь... Нет, я смотрю на это очень просто. Ведь это очень красиво. Ты смотри, как он уступил ей место у водополя. И вон, смотри, положил свою голову ей на шею. Ведь это же красиво, Кирилл.

Кирилл понимал, что все это очень красиво, но он стеснялся об этом говорить с Феней, хотя и вчера, и утром, и сегодня не мог оторвать взгляда от пары лосей.

– Но, послушай, ведь это же противоречит твоей теории? Даже они вместе, – сказал он.

Феня снова рассмеялась:

– Ты что ж, не видишь разницы между человеком и лосями? Но все равно – нет. Нет, – чуть погодя снова начала она. – Я уже насмотрелась на подруг своих. И никогда, никогда не пойду в семью. Я буду жить одна.

– Холостой?

– Называй так. Разве тебе хочется, чтоб я сейчас потребовала, чтоб ты немедленно развелся со Стешкой, покинул своего сына? Нет. Я этого не хочу. Я не хочу с твоей стороны жертв. Жертва с твоей стороны обяжет меня служить тебе. А этого вовсе не надо. Не надо: там, где служба, там уже не любовь. Да-а-а, – спохватилась она, – а мы же с тобой ни разу не произнесли этого слова... и я не спрашиваю тебя: а любишь ли ты меня?

Кирилл хотел было ответить: «Да, я люблю», но Феня говорила о своем:

– Это чувство ничем не должно быть сковано. Вот как должно быть. – Она наклонилась и поцеловала его в открытые губы. – А если что, то должно быть вот так, – и оттолкнула его. – А сейчас... сейчас марш на завод. Мы с тобой и так на день опоздали. Богданов уже сидит у себя в кабинете. Бедный Богданов. Мне жаль его, и жалость моя только позавчера требовала от меня, чтоб я пошла с ним, утешила его. Но это было бы утешение другого и страдание для меня. А ведь когда люди живут в семье, они часто, очень часто не любят, а утешают друг друга. Верно ведь, Кирилл?

Кирилл вздохнул:

– Мне бы хотелось с тобой пожить вот здесь, – показал он на горы, на логово, на ручей.

– Ну, милый мой, из мира уходят только те, кому в мире тошно. А для нас мир – жизнь. Я бы не согласилась. Да и ты бы не согласился. Ведь этакой жизни в логове дня на три – и довольно. Но мы приедем с тобой опять сюда... как-нибудь, – она спрыгнула с камня и неожиданно очутилась на руках у

Кирилла. – Хорошо! – вскрикнула она. – Хорошо! – и, прильнув к нему, вся обвила его – большого, растерянного и радостного.

Он нес ее на руках с гор. Нес извилистыми тропами. Иногда он останавливался перед пропастью и, вглядываясь туда вниз – в темную бездну, говорил:

– Вот и жизнь такая же, как и эта тьма там внизу. Что там, впереди, – кто поймет и кто определит!

– Ну, нет, – возражала Феня, – для нас то, что впереди, – не тьма.

– Я не про общую жизнь. Я про жизнь каждого в отдельности. Ведь всего несколько дней тому назад я бы и не поверил, что буду тебя вот так носить на руках. А теперь – видишь сама. Я несу тебя, и ты для меня неотъемлемый кусок жизни.

– И тебя тревожит: придется лгать, от кого-то скрывать свое чувство. Пусть эта мелочь не беспокоит тебя... или... или живи и «утешай».

– Ты молодец, – сказал Кирилл и, поставив Феню на землю, долго смотрел ей в глаза, затем они взялись за руки и молча пошли по тропинке, ведущей вниз.

### 3

Стефу, низенькую, кургузую и потолстевшую жену главного инженера металлургического завода Рубина, за глаза звали «наказанием». Она любила поговорить и говорила часто до хрипоты, без умолку. Об этом все знали, и ее остерегались, но она была жена Рубина, которого все уважали, ценили, и ее не могли не принимать: она была всюду вхожа. Ее внештатная, как говорили, обязанность заключалась в том, что она всегда первая встречала знатных гостей на заводе, будь то иностранцы или свои соотечественники, быстро с ними переходила на короткую ногу, на «ты», во все дела ввязывалась, обо всем судила, все на свете знала. Когда-то она жила в Москве, училась в университете имени Свердлова или в «Свердловке», откуда немало вышло замечательной молодежи, которая впоследствии заняла командные высоты. Живя в Москве, Стефа сменила четырех мужей, затем выехала в провинцию, «поймала» Рубина и «женила» на себе. Так, не стесняясь, говорила она сама про своего «Рубинчика». С первого взгляда она казалась женщиной умной, начитанной, ибо она всегда вступала в спор первой, – но потом люди узнавали, что в споре она повторяла чужие слова, часто совсем не понимая их смысла. Она, очевидно, когда-то была красивой и, возможно, неглупой, но потом она взлетела в «верхи», превратилась в постоянную жену ответственного работника; шли годы, тело старело, а мозг оставался таким же, и то, что в юные годы казалось заманчивым, интересным, простительно-наивным, теперь стало глупым и смешным: Стефа до сих пор еще вертелась на одной ножке, хотя она была для этого уже слишком жирна и неповоротлива; Стефа до сих пор кокетничала, шурила глаза, но под глазами у нее уже появились мешки, которые она тщательно каждое утро, при помощи домашней массажистки, «прятала», и когда она шурила глаза, мешки вздувались и

обезобразивали ее; Стефа до сих пор о каждом деле судила с налету, быстро – это было хорошо в юные годы, когда многое прощалось, но теперь это раздражало.

Но эта самая Стефа имела хороший нюх на всякие внутренние, семейные дела. И теперь она «унюхала», что в семье Кирилла Ждаркина что-то есть, и поспешила к Стеше.

У Кирилла со Стешей в это время происходил уже ставший обычным разговор. Ночь они спали в разных комнатах: Стеша – в спальне, Кирилл – у себя в кабинете на диване. Это было новое. Но утром начался тот же разговор, который уже десятки раз повторялся.

Стеша вошла в кабинет, когда Кирилл еще спал, а она всю ночь просидела под окном в спальне, и упала перед ним на колени, говоря отрывисто, сквозь слезы:

– Ну, что это, Кирилл? Ну, что? Ведь я же тебя люблю. Почему, почему ты стал такой чужой... и сухой?

– Я вовсе не чужой, – проговорил Кирилл и подумал: «Меня уже не тревожат ее слезы... даже раздражают. Ну, чего она ревет, как корова», – хотя Стеша вовсе не ревела, а плакала, через силу сдерживая рыдания. – Я вовсе не чужой, – говорил он. – Но ты сама не знаешь, что тебе надо. Может быть, тебе надо проветриться... Ты когда-то говорила, хорошо бы съездить на курорт. Вот, может быть...

– А-а-а! Гонишь, – взорвалась Стеша и стала похожа на обозленную кошку: губы у нее сморщились, глаза выкатились, а сама она вся изогнулась, готовая кинуться и вцепиться ногтями в лицо Кирилла.

«Какая безобразная», – подумал Кирилл. – Ну, вот видишь, с тобой нельзя говорить. Что я могу? Ничего. Я бессилён, – и тут же подумал: «А ведь Феня не такая. Она самостоятельная, сдержанная и опрятная... и с ней есть о чем поговорить. А эта...» – он мельком глянул на Стешу – растрепанную, в стареньком, засаленном пятнами платье, непричесанную, с грязными руками. – Ты бы лучше помылась, – сказал он и этим снова оскорбил Стешу. Она несколько секунд стояла молча, ошарашенная затем не заплакала, а завывала, уже не в силах сдержать себя. – Брось! – крикнул Кирилл. – Брось! Чего ты как на бойне, – и в нем заклокотала злоба, ненависть к Стеше, к ее неопрятному виду, к ней ко всей. – Ходишь грязная и реवेशь, как корова. Мало этого, то и дело наносишь мне оскорбления и требуешь, чтоб я тебя уважал, любил. За что? За то, что ты мне родила сына? Это всякая может!

Стеша уже не выла, – она присела в кресло, протянула к Кириллу руки, точно ожидая нового удара. Увидев ее такой, Кирилл смягчился, ему стало жаль ее – жаль ту самую Стешу, которая когда-то была шофером – гордой, самостоятельной и неподатливой женщиной.

«Да куда ж она девалась, та Стешка, о которой я тосковал?» – подумал он, затем поднялся, подошел к ней и, погладив ее по голове, сказал:

– Не надо. Ну, зачем ты мучаешь и меня и себя... и детей. Вот вчера подошла ко мне Аннушка и сказала: «Ты плохо ухаживаешь за мамой». Зачем ты ей это

сказала?

– Я не говорила. Она сама все видит.

– Ну вот, врать стала мне. Что может сама видеть Аннушка?

– Ну прости меня, Кирилл. Слово даю – я больше не буду. Я начну вести себя по-другому. Ты только скажи – как? Я все сделаю. Ведь ты же любишь меня?

– Ну, конечно, – чуть погодя ответил Кирилл, не в силах сказать: «Да, люблю».

– Это правда? – ловя его взгляд, спросила Стеша и, подойдя к нему, прижалась – прибитая, сломленная и покорная ему, только одному ему, Кириллу Ждаркину.

В кабинет вошла бабушка.

– Стеша. Это к тебе... тараторка. Ну, как ее, Стефа, – и вышла.

– Дура. Меня для нее дома нет.

– Грубо, Кирилл, – упрекнула его Стеша и пошла в гостиную.

– Слушай-ка, – остановил ее Кирилл. – Я ведь сегодня еду в Москву. На сессию ЦИКа.

– Ах ты! А мы и не простились с тобой, – намекнула ему Стеша на то, что они спали в отдельных комнатах.

Стефа уже стояла в гостиной, вертясь перед трюмо, и, видя, как Стеша выходит из кабинета Кирилла, сказала:

– А-а-а, хозяйка. На заводе все говорят: куда запропала наша хозяйка, почему ее нигде не видать? (Об этом, между прочим, никто ничего подобного не говорил, и Стефа это придумала только что.)

– Ты, Стефа, мне сегодня звонила, собиралась в Москву.

– Отложила. Меня вызовут. Обязательно. Да-а, прошлый раз, когда я была в Москве, видела на выставке картину художника Арнольдова... Вашего, кажется, знакомого.

– Да, мне Кирилл говорил о нем. Они вместе были за границей.

– Ну вот. А раз ваш знакомый, значит и мой знакомый... И я закатилась к нему в мастерскую. Ужас, ужас, ужас!

– Что – «ужас»?

– Наши художники рисуют все черт-те что. Арнольдов рисует картину, которая будет называться «Мать». Самка, самка, самка и физиология, – по всему было видно, что Стефа опять повторяет чьи-то чужие слова.

– При коммунизме не будет самок, а физиологию мы обязательно ликвидируем! – послышался из кабинета злой голос Кирилла.

– Дома? – глянув на Стешу и кивнув на кабинет головой, спросила Стефа и, подойдя к двери, зачастила: – Мы – женщины передовые и честные. Почему вы этого не видите? – Но Кирилл плотно прикрыл дверь, и Стефа, оборвав поток слов, как ни в чем не бывало повернулась к Стеше. – А знаешь что, миленок, к

нам в магазин прислали шикарный шелк. Вот, пальчики оближешь, – она лизнула пальцы и поклялась: – Честное коммунистическое. Ты позвони, чтоб тебе прислали на платье или на два. Тебе пришлют. А то всё расхватают. Жадные.

Стеша не слышала последних слов Стефы и, чуть трогая ее пухлую руку, спросила:

– Стефа! Я тебя хочу спросить об одном и не знаю как.

– А ты прямо. Спроси, а потом подумай. Я всегда так: спрошу, потом подумаю – ладно ли выходит? И всегда ладно, – с гордостью закончила она и махнула рукой, как оратор.

Стеша вся покраснела и прошептала:

– Скажи... ты кого-нибудь... может быть, случайно... как бы тебе это сказать... – Стефа наострила уши, как боевая лошадь, заслышавшая оркестр, а Стеша еще тише продолжала: – Ну... кроме Рубина? Ой, как лицо у меня горит, – и подумала тут же: «Зачем я так оскорбляю Стефу!» – и хотела уже было извиниться перед ней, как Стефа поднялась с дивана и оживленно зачастила:

– А-а-а, понимаю. Ты Абрама помнишь, приезжал к нам с комиссией по выяснению пожара на торфянике? Я с ним. Аввакумова знаешь – директора авиапарка? Знаешь? Ну, вот, я с ним. Гололобова знаешь? Ну, он теперь орел. Я с ним. Давыдова знаешь – мальчик еще, чубчик? Я с ним. Корякина знаешь... Я...

– Ой, хватит. Хватит... и ни... ничего?

– Что «ничего»?

– Совесть у тебя?

– Очень даже приятно.

Стеша, деланно смеясь, сказала:

– Но ведь ты только что возмущалась: «Художники видят в нас только самок».

– О-о-о! Это совсем другое. Они все партийцы и видят во мне не самку, а партийца-товарища. Да потом... – Она безнадежно махнула рукой, будто говоря: «Если я и грешу, то грешу не по своей воле», – да потом самые святые в наше время и те маленько развратничают. – И тут она подступила к основному, к тому, зачем пришла: – Ты думаешь, твой... так... маленько... не...

– Ты заговариваешься, Стефа, – тихо, но строго прошептала Стеша.

– Ну, ну. Недотрога. Лучше наперед предположить, чем потом, как камень, на голову свалится. Ну, ну, забегала.

– Стефа, – чуть не крикнула Стеша. – Я прошу тебя мне об этом не говорить и не намекать. Это же подлость.

– Да ты же сама первая начала. Во-от. Я, может, больше знаю, да молчу.

– Что ты знаешь?

– Я не знаю, но на улице говорят разное. – Стефа подмигнула и, видя, что Стеша ею подчинена, побеждена, начала медленно, с паузами, играючи: – Но я

этому не верю. Не верю, и не верю, и не верю, честное коммунистическое.

– Чему? – Стеша уже еле сдерживала себя.

– А знаешь ли? Ой! Нет. Все это чепуха, чепуха, чепуха. И мы на это не должны обращать внимания... Никакого.

Стеша посмотрела на Стефу и твердо сказала:

– Если ты хочешь бывать у меня, скажи сейчас же.

– Ну, ладно. Но все видят, ты сама принудила меня. Ты спроси его, – она кивнула головой на кабинет. – Спроси, где у него часы? Да, да, вот те самые часы, что на руке. Где?

Стеша кинулась в кабинет. Стефа сорвалась с дивана:

– Да что ты, взбесилась? Да я шучу, шучу. – Но оставшись одна в гостиной, она некоторое время всматривалась в трюмо, затем встряхнула головой и произнесла раздельно: – Тоже, жена секретаря, да еще члена ЦИКа. Я бы была жена секретаря... я бы наделала, – и тут же спохватилась: «Зачем брякнула? Ну, я ничего не сказала. Ничего... Мне бы быть прокурором».

#### 4

Все эти дни, пока Кирилл находился в Москве, Стеша никуда не показывалась и даже забросила домашнее хозяйство; она целыми днями просиживала у себя в комнате и все думала о том же: почему Кирилл охладел к ней? Иногда ей казалось, что он в кого-то влюбился.

«Нет, это не то... не то. Я сама в чем-то виновата». – И она упорно искала свою вину и не находила ее.

Иногда ей казалось, но это было весьма мимолетно, что вина ее заключается в том, что она сидит дома, что она, как домашняя хозяйка, стала совсем не интересна для Кирилла: Кирилл растет, много читает, много занимается общественными делами, а она, Стеша, от этих общественных дел давно отстала. Но однажды она случайно натолкнулась на передовицу в центральной, очень авторитетной газете, где писалось о семье и, между прочим, о том, что женщина, безусловно, обязана «создавать семейный уют для мужа». И она обрадовалась этому...

«Да, да, я мать, я должна воспитывать детей, создавать уют Кириллу. Ведь он так устает на работе, так изматывается... и я должна ему помогать тут. Вот ведь какая я дура. Я часто его раздражение принимаю не так, как надо. Я совсем забросила его». – И она снова, с еще большим рвением принялась за уборку квартиры, особенно кабинета. Она накупила цветов, расставила их и с нетерпением ждала приезда Кирилла. Она даже надела черное платье, то самое, которое когда-то так долго берег для нее Кирилл. Но Кирилл все не ехал...

А сегодня у нее снова сидела Стефа. Она взобралась с ногами в мягкое кресло

и тараторила:

– Ну, рассказывай, рассказывай. Все рассказывай. В чем ты его подозреваешь?

Стеша говорила тихо, прибито и словно не Стефе, а самой себе: она находилась в таком состоянии, когда ей надо было кому-то все высказать, просто чтобы кто-то выслушал ее.

– А-а-а, я теперь уже не подозреваю, я все знаю. Ведь говорят, самое тягостное – это когда ты ничего не знаешь... а теперь я все знаю, и мне больно... я уже мертвый человек... я уже вынимала револьвер из стола... и приложила его к виску, как в это время в кабинет вбежал Кирилл малый... И вот я опять – мертвая, разбитая... Из меня выколотили все... даже гордость.

– В чем же ты подозреваешь? – Стефа еще удобнее уселась в кресле. «Это интересно, интересно. Вот порасскажу!» – думала она и, как собачка, смотрела Стеше в глаза.

– Мне почему-то запали в память его часы.

– Ага! Ну, вот, я тебе говорила! – Стефа даже подскочила в кресле.

И Стеша рассказала. Еще тогда, перед отъездом Кирилла в Москву, она спросила его про часы, он ей ответил, что отдал часы в починку тому самому мастеру, которому они всегда отдавали. И дня два тому назад Стеша, чтоб сделать хорошее для Кирилла, пошла за часами. Мастер ответил, что у него часов Кирилла нет. Тогда она решила, что Кирилл отнес их другому мастеру, и грустная вернулась домой.

– Но, когда я вернулась домой, вдруг вспомнила, что я такие же часы видела на столике в спальне у Фени.

– Ага! Ну, вот видишь, я тебе говорила! – обрадованно вскрикнула Стефа.

Стеша не слышала ее.

– И мне стало страшно. Я вся затряслась. Кинулась к телефону. И, все еще не веря, ничего не понимая, я просто хотела поговорить с Феней, попросить ее, чтоб она пришла ко мне. Ведь она наша... понимаешь, наша... Ну, я ее считала такой, своей... совсем своей, и Кириллу я рекомендовала ее взять в помощники... Я подошла к телефону и хотела с ней поговорить, посоветоваться, но почему-то грубо крикнула: «Часы Кирилла у тебя! Я знаю». И Феня мне все рассказала.

– И хвасталась, хвасталась?

– Да нет... Она сама сломилась, заплакала.

– Сучонка. Холостячка. Вот они, новые-то теории... У других мужей отбивать. Ну, теперь все понятно. – Стефа встала и прошлась по комнате. – А ты вот что, махни на них рукой и заведи себе кобелька, честное коммунистическое.

Стеша смолкла и только тут поняла, что перед ней Стефа, та самая «баба-наказание», которая завтра же все разнесет по заводу. Стеша смолкла, подобралась и даже деланно оживилась.

– Рога. Рога наставь Кириллу. Хочешь, помогу? У меня есть один такой –



мировой парень. Хочешь, сегодня же приведу к тебе, честное коммунистическое.

– Нет, нет, – Стеша передернулась от омерзения. – Ты не понимаешь меня, Феня – та бы поняла.

– О да! Она бы поняла. Она бы поняла! – с обидой закричала Стефа. – Она бы поняла, а я не поняла. Поняла так, что мужа отбила. Сука она – вот кто...

Стеша снова заволновалась.

– Сейчас должен приехать Кирилл. Я послала ему телеграмму, что между нами все кончено... я все знаю. Он не дождался конца сессии и вылетел сюда. Как же, – с грустью добавила она, – вдруг все узнают, что Кирилла Ждаркина покинула жена... а может быть, даже застрелилась. Теперь он начнет уговаривать меня... на время отошлет от себя Феню... Но ведь прорвалось... и это теперь будет повторяться... От другой ко мне...

– Сучка. Ей башку отвернуть. – Эти слова Стефы снова привели Стешу в себя.

Под окнами остановилась машина. Из нее вышел Кирилл.

– Ну, вот, – сказала Стефа. – Я смоюсь.

В дверях она столкнулась с Кириллом. Он похудел, оброс. Не замечая ее, сторбленный и прибитый, он направился к Стеше.

– С приездом, товарищ Ждаркин, – сказала Стефа и вышла из кабинета.

– У меня нет слов, – начал он и хотел было взять Стешу за руку.

– Подлец! – Стеша рванула руку и отошла в сторону.

– Даже такое слово мало для меня. Но мне потому и тяжело, что я не подлец. – Кирилл, очевидно, говорил то, что он продумал, когда летел из Москвы на аэроплане, и то, что он говорил себе в пути, казалось ему стройным, убедительным и сильным, а тут все это вдруг разлетелось, стало жалким и даже пошловатым. Он остановился, посмотрел на Стешу в черном платье, в том платье, которое он ей когда-то подарил, на ее лицо – суровое и строгое, такое же, как оно было у нее, когда она вела машину, в ее глаза – зеленоватые, большие, с длинными и мягкими ресницами. Посмотрев на нее, он понял – она от него не уходит, а давно ушла, и ему стало невыносимо больно. – Ведь ты же знаешь, что я не подлец... не развратник... Я завален делами, я, наконец, устал, – сбился он и, покраснев от стыда, упал перед ней на колени и сказал просто: – Ну, прости меня.

Стеша дрогнула. Она увидела перед собой старого Кирилла, Кирилла, который уже не «чужой», которого она любила и любит... И она чуть было не сдалась, но тут же в ней всколыхнулось все женское, оскорбленное, и это оскорбленное, измученное вытеснило из нее любовь к нему, и она грубо сказала:

– Валяешься! Валяешься, как любовник перед купчихой.

Кирилл вскочил. Он долго ходил по кабинету, затем остановился перед ней.

– Я тебя люблю... – и снова помолчал, думая: «Что же мне делать?» И он выложил перед ней все.

Что ж плохого сделал он? Сделал ли он какое-то общественное преступление?

Пострадал ли кто-то при этом? Да, пострадала Стеша. Но кто виноват в том, что все свершилось так? Разве человек волен в своих чувствах? Да, Кирилл не раз рвал себя на части, он не хотел, чтобы у него пропало чувство к Стеше. И не виновата ли она сама в том, что у него пропало тогда чувство к ней.

– Ведь ты же знаешь, – говорил он, – еще когда ты была девушкой, я любил тебя. Да, я, как глупый деревенский болван, целыми ночами простаивал на углу, неподалеку от избы твоего отца, и все мечтал увидеть тебя. И вот тогда ты ушла за Яшкой. И я кинулся головой вниз, женился на Зинке Плакущевой. И разве не ради тебя я потом покинул Ульку... – И он еще долго говорил, он вел ее по воспоминаниям, и воспоминания эти были красочны, радостны и бодры. – Вот ведь, – говорил он, – когда ты жила с Яшкой, ты любила его.

– Да, любила! – произнесла она, уже чувствуя, что поддается на уговоры, что уже соглашается с ним.

– И меня любила?

– Да, и тебя. Тебя больше. Я на тебя украдкой молилась. Я еще помню, когда мы на себе пахали на «Брусках», ты шел с поля, и я долго смотрела тебе вслед... Ты шел босой, и одна штанина у тебя была засучена.

– Ну, вот, значит можно двоих любить.

– Да, – раздумчиво говорила Стеша, – я все это понимаю. И я вовсе не обижаюсь на Феню.

– То, что мы ревнуем, это, как бы тебе сказать, следы прошлого.

Стеша подхватила, нос горечью, с досадой:

– Да, я понимаю. Уж не такая я глупая. Понимаю, что это следы прошлого, но они давят меня, я задыхаюсь... – И она стала говорить быстро, волнуясь, точно боясь, что слова у нее сейчас же пропадут, что она еще не успеет все высказать, как упадет. – Ты вот сослался на Яшку. А Яшка! Но ведь это только первые годы. А потом я любила только тебя одного, я жила только тобой одним... и даже сына рожала с болью, с муками, и это только для тебя... Я все бросила – работу, общество, и это только для тебя. А теперь вот она, расплата. Я просто пустышка около тебя.

До этого Кирилл думал только о себе, о том, как ему склонить Стешу, отвести ее от того поступка, на который она решилась, как убедить ее в том, что он любит ее, и все то, что было с Феней, – простая случайность, «озорство», как он определил. Но теперь он увидел, что своим поступком нанес Стеше неизгладимое оскорбление. И тут же вспомнил: она действительно рожала Кирилла малого с болью исключительно потому, что любила Кирилла, она всегда была готова пожертвовать собою ради него. Понял все это, понял и то, что он любит крепко, искренне и весь – только ее, Стешу, что ее уход сразит его, – он кинулся к ней, обнял ее, зашептал:

– Стешка! Славная моя Стешка!

– Ой, не трогай меня! Не трогай! – Стеша вырвалась из его объятий и, подбежав к столу, выхватила из ящика револьвер. – Не трогай! Мне противно. Ой!

Ну, пусти. Я позову людей...

Но Кирилл обезумел. Он ничего не слышал. Он не замечал даже того, как с грохотом летели стулья, как выдернулся задетый его ногой шнур от лампы, как потухла лампа и в кабинете наступила тьма. Он обнял Стешу и, приподняв, кинул на диван, а она, барахтаясь на диване, молила его, не в силах сопротивляться его могучей физической силе:

– Кирилл! Родной! Не надо-о! Ой, не надо! Ты подлец, Кирилл! Ты зверь, – чуть не задыхаясь, захлебываясь, шептала она и вдруг выкрикнула: – Насилуешь! Кирилл!.. Кирилка!.. Кирилка! – звала она сына и через несколько секунд смолкла.

...Кирилл очнулся. Вставил штепсель. Растрепанный, остановился перед Стешей. И тут вдруг он понял, что совершил то самое, чего никогда не прощают женщины. И, поняв это, он повалился рядом со Стешей, выдавливая из себя:

– Омерзительно!..

Он так и заснул в ногах у Стеши. Он спал крепким, богатырским сном, как всегда спят измотанные здоровяки, и во сне что-то бормотал.

Стеша пришла в себя позже, когда ночь уже гуляла над заводом. В кабинете было тихо. Открыта форточка. Значит, тут была Аннушка. Стеша поднялась с дивана, посмотрела на Кирилла – огромного, растрепанного, и первое ее движение было погладить его голову, но она оторвала руку, точно прикоснулась к чему-то мерзкому, и, подойдя к столу, написала:

«Кирилл. Милый, славный Кирилл... тот, которого я знала раньше. Я уехала в Широкий Буерак – к маме. Начну все сначала. Зачем ты это сделал? Может быть, когда-нибудь встретимся. А теперь прощай и не думай приезжать ко мне. Я тебя выгоню так же, как я когда-то выгнала Яшку».

И она уехала.

## 5

Стеша села в жесткий вагон. Она могла бы сесть и в мягкий, но боялась встретиться там со знакомыми Кирилла, а в это утро ей не хотелось говорить не только с Кириллом, но и с кем бы то ни было из знакомых: все люди, которые окружали ее на заводе, в это утро для нее стали не только далекими, но и противными. Ей казалось, все знакомые давно уже знали о связи Кирилла с Феней и часто потешались над Стешей за ее спиной. Да, да, потешались, издевались, а она – ой, какая она была глупая! – она ничего не подозревала. Она преклонялась перед ним, оберегала его – и все это в те дни, когда он ходил к Фене и ночевал у нее. А вчера? Что он сделал вчера!.. Она могла бы ему простить все, даже то, что он оставил у Фени в спальне свои часы и не сказал сразу же о своем чувстве к Фене. Да, да, она могла бы простить ему все. Что ж, ведь в чувстве своем никто не волен. Нельзя же любить или ненавидеть по заказу. И ничего такого скверного нет в том, что Кирилл полюбил Феню. В этом только обида для Стеши, но ничего

предосудительного. Да, она могла бы простить ему все, но простить то оскорбление, какое он нанес ей вчера у себя в кабинете, она не могла. Вот и теперь она старается вызвать в памяти того Кирилла, который был рядом с ней, когда она рожала малого Кирилла... и не может: перед ней стоит вчерашний Кирилл, обезумевший, с раскрытой пастью, зверь.

– Ненавижу. Ненавижу, – прошептала она и вошла в вагон. Она не вошла, она вбежала в вагон: ей хотелось как можно скорее покинуть все места, напоминающие его – Кирилла, ее – Феню, ее – Стефу, которая теперь, очевидно, бегаёт по знакомым и разносит все то, что так доверчиво передала ей Стеша.

Вагон был переполнен колхозниками, рабочими, женами, едущими с побывки от мужей, ребяташками. Вагон гудел людским говором, руганью, дымил махоркой, а на полу повсюду валялись клочки рваных газет, блестели ошметки грязи, плевки. Первое движение Стеша было – все прибрать, вычистить. И она невольно вспомнила свою чистую, уютную, в шесть комнат квартиру, две кровати под карельскую березу, дубовый тяжелый комод, гардины на окнах, трюмо, кабинет Кирилла.

Она крепко сжала в руках малого Кирилла и присела рядом с незнакомой женщиной... и ее что-то дернуло, что-то потянуло назад. Назад! Бежать назад, упасть на колени перед Кириллом и просить, молить его о том, чтоб он все забыл, чтоб вернулся к ней, стал бы прежним Кириллом... и тогда она... Ах, ей ничего не надо. Она готова на все длинные годы посвятить себя Кириллу, его сыну, Аннушке... и если он захочет, она будет еще рожать – одного, другого, третьего. Сколько он хочет.

Стеша сорвалась с места, кинулась к выходу, но поезд дрогнул и тронулся.

«Кирилл, милый, прощай!» – мысленно прокричала она и долго, пока поезд не перевалил через гору, стояла у окна.

– А у меня Миколай механиком на заводе, – заговорила женщина. – Пра. Чудно: то лапти ковырял, а теперь механик.

– Вот и подберет себе там кралю, а тебя по загревку, – послышался голос с верхней полки.

– Ну нет. Ему скоро квартиру дадут, и я вот со всем этим гнездом, – она показала на своих двух дочурок, – к нему. Принимай.

Стеша долго всматривалась в женщину – веснушчатую, широкоскулую, с большими голубыми глазами, ядреную – и старалась представить себе ее Миколая.

«Вот ведь живут, – думала она, – и ничего другого не желают, кроме как новую квартиру. А у нас все было, а вышло как-то...»

– Куда ехать собралась? – обратилась к ней женщина. Женщине было весело, ей, очевидно, просто хотелось поговорить. – А парень-то какой растет, – и погладила по голове Кирилла малого.

Кирилл малый нахмурился и сбросил с головы ее руку.

– У-ух, сердитый. А у меня для тебя невеста есть. – Женщина подвела к Кириллу малому свою старшую дочурку со вздернутым носом и с такой же вздернутой косичкой. – Вот, как раз по тебе.

Кирилл малый удивленно посмотрел на мать.

– А он еще ничего не понимает, – засмеялась Стеша и привлекла девчущку к себе.

– Да ну? А у нас уже выбирают. Машка, – обратилась женщина к своей дочурке, – ты кого женихом себе выбрала? А? Чай, скажи.

– Паску, – ответила та. – Паску, – повторила она, не выговаривая: «Пашку».

В вагоне засмеялись.

Женщина нарочито грубо заворчала:

– Псовка! Ты что ж это меня не спросила? Может, я и не хочу твоего Пашку.

– А ты меня сплассывала? – Маша нахмурилась и, как сурок, посмотрела во все стороны, не понимая, чему смеются.

– Ишь ты! Это отец ее этому научил. «А ты меня сплассывала». Вот отхлестать тебя, и будешь знать, как без матери... – Женщина ворчала, но глаза у нее горели гордостью за дочь.

«Вот. Вот. Как все просто, – думала Стеша. – И жить надо вот так же просто... просто и по-своему. Внизу, но по-своему. Надеть на себя вот такое длинное, широкое платье, причесывать голову так же, как причесывает она, вытирать губы ладонью...» Но тут Стеша поняла, что жить так, как живет эта женщина, она уже не сможет: она уже чем-то заражена, что-то в ней есть другое, крепко вколоченное, что ничем не выбьешь, не вытряхнешь из себя.

И когда она вышла из вагона и перед ней открылись ее родные места, все ее прошлое – радостное, как радостное весеннее солнечное утро, и тяжелое, пасмурное, грязное, как осенняя улица, – она отошла от станции в лес, присела на старый пенек и, не в силах сдержать себя, зарыдала.

Кирилл малый посмотрел на нее. В его глазах сначала блеснуло удивление, потом промелькнул испуг. Кирилл малый присел рядом с матерью, заглянул ей в лицо. По лицу катились слезы, но оно улыбалось, и это сбilo с толку Кирилла малого.

– Не надо-о! – закричал он и весь затрепетал.

– Я шучу. Шучу, Кирюша. – Стеша посадила его себе на плечи и пошла дорогой по направлению к «Брускам», туда, в парк, к домику с башенкой, где когда-то умер ее отец и где теперь живет ее мать.

Она не была в Широком Буераке года четыре.

Как тут все изменилось!

За околицей Широкого Буерака не стало гумен, и на их месте рассажены молодой сад. А улицы все такие же – извилистые, с загибами, с выступами. Только... Что это такое? Бурдюшку будто кто-то разворочал, разгромил: избы с

ободранными крышами, с поломанными окнами, с провалами в стенках. Да не только Бурдяшка. А вон и бывший дом Плакущева как-то чудно выглядит: нет ни сараев, ни конюшен, и даже ворота сняты. Зато на конце села построены длинные, с высоким тыном, скотные дворы. Часть двора покрыта черепицей. Видимо, сюда перетасили черепицу с сараев Плакущева. А в полях всюду лежат кучи навоза. Вот и столбик. Надпись: «Участок седьмой бригады. Бригадир Никита Семенович Гурьянов». На участке кое-где на проталинах выглядывает рыже-зеленая рожь.

«Даже Никита Гурьянов утвердил себя», – с завистью подумала она. Такая зависть у нее появилась только что, и она пробудила в Стеше другие думы: «Сяду за руль, – решила Стеша. – Пойду к Захару Катаеву и попрошу работу шофера... и тогда посмотрим». – Она прибавила шагу и, минуя Широкий Буерак, оглябая его, направилась на «Бруски».

Вот и «Бруски».

Какая тут тишина! Ни грохота экскаваторов, ни рева машин, ни вздохов водокачек, ни городского гула... только тающий снег пыхтит, шуршит да две вороны, сидя на дубе в парке, каркают, раздирают глотку. А вот и парк. Он будто чуточку постарел, но тропы те же – те же родные тропы, по которым не раз хаживала Стеша туда, под обрыв, на берег Волги. Под обрыв, в густые заросли ивняка.

Вот домик в парке – домик с башенкой; его построили по настоянию Кирилла. Вон скотные дворы, длинные, с большими окнами. Они строились тоже по проекту Кирилла. А вон – дальше, перед Широким Буераком, в долине, где когда-то широковцы сажали картошку, тыкву, огурцы, раскинулся сад в девяносто два гектара. Сад рассажен тоже под напором Кирилла. А дальше, за Широким Буераком – МТС и город Чапаевск. Городок тоже выстроен при Кирилле. И там, в этом городке, есть квартира. Тогда она была холостяцкой квартирой Кирилла Ждаркина.

«Я туда сама увела его... И куда ни оглянешься, – всюду он. А я? Где я?» – думала Стеша. Она резко повернулась к домику с башенкой. В эту секунду она поняла одну простую истину: во всем, что свершилось вчера, виновата только она сама. «Если ты добровольно соглашаешься быть сивым меринком, то тебя непременно сделают ослом», – вспомнила она поговорку, придуманную Кириллом, и поняла: да, она сама добровольно согласилась быть сивым меринком, и ее превратили в осла. Ведь когда она пришла вон туда – на МТС, в холостяцкую квартиру Кирилла, Кирилл относился к ней бережно, ставил ее наравне с собой. Он не только любил, но и уважал ее, прислушивался к ней всегда, говоря с ней, боялся, как бы случайно не оскорбить ее каким-либо неудачным словом, движением, поступком. И все это потому, что она тогда была шофером: не просто Стеша, а шофер Стеша Огнева. Но потом все это стерлось – и вот Стеша очутилась одна на старом месте, как погорелец на своем пепелище.

«Пойду к Захару», – решила она и, войдя в домик, нарочито громко и весело крикнула:

– Мама, принимай гостей!

– Ты, дочка! Вот не ждала! Ты что... в гости? – Мать хотела было заплакать, предчувствуя какую-то беду, но увидела Стешу веселой, заулыбалась. – Надолго ли?

– Навсегда, мама.

Мать поняла, что у Стеши что-то такое произошло непоправимое, и сердце у нее сжалось: «Родненькая, опять, видно, разошлась». И, чтоб скрыть свое волнение, она подхватила на руки Кирилла малого.

– У-у-у, какой пузан стал! Я ведь его еще не видела. – Она хотела сказать: «Весь в отца», – но промолчала.

– Я не пузан. Пузан – буржуй, – отверг Кирилл малый и, сойдя с рук бабушки на пол, спросил: – Ты кто есть?

– Я бабушка.

– Вижу, не дедушка. А кто есть? – Кирилл малый прошелся по комнате, заложив руки на поясницу, подражая Кириллу большому. – Ну, кто ты есть?

Бабушка растерянно посмотрела на Стешу. Стеша хотела было объясниться за нее, но Кирилл малый прикрикнул:

– Пускай сама. Сама. Ну, кто ты есть?

– Мама твоей маме. А тебе, стало быть, бабушка.

– Ага. Ну, тогда я тебя буду любить. Ладно? – и повел бабушку из комнаты на волю. – Пойдем смотреть все.

Часа через два, когда они обошли скотные дворы, конюшни, побывали на берегу Волги, перезнакомились с ребятишками, со щенятами Дамки, причем Дамка несколько раз лизнула Кирилла малого в нос, – они вернулись в домик и застали Стешу в новом костюме; на ней были – куртка цвета хаки, такая же юбка и мужские сапоги. Вид у Стеши стал чужеватый, особенно для Кирилла малого, и он, вначале не признав ее, попятился, затем со всех ног кинулся к ней:

– Мама! Ты в Красную Армию? А я?

– Нет, мальчик, я бригадир тракторной бригады.

Стеша только что вернулась от Захара Катаева. Захар принял ее в своем кабинете. Он деланно удивился ее приходу, но выдал себя тем, что забыл убрать со стола телеграмму от Кирилла Ждаркина, в которой было сказано: «Приедет Стеша, устрой для нее все. Кирилл». Он спохватился, убрал телеграмму, но Стеша ее уже прочла. «Опять он», – неприязненно подумала она и хотела было подняться и уйти, но Захар задержал ее и, глядя ей в глаза, проговорил:

– Ну, впрямую давай. Что у вас вышло, не знаю... Но ведь я и тебя уважаю и его уважаю. В своем вы сами разберетесь. А теперь – что хочешь?

Стеша сказала, что она хочет снова сесть за руль, быть шофером.

– Шофер – что? Шофер – он шофер и есть. А ты вот что, – это и тебе и мне лафа будет, – валяй-ка бригадиром тракторной бригады. Девочек подберем золотых. – И продолжая уже так, будто Стеша дала свое согласие: – Экое счастье

привалило: ты ж на поле выедешь – для меня половина дела сделана.

– Но я же не знаю трактор, – возразила Стеша.

– Автомобиль знаешь? А трактор ему родной брат. Я не знал и то узнал, – опроверг Захар.

Получив новый костюм, Стеша, выпроводив Захара, тут же в кабинете переоделась. Переодевалась она торопливо, отгоняя от себя страх, сомнение в том, справится ли она с бригадой. Она чувствовала себя так, как чувствует себя человек, за которым гонятся по пятам, а он стоит перед пропастью и, не думая даже, закрыв глаза, собирается кинуться, чтобы перемахнуть пропасть. В таком состоянии она и вышла от Захара. Но на «Бруски» направилась уж не околицей, а большой дорогой. И там, где они когда-то вместе с отцом и с Давыдкой Пановым тянули лямками плуг, свернула в сторону, подошла к горбатеньким березкам и, видя, что около нее никого нет, припала к земле.

«Земля. Ты меня и излечишь. Начну все сначала – работать, жить и...» – она хотела сказать: «и любить», но слово это застряло.

– Я же люблю тебя. Тебя, тебя одного, Кирилл, люблю, – прошептала она. – Но... – И она вся содрогнулась, вспомнив вчерашний вечер, и, поднявшись с земли, пошла на «Бруски» к домику.

Сквозь прогалы – дорожки парка – виднелась Волга. Она, могучая, расхлестнулась вширь и вдаль, колыхаясь, будто норовя привстать.

## Звено шестое

### 1

Шла весна...

Реки вздулись, сбросили с себя посиневший лед и разлились, затопив ямины, долины, а земля набухла, как набухает роженица-мать. Земля по ночам шипела, стонала, будто плача о чем-то потерянном, невозвратном. А наутро, в зори, она горела переливами красок и щебетала, как щебечет сытая воробьиная стая. Нет. Она не щебетала. Она горланила, трубила, будто табуны лосей, скликая все живое на широкие просторы, к синеющим опушкам, под березки с плаксивыми сережками... И на конюшнях ржали кони, у них вздрагивали красно-кровавые ноздри, и морды поворачивались к маткам – широкоспинным, с лоснящимися развалами. Бык же Мишка возвещал приход весны долгим, пронзительным криком. Уставя морду в землю, вытянув шею, он мычал, переходя с баса на резкий дискант, и зов его потрясал молодых коров: они тревожно переминались в стойлах и рвались на волю. Но больше всех удивила рекордистка Милка: она принесла двух телят – белолобого, с черными навывкате глазами, как у галки, бычка и шуструю, узкомордую телочку. Тогда на скотном дворе появилась



надпись: «Милка» побилa мировой рекорд: дала удой в шесть тысяч девятьсот один литр и двух телят. Следуйте ее примеру». Кто должен следовать ее примеру, об этом сказано не было, но все знали, что Нюрку, жену Гришки Звенкина, ожидают похвала и подарки.

Но вскоре стряслось что-то невероятное: бабы начали рожать из двора во двор, точно по команде, и секретарь сельсовета – несменяемый Манафа – не успевал записывать новорожденных в толстую, почерневшую от времени книгу.

– Упарился, прямо-таки упарился, – жаловался он, хотя и ему все это было приятно: почти в каждый дом, где появлялся новорожденный, он ходил в гости.

Вот такая это была весна.

До этого произошел ряд событий – больших и малых, чудных и веселых, нелепых и удивительных.

Никита Гурьянов неожиданно и на удивление всем женился на Анчурке Кудеяровой. Было это так. Когда Никита вернулся из Полдомасова, «где хлебнул досыта горя-беды», и вступил в колхоз, то поселился в собственном доме – огромном, пустом, с тенетами на потолке. Одному ему было тут зябко, скучно, неуютно, но он вовсе и не думал – кого бы привести в дом.

«Какая пойдет? А ежели и пойдет, то придет такая шишига, что потом живым в могилку забирайся от нее», – так он рассуждал и почти не жил у себя дома: жил больше в поле.

И вот однажды, случайно, осенью в жаркий бабий день, он шел от стана мимо птицефермы. В эту минуту со двора птицефермы выбежала Анчурка Кудеярова. Знаете, какая она? Высокая, шагистая: когда идет, то юбка метет по земле и поднимает такую пыль, что кажется – мчится автомобиль. Разглядишь, а это идет Анчурка Кудеярова. И тут она шагала еще быстрее обычного, шагала, держа в руках белого петуха, причитая на все поле:

– Родненький ты мой! Да что же это с тобой? Ты погодь, погодь умирать-то, родненький мой... Я вот тебя к фельдшеру... Погодь! Родненький мой!

Петушина беда растревожила и Никиту. Он кинулся наперерез Анчурке, выхватил из ее рук петуха и, рассматривая, заторопился:

– Да что же такое может быть с петей? А ну-ка, ну-ка... Я его обгляжу. – И, чтобы испытать Анчурку, пробормотал: – Да сколько у тебя кур-то?.

– Три тысячи, – ответила Анчурка, внимательно следя за его огрубевшими пальцами.

– Три? А один занемог – ты в рев? Да твои бы были. А то ведь не твои, колхозные.

Ну, этого Анчурка перенести не могла. Она рванула из рук Никиты петуха и заорала:

– Дай-ка петуха-то! Дай-ка! Твои, не твои. Все мои!

– Ух, ух, какая шальная. Может, это я тебя для биографии ковыряю. Нонче,

знаешь, все с анкетами, – и, несмотря на то что пальцы у него не сгибались, он осторожно ощупал петуха и нашел у него под языком занозу. Вытащив занозу, Никита показал ее Анчурке, улыбаясь, довольный собой, сказал: – Вишь ты, штука какая, – и, подойдя к проволочной решетке, перекинул петуха во двор.

Петух, перелетев через проволочный забор, встрепенулся и кинулся к курам. Вот он подбежал к одной курице, обошел ее кругом, треща крылом о ногу, и тут же кинулся в бой с таким же белым петухом.

Анчурка и Никита стояли у решетки, смотрели на петуха и оба улыбались.

– То умирал, то драться полез, – чуть помолчав, многозначительно промолвил Никита.

– Чего ты? – еще не придя в себя, переспросила Анчурка.

– Вот что есть баба: со смертного одра петух поднялся и, гляди чего, козырем, козырем около курицы... Да еще дерется. Вот, дескать, герой какой я. Да-а-а.

Наговорив кучу подобного про петуха и кур, Никита посмотрел как-то особенно в глаза Анчурке. Ей было уже под сорок пять, но выглядела она гораздо моложе, а с точки зрения Никиты Гурьянова – совсем моложаво. У нее даже не так заметны морщинки под глазами. Передних трех зубов, правда, совсем нет, и когда она говорит, то обязательно ладошкой прикрывает рот, будто вытирает губы. Да ведь Никита Гурьянов меньше всего обращал внимания на какие-то там морщинки под глазами да еще на зубы. Зубы – что! Крепкие зубы должны быть у лошади. Плохие зубы – жрать не будет. Поэтому у лошади зубы должны быть длинные, твердые и еще лучше, если они желтые, смоляные. А бабе на кой пес зубы. Солому, что ль, жевать. Кашу и без зубов поест. Так рассуждал Никита, ни от кого не тая своих убеждений. И теперь он видел перед собой крупную женщину – верно, в годах, но еще совсем свежую телом: по крайней мере у нее на щеках играет румянец, а спина широкая, будто подмосток, и, судя по отношению ее к петуху, женщина она не глупая и хозяйственная. Верно и то: лет двадцать тому назад, когда ей было около двадцати пяти, а ему около сорока, она, пожалуй, и не взглянула бы на него... ко теперь многое изменилось: ей сорок пять, ему шестьдесят, значит и возраст подходящий.

– Куры, бают, и те не врозь живут. А ты, поди-ка, сколько уж лет без мужика. Я так баю, скушно. А? – сказал он под конец.

– Чего это ты городишь? – Анчурка не сразу нашлась и нарочито грубо, по-мужичьи, прикрикнула на Никиту, но в глазах у нее блеснул огонек. Может, этого совсем и не было, но Никите так показалось и так ему хотелось.

– А ты, чай, не того... Чай, не уroda ты какая, а – баба, во! И не на воровство я тебя на какое тяну. Богом и то такое дело разрешено. Марею свою и ту на такое дело послал. Ангелы к ней слетели. Сам-то, видно, по старости лет не одолел, так ангелов послал. – Никита засмеялся и со всей силой шлепнул Анчурку пониже спины, шлепнул так, что она, «баба-столб», и то перевернулась.

«Ага, – возрадовался он, – пускай мою мужнину силу почует», – и, подступив к ней вплотную, шепнул:

– Вечерком прибегай-ка.

Анчурка вскинула большую ладонь:

– Я вот как брякну. Ишь ты! «Вечерком прибегай-ка». За петуха спасибо, а языком не трепли: неровен час, обрежут, – и пошла – сильная, гордая, недоступная. По, входя в калитку, повернулась, глянула на Никиту – в глазах блеснули искорки. Этих искорок Никита в ту минуту не заметил, ему показалось – он в эту минуту постарел еще лет на сорок. И, согнувшись, зашагал прочь от птичника.

А вечером, придя в свою избу, он вдруг увидел все: тенета на потолке, на стенах, пыль на подоконниках, мусор около печки, грязные подушки, мохрястое, свешенное с кровати одеяло. И Никите стало так тоскливо, точно к нему пришли соседи, поставили перед ним гроб и сказали: «Ну, ложись, Никита, черед тебе в могилку». Тогда он выскочил во двор, схватил метлу и, вбежав в избу, стал обметать тенета, но в избе поднялась такая пыль, что Никита закашлялся, открыл окно, отбросил в сторону метлу и сел, глядя вдоль улицы. Во всех избах горели огоньки. Напротив, в избе Захара Катаева, перед окном мельтешили люди.

«Видно, ужинают, – подумал Никита, и ему стало еще горестней. – А мне за стол не с кем сесть. Эх, Анчурка, Анчурка!» Так он сидел до позднего, окончательно решив, что Анчурка к нему не придет, и хотел было, не раздеваясь, прилечь на кровать, как в сенях кто-то стукнул, и вот на пороге появилась она. Она вошла, грохнула сундучком о пол и прикрикнула:

– Эй! Что не поможешь?

Никита подхватил сундучок, затоптался, не зная, куда его поставить, и не зная, что сказать.

– А я и не говорил, чтобы с сундучком, – выпалил он, ставя сундучок под кровать.

– Мало ли что ты говорил. – И, обведя глазами избу, Анчурка вздохнула: – Батюшки! Грязища-то! Тенет-то! А ба-а-а! – и, подоткнув юбку, начала командовать: – А ну, давай воды. Ведро давай.

Никита кинулся во двор, быстро выхватил из колодца ведро воды, глянул на занимающуюся зарю, помотал головой, опять-таки не зная, что сказать, затем ураганно ворвался в избу, поставил ведро с водой перед Анчуркой.

– Тряпку давай. Таз какой есть, – скомандовала она.

Появился и таз.

Анчурка налила в таз воду, и так ловко, что Никита даже крикнул. Затем сунула в воду тряпку и начала мыть стол. Она мыла стол размашисто, лопатки на спине ходили туда-сюда, а Никита топтался около, с восхищением смотрел на ее спину и вдруг выпалил:

– Эх! Дородная какая ты. И пропадала. Да ты не баба. Ты – король. Вот кто...

Анчурка оторвалась от стола, замахнулась на него мокрой тряпкой и, уже по-бабьи шутя, прикрикнула:

– Я вот тряпкой тебя по сопатке, и будет король. Тащи дров.

– Что ж, дров? И это можно. Можно и дров. Для такой не только дров, но и целую избу перетащить можно. – Никита выскочил во двор и, зная, что дров у него нет, схватил топор и сокрушил дубовую стойку под сараем. А вбегая в избу с такими дровами, первый раз в жизни запел тоненьким, нескладным голоском:

Все отдал бы за ласки взоры-ы,  
Лишь ты владела бы мной одна.

Но тут же оборвал: Анчурка выложила из сундучка чистое одеяло, простыню, наволочки, постлала на стол самотканый столешник. Пол подмела. И в избе засветлело.

– И что это какая парша на вас нападает без нас. Прямо беда, – проворчала она.

Никита на это ответил:

– А баба сроду цветком жизни являлась.

И потом, уже лежа вместе с Анчуркой в постели, он, поглаживая своей шершавой рукой ее пышное, загорелое плечо, шептал:

– Эх, дородная ты какая у меня, – и чуть погодя: – Сынка бы нам заиметь. – И первый раз горестно вспомнил о смерти своего сына – тихого Фомы.

– А ты ласковый, не думала я, – прошептала Анчурка.

Никита буркнул, точно злясь на себя:

– Я и сам не думал.

## 2

В эту зиму впервые за свою длинную жизнь Никита не тосковал. В былые времена тоска у него начиналась с того дня, когда земля покрывалась гололедицей, ветлы осыпались и грачиные опустевшие гнезда становились похожими на косматые кавказские папахи, – в такие дни Никита в поле уже не выглядывал, возился во дворе около лошадей, иногда выезжал на базар в Алай, но и там ничего утешительного для себя не находил. Верно, однажды он вместе с Филатом Гусевым, кумом и закадычным другом, пустился в торговлю. По соседним деревенькам скупили кожи, повезли их на базар и хотели продать «из-под полы» на постоялом дворе, чтоб не платить за место на базаре. Тут к ним подсыпался один «стрекулист». Он их уговорил – за определенную цену переправить кожу через Волгу в село Косыри, и там, дескать, он с ними рассчитается. Никита и Филат смекнули, увидели в этом большую выгоду и переправили кожу. А «стрекулист» подвел их к сельскому совету и, как у

бесправных торгашей, отобрал кожу.

– Да еще, пес, две недели в амбаре нас держал.

С тех пор оборвалась торговая карьера Никиты Гурьянова. А вот в эту зиму будто кто-то подгонял, подхлестывал Никиту: с утра и до поздней ночи он пропадал вне дома.

С осени он уверял Анчурку, что вот отпашется и будет сидеть с ней под окошечком, навешать вместе с ней ее птичники с тремя тысячами кур и красногребешковыми петухами.

– Ну! Я петей люблю. Вот как люблю. Отпашусь – и с тобой к петям пойдем, – уверял он Анчурку, но, отпахавшись, метнулся на другое.

В течение десятков лет в Крапивный дол, где растет кудрявая лебеда, где всегда гуляют в праздничные дни девки и ребята, широковцы свозили навоз. Навоз валили прямо с обрыва, неподалеку от церкви. Весной от навоза поднималось зловоние, оно распространялось на всю улицу, душило прихожан, а летом тут кишели миллиарды мух. Они носились, наседали на прохожих тучами – мелкие, с сизыми бочками, и длинные, как трутни. И что ни делали: приезжали врачи, на сходках говорили мужикам, что мухи разносят заразу – тиф, сап, сибирскую язву, оспу, – мужики соглашались с врачами, но навоз все-таки возили на старое место, в овраг у церкви; штрафовал урядник, потом штрафовала милиция; и тут опять мужики соглашались, что делают неладное, а Никита Гурьянов прямо уверял, что «валим дерьмо себе под нос», но сам же первый вез навоз в тот же овраг. А когда его однажды оштрафовали, он развел руками, сказал:

– Пес его знает, как это вышло. Будто и вез я его в другую сторону. Думаю, на гумно себе свезу, а попал туда.

И вот только теперь, отпахавшись, Никита кинулся на навоз в Крапивном долу. Он тайно собрал ночью членов своей бригады и, вооружив их топорами, лопатами, вилами, ломami, скомандовал:

– Валяй, ребята! Валяй без оглядки. А то ментом налетят.

И верно, – утром, как только люди увидели бригаду Никиты Гурьянова на навозе, все кинулись туда же.

– Да что вам раньше-то время, что ль, не было? – ругался Никита. – Мы нашли навоз, а вы на готовенькое. Жаловаться буду. Я могу Михаилу Ивановичу Калинин у письмо послать, – грозил он.

Но ничто не помогало: люди молча разрывали навоз, накладывали его на сани и увозили на поля.

Тогда Никита рявкнул на своих:

– Занимай ширя-я! Ширя-я занимай! Вот дотеля, – и, отбежав несколько метров, он встал на навозе, как столб, заявляя, что дальше никого не пустит.

Через несколько дней – буйных и торопких, как на пожаре, – старый, порыжелый навоз из оврага был вывезен, и в овраге образовался котлован с

черными, обгорелыми стенками.

Но что будешь делать, коль на селе есть такой человек!

– Язва... пес колченогий, – звал его Никита.

Епиха Чанцев – бригадир шестой бригады – и на вид-то коряга какая-то: башка только одна в целости да грудь, а ниже все ведь «изурлочено». Так вот этот Епиха Чанцев от деда Катая узнал, что за околицей, там, где недавно еще стояла рига Плакущева, когда-то были барские скотные дворы. Епиха об этом узнал случайно и совсем недавно. На днях дед Катай рассказал молодежи о том, как на барских конюшнях пороли его деда, а потом и его отца.

– Да мало того – пороли, а вот ежели девка в чем провинится – ее на конюшню, косы ей подстригут – ходи без косы. А в то время коса – все значила.

– А где такие конюшни были? – вмешался Епиха.

– А вон там, баили. – И Катай указал место.

– Ага, – сказал Епиха и ушел от Катая, не дослушав его рассказа.

И ночью на том месте, где когда-то были барские скотные дворы, запылали костры. Люди думали, Епиха оттаивает землю для того, чтоб нарыть ямок для столбов, – видимо, он что-то хочет строить тут, – но через несколько дней все ахнули: бригада Епихи Чанцева сняла верхний толстый слой земли и под землей открыла огромные запасы спрессованного, как торф, перегноя.

– Епиха Чанцев клад открыл, – пронеслось по селу, и люди высыпали на место действия.

Епиха Чанцев, поджав под себя больные ноги, сидел на ярусах смерзшихся пластов земли и гордо посматривал на широковцев. Рядом с ним стоял дед Катай и рассказывал:

– На этом самом месте и были скотные дворы барина Суत्याгина. Сюда и водили народ пороть за всякую провинность... И крови и слез тут немало пролито.

– Ясно дело, немало, – подхватил Никита Гурьянов, – и навозец тут славный, слов нет. Ребята, – он повернулся к своей бригаде, – давайте-ка поможем Епихе. Бегите-ка, тащите лопаты, ломы, да и лошадей впрягайте.

– Чево, чево? Чево ты надумал, Никита Семеныч? – Епиха закинул голову назад и громко рассмеялся.

– Я, мол, надо тебе помочь, – воркующе проговорил Никита.

– Ты себе помогай. А мы... еще не то покажем. Мы доберемся до сердца земляного... и обобьем тебе жучки, Никита Семеныч.

Ну, это уже лишнее. Никита и так ругал себя на чем свет стоит. В самом деле, разве он не мог шевельнуть мозгой и добраться до этого перегноя. Ведь и он от стариков знал, что тут, на этом месте, когда-то были барские скотные дворы.

– Ты вот что, – Никита посуровел и выступил вперед. – Ты вот что. Этот навоз полит кровью, слезой наших отцов, матерей. Граждане товарищи! – Он

повернулся к толпе. – Как есть наши отцы и матери кровь свою пролили на барских конюшнях, то, стало быть, и перегной наш, а не Епихин.

Толпа загудела, рывкнула, согласилась с Никитой, но Епиха будто взвился на пластах смерзшейся земли и звонко кинул.

– Труд заложи! А то на готовенькое. Наши отцы, матери... – передразнил он Никиту. – А вот этого не хочешь, Никита Семеныч? – И Епиха показал увесистый кулак. – Вооружайся, ребята, вооружайся кто чем попало и бей их, сволочей! – обратился Епиха к своей бригаде, и члены его бригады повыскакивали из ям, вооруженные ломами, лопатами, топорами, вилами.

Тогда толпа отступила, вместе с ней отступил и Никита.

Но в эту ночь Никита не ночевал дома. Анчурка проснулась как всегда на заре, проворчала:

– И где только таскается, греховодник, – затем оделась и хотела было затопить печь, как в избу вошел Никита. Он вошел, оглядываясь по сторонам, думая, что Анчурка еще спит, и, увидав ее около печки, забормотал:

– А ты уж на ногах. Да ты что, как кура, чуть свет на ногах. Ты смотри, не надломи себя. Право слово.

Анчурка окинула его взглядом, еще не понимая, почему он так блудливо топчется у порога.

– Где ночь-то таскался? Неугомонный.

– Ночь-то? – Никита смахнул с ног валенки, подошел к умывальнику и, топчась тут, заговорил, давясь смехом: – Ночь-то? Да с церквешки семнадцать возов голубинового помету стащили. Вот добра сколько скопилось.

– Да куды тебе столько навозу. Все уже повыскреб – овраги, конюшни. А, ба-а!

Никита умылся. Затем подошел к зеркальцу и стал расчесывать голову.

– Куды, куды... – И тут же позеленел. – А вон Епишка, пес, что придумал. На старом барском конном дворе землю ковырнул, а под землей... под землей... – и даже задохнулся. – А под землей перегной, что твой пеклеванный хлеб. Вот пес хромуший, – и опять блудливо: – А ноне ночью кто-то перегной у него спер. У Епишки, – и внимательно посмотрел на Анчурку, грозя кому-то расческой. – Вот псы. За такое башку бы свернуть. Пра.

– А тебе-то что, больно забота об этом?

Тогда Никита даже прикрикнул на нее:

– Э-э-э! А еще партейка. Чай, колхоз-то общий.

Эти слова понравились Анчурке, и она, подавая вчерашнюю жареную картошку, сказала:

– На-ка поешь, неугомонный, – и ласково посмотрела на него, все еще, однако, не понимая, почему он так ведет себя.

В эту секунду и вполз в избу Епиха Чанцев. Он вполз разъяренный и, увидав Никиту, гаркнул:

– Ты, рыжий черт, зачем у меня перегной спер?!

Анчурка ахнула:

– А, мамыньки!

А Никита кинулся к Епихе, подхватил его под мышки и, усаживая за стол, не давая ему даже раскрыть рта:

– Да что ты, мила голова! Я буду из-за такого дерьма руки марать и ссору с тобой? А ты вот что! Анчурка, поставь-ка нам самоварчик. Рад я: Епиха в гости ко мне... А может, за влагой послать? Давай пошлем, Епиха. Давай выпьем раз в жизни... – Епиха было заикнулся, но Никита снова налетел на него, как ястреб на воробья. – Давай пошлем. Давай, Епиха. Мы ведь с тобой кто в колхозе? Кто есть еще такой неугомонный? Ты да я. И колхоз у нас общий. Топором его руби – не разрубишь. Пилой его пили – не распилишь... Ты да я... Я да ты... Я бы для тебя... – и оборвал.

В избу вошел Гришка Звенкин и, отряхивая навоз с коленки, сказал:

– Нашли, Епиха. Навоз нашли, – и (Варежкой махнул в сторону Никиты Гурьянова. – На поле его бригады.

Никита вдруг как-то весь осел, губы у него отвисли, сам он весь словно поглупел.

– Да не может того быть, – сказал он. – Тут, видно, обмишулка какая-то вышла.

– Я вот те дам по башке, и будет обмишулка. – Епиха ерзанул со скамейки и, уползая к двери, прокричал: – Ну и я у тебя сопру. Вот увидишь, сопру.

– Сопри-ка. А я уж спер, – кинул ему вслед Никита и, потирая руки, так же блудливо посмотрел на Гришку Звенкина.

– Зря, – сказал Гришка. – Зря такое. – Он еще что-то было хотел сказать, но, заслышав, как с улицы понесся гвалт, выскочил из избы.

Никита кинулся к окну.

В улице шла драка: бригада Епихи Чанцева метнулась на бригаду Никиты Гурьянова. И тогда Никита, выкрикивая: «Ай-яй-яй!» – схватил с печки валенки, накинул полушубок, и Анчурка даже ничего не успела ему сказать, как он вылетел на улицу. Анчурка тоже кинулась к окну, ахнула:

– Батюшки! Убьют! Убьют! – Затем, накинув на себя куртку, она хотела было выбежать на улицу и приостановить драку, как в избу влетел Никита, зажимая щеку.

– Вот псы! Вот так псы!

– Никита, – сказала Анчурка. – Это ты зря... с навозом-то.

Этого Никита не ждал, чтобы и Анчурка упрекнула его, и он заорал на нее:

– Да ты что сроду в мои дела лезешь? Я ведь к твоим курям не лезу.



– А я лезу: и куры мои и посев мой.

Это, конечно, было уже лишнее, и Никита взревел:

– А-а, и посев твой?... Ну и паши, паши. А я к курицам пойду... Ти-ти-ти!  
Цып-цып-цып!

– А я к Захару Вавилычу.

– Нет, не пойдешь. Ты кто мне – жена аль только загс?

– Жена, а не подстилка. – И Анчурка, отстранив Никиту, пошла в дверь, столкнувшись тут с Митькой Спириным.

Никита, увидя Митьку, кинулся во вторую комнату и, не раздеваясь, лег на постель, закрывшись занавеской. А Митька затоптался перед Анчуркой, дразня ее:

– Что, своровал муженек-то? Ой, стыдобушка!

– Это твой дух в нем проснулся, – кинула ему Анчурка.

А Митька ей вдогонку:

– А твой! Твой?... Нет, они, пальцы-то, сроду вот куда сгинаются, – и сложил пальцы в кулак, – а чтобы обратно – нет. – Он заходил по избе, веселый, крикливый. – А-а-а! Полупцевались. Епешка Чанцев Никиту Гурьянова в кровь измолотил, – затем, заглянув во вторую комнату, крикнул: – Ну, Никита! А нет ли у тебя чего на утильсырье? – И повалился на скамейку, хохоча, но тут же вскочил, глянул в окно. – Ой! Власти идут, – и скрылся за печкой.

В избу вошел Захар Катаев. Он без шапки, в одной рубашке. За ним Анчурка, Гришка Звенкин, колхозницы и эта тут – Елька, бывшая жена Ильи Гурьянова. Она недавно вернулась с Урала, вступила в колхоз и ни разу еще ласково не посмотрела на Никиту.

Никита сначала хотел было притвориться спящим, но не выдержал, вскочил и затоптался перед Захаром Катаевым:

– А-а-а! Захар Вавилыч. В гости ко мне? Я и то думаю, чего это давно Захар Вавилыч ко мне не заглянет.

Захар Катаев прошел мимо, даже руки не подал, сел за стол и зло проговорил, указывая на людей:

– Ну, Никита Семеныч, видишь дела рук своих?

Никита опять поглупел, губы у него отвисли:

– А я что-то ничего не пойму. Я ведь это... некультурный... в небо хворостина.

– Брось притворяться. Зачем навоз у Епихи украл?

– Украл? Вот те на! Да ведь и не для себя я...

Но тут выступила Елька. Вот еще – вертихвостка.

– А если бы для себя, то милиция бы к тебе пришла... Ишь хахаль.

И наступила тишина.

Тогда кто-то из бригады Никиты нарушил тишину:

– А он караулил бы, Епиха-то. Навоз-то. Караулил бы.

Никита подхватил:

– Караулить бы надо. А то – накопал, бросил, а сам на печку. – И сжался.

Все на него глянули зло, а Захар Катаев спросил:

– От кого караулить? Что, жулики, что ль, у нас в колхозе?

И тут же опять эта самая Елька – заноза:

– Это он болтался где-то пять лет с жуликами, вот ему и кажется – все жулики.

– Елька! – завизжал на нее Никита. – Тебе бы молчать... Вот что, молчать... Молчать, говорю! Знаем ведь, норовишь к Епихе в постель. Знаем! – Никита понимал, что этого ему не надо было делать, но кричал, уже сознавая, что катится под гору – в пропасть. И он очнулся, когда из-за стола поднялся Захар Катаев.

– Что ж, – проговорил Захар. – Червяк!.. В душе червяк. Вот так бывает: яблочко – снаружи привлекательное, а разломи – внутри червяк сидит. Имя этому червяку имеется – собственник. Душить его надо, червяка такого, не то он на других перекинется... А мы ведь не за то боролись... Что ж, я Никиту Семеныча из сердца вырываю... Со слезами, а говорю – исключить надобно из колхоза, чтобы другим повадки не было, – и сел, тяжело, грузно, будто его кто пришиб.

Люди некоторое время молчали. Потом кто-то проговорил: «Да, исключить». И снова еще кто-то: «Исключить».

И наступила томительная тишина.

Никита улыбнулся, предполагая, что Захар Катаев шутит, и посмотрел в одну сторону на людей – люди от него отвернулись. Тогда он посмотрел в другую – и там люди от него отвернулись. Никита повел глаза – и куда бы он ни смотрел, люди всюду отворачивались, как бы стыдясь его.

«Да что вы... балаган, что ль, вам?» – хотел было он сказать, но не сказал, повернулся к Анчурке.

Анчурка сидела на табуретке, вся прибитая, какая-то озябшая, и смотрела на Никиту так, как смотрит мать на умирающего сына, затем резко опустила голову, наискось глядя в пол.

– Аннушка, – еле слышно прошептал Никита. – Ды, Аннушка... – И вдруг в нем все сжалось, очерствелые пальцы затряслись, губы посинели, сам он весь закачался, как лошадь в тяжелой упряжи, и, уже не чувствуя ни рук, ни ног (ему даже показалось, что у него осталась только голова, а в голове одна мысль: «Пропал. Безвозвратно»), он, не помня себя, повалился на пол, простирая руки к народу, с хрипотой выдавливая из себя только одно слово: – Про... прош-у-у-у...

К нему кинулся Гриша Звенкин и, подхватив его под мышки, утрированно грубо, чтобы самому не зареветь, сказал:

– Ну, этого вовсе не полагается, товарищ бригадир, – и легонько толкнул к нему Епиху Чанцева.

А тут – кто во что горазд: кто заплакал навсхлип, кто засмеялся, что-то выкрикивая, а Елька, как это ни странно, подбежала к Никите и по-старому, как бывало, сказала: «Тянька... Тянька ты наш... мученик». Никита ничего не слышал, не видел. Обняв Епиху, он хрипел:

– Хошь? Хошь обратно сvezу? Хошь?

– Не надо, – отмахнулся Епиха, тоже всхлипывая. – Еще накопаем.

– А-а-а! Черти! Пра, черти! – закричал Захар Катаев. – Черти, но хорошие. И люблю я вас всех. Аннушка! Аннушка! – Он шагнул к Анчурке Кудеяровой, намереваясь обнять ее. – Поди-ка сюда, обниму я тебя. Мы ведь знаем, больше всех тебе тут было.

Анчурка вскочила с табуретки:

– А ну тебя, Захар Вавилыч, – и, прикрыв лицо ладонями, выбежала из избы.

В это время стремительно выскочил из-за печки Митька Спириин. Он выскочил наперед и, приседая, дразня всех:

– А-а-а! Рука руку, значит, – и потер руку об руку. – Рука руку, – затем кинулся на Никиту. – А я бы его за это... в Сибирь-каторгу.

– Эх, ты, чертовой души человек! Сибирь, каторга! – Захар Катаев стянул ему шапку на нос.

– А что, а что? Небось ежели бы мы, единолишники... – И не успел Митька высказать то, что хотел, как в избу вошла чем-то очень взволнованная Анчурка Кудеярова и, глядя на Митьку, как на какое-то чудо, проговорила:

– Митрий... Шел бы домой... Беда у тебя там.

– Что? С лошадьё, что ль, что?

– Нет. Елена-то у тебя рожает.

– У-у-у! – Митька подпрыгнул. – Вот ежели сына, то непременно по торговой части пушу, а не в ваш омут, – и вихрем вылетел из избы.

А тут по народу пополз сдержанный шепот. Анчурка, не желая разглашать какую-то тайну, шепотком передала что-то Захару Катаеву. Тот как стоял, так и сел, разводя руки. А когда о тайне узнал Никита Гурьянов, он тоже, сделав большие глаза, развел руки.

– Это чуда какая-то... Этого еще не бывало у нас на селе... чуды такой, – сказал он.

Но Аннушка подошла к нему и, глядя ему в глаза, посоветовала:

– Никита, ты ему малость сродни... Сходил бы, милый, к нему.

Никита чуть подумал, затем, опять расставя руки, глядя куда-то в сторону:

– Что ж, надо пойти. Он хоть меня и в Сибирь-каторгу, а надо пойти.

## 3

Митька Спириин, как известно, совсем недавно вернулся со строительства металлургического завода в урочище «Чертов угол». Он там зашиб деньгу, купил сивенькую, с приплюснутым задом лошаденку и повел свой образ жизни в Широком Буераке, заделавшись агентом по сбору утильсырья. И сам постепенно превратился в нечто похожее на утильсырье: бороденка у него сваялась, стала походить на затасканный собачий хвост, глаза слезились, ноги в посконных штанах болтались, точно сухие палки, спина сгорбилась, будто кто по ней саданул колом. А он все еще гордыбачился, все еще выкрикивал:

– Каждый сам себе хозяин: хочу – подохну, хочу – живу. На то и совецка власть.

И вот теперь, услышав о том, что его Елена рождает, он кинулся к себе во двор, радуясь, ожидая, что жена непременно родит сына. По пути он забежал к своей лошаденке и ей шепнул на ухо:

– Вот и сын у нас появился. Только бы не умер. Ну-ка, я тебе по такому случаю сенца кину, – сбросив с сарая клочок перепрелого сена, гоголем влетел в избу, крикнул бабке-повитухе: – Ну, где? Кажи. Ежели сын, то непременно по торговой части пуцу... Подрастет когда, допустим.

Бабка-повитуха часто, часто закрестилась и, еле выговаривала:

– Не один... Митька! Сын-то. Четыре.

Митька приостановился, посмотрел на нее, затем размахнулся:

– Чего ты городишь? Дам вот.

– Истинный бог, четыре. А-а-а, батюшки. – Бабка торопко выбежала из избы.

Митька шагнул. Шагнул широко, глянул на Елену, затем отвел в сторону занавеску и попятился: на кровати в ряд действительно лежали четыре запеленутых сына, и все как один похожие на Митьку – не хватало еще только бороденки да слезливых глаз.

– Урк. – Митька уркнул, снова посмотрел на бледную Елену, потом на стены избы, потом зачем-то стремительно влетел на чердак избы, сел на боров, поковырял глину пальцем и вдруг заскулил – тоненько-тоненько, как щенок. Но и так он долго сидеть не мог: его что-то подбрасывало, а тут еще в улице поднялся галдеж. Кто-то кричал с хрипотой, с надрывом:

– У Митьки Спирина... Баба четверых... Один с рогами, другой – лапки хряпка, третий – с мордой чушки, свинки, четвертый – литой Митька.

– О-о-о! Бабыньки. Айда-те глядеть.

Митька слетел с чердака и, подбежав к Елене, забрызгал слюною перед ее лицом:

– С чертом ты спуталась! Факт! От человека не может быть. С чертом! Ты

теперь в колхоз ступай, там тебе конюшню сварганют, потому как треба пятилетку – в год. Ступай, ступай... Ступай, говорю.

Елена еле слышно проговорила, скорее простонала:

– Одного оставлю.

– А-а-а! Что, придушишь? А через тебя и я в Сибирь-каторгу. Нет уж, раз настряпала, и возись, а я удушусь. Где кушак-то? – И, сорвав с гвоздя кушак, Митька перекинул его через перила на полатах и снова остановился. В дверь кто-то постучал. Митька крикнул: – Никого дома нету... Нету, и все, – и заторопился, чтобы накинуть петлю на шею.

Но за дверью раздался голос Никиты:

– Это я, Митька... Кум... Я это, Никита Гурьянов.

Митька открыл дверь и, впуская Никиту, заскулил перед ним:

– Ну, что, кум, что теперь делать-то?... Насквозь просмеют... в могилку загонют, – и заплакал горько, обиженно.

Никита положил руку на голову Митьке, погладил и с упреком к Елене:

– Что же это ты в сам-деле, Елена, до какого позору мужика довела? И еще бают разное: с мордой свинки, с лапками там и все такое.

– Господи! Позорища какая, – еле внятно прошептала Елена.

А Митька вскочил из-за стола и, шагнув к сыновьям, выкрикнул:

– Где? Где с лапками! Где? Где с мордой? Где?

Никита посмотрел на ребяташек, проговорил:

– В самом деле, ничего такого: людские. Только чуда. И как это ты, Елена, угораздила столько... четверых?

С улицы же послышался крик:

– Захар Вавилович едет. Сторонись. Эй! Митька побледнел, взял за плечо Никиту.

– Ну, вот, – еле выдохнул он.

– С милицией, видно, едут, с актом, – ответил на это Никита и спрятался за перегородку, не желая себя путать в такое дело.

А Митька кинулся навстречу Захару Катаеву, затоптался перед ним у порога, весь извиваясь:

– Я ведь теперь... Я ведь теперь не того, Захар Вавилыч. Я ведь теперь утильсырьем промышляю, истинный бог. И человек я вроде государственный, а не то чтобы там – спекулянт.

– Эх, ты! И сам-то на утильсырье стал похож. Ну-ка, показывай сыновей.

Митька выпрямился:

– Сыновей! Сыновей!.. Я тут что? Это не я, истинный бог... это вон она... Она

– водяная шишига.

Захар Катаев шагнул к кровати, проговорил:

– В газетах писали, одна американка троих родила...

– Ну, вот, значит, не я один осопливился, – сказал Митька и полез было на полати, но Захар гаркнул:

– Ну, мы им теперь нос утрем, американцам. Эй! Ты! Скворец! – Он повернулся к Митьке Спирину: – Сбегай-ка, там у меня к седлу мешок привязан. Принеси.

Митька – рад такому случаю – вылетел из избы, а Захар Катаев сел в изголовье у Елены. Елена вся извилась, зло простонала:

– Зачем пришел? Зачем? Смеяться?

– Ну, что ты, Елена, вот те раз-два... Смеяться? Да разве над таким делом... Вот еще выдумала... Ты вот что: береги. Мы фотографа пришлем, как поправишься, сыновей сымем, тебя сымем, а карточку – в Москву, в газету... Вот что... А ты – смеяться.

Елена повернула голову, пристально посмотрела на него, и вдруг из ее, казалось бы, сухих глаз хлынули слезы. Она схватила руку Захара и крепко, горячими губами, поцеловала ее. Тогда и Захар, перевернув ее руку вверх ладонью, крепко поцеловал ладонь, сказал:

– Ну, вот видишь... а ты...

Митька внес мешок, бросил его к ногам Захара Катаева, а сам быстрее кошки вскочил на полати и лег там, свеся голову.

Захар Катаев развязал мешок и сам, волнуясь, вынимал из мешка распашонки, простыни, халат для матери, говорил:

– Это вот... все тебе, Елена, за подвиг твой. И ребятишкам твоим... На! Береги только их... А это вот. – он достал из мешка мужскую рубашку и повернулся к Митьке: – Митрий, это вот тебе. От рабочих эмтеэс. Мы так считаем, и ты в этом деле повинен...

Митька прыгнул с полатей, взял рубашку, глядя на нее тупо, как баран на новые ворота. А Захар из грудного кармана вытащил пакет:

– А это вот двести целковых. Рабочие собрали. На! Корми мать!

Тогда Митька, приняв пакет, вдруг расправил ледащие плечи и выпалил:

– Мы можем... Мы можем, Захар Вавилович, ежели то понадобится государству, потому как мы сознательные...

– Сознательные-то сознательные, а деньги, пожалуй, отдай матери: не то пустишь по торговой части. – И, отобрав у Митьки деньги, Захар сунул их под подушку Елены.

В эту минуту в избу ввалила целая толпа колхозников. Впереди всех шел Гришка Звенкин. Ну, он председатель колхоза, и ему всегда полагается быть

впереди. И теперь, идя впереди, он нес в руках кадушку с медом. За ним Нюрка, его жена, Елька, Анчурка Кудеярова, Епиха Чанцев, колхозники, колхозницы. Гришка Звенкин, ставя на стол кадушку с медом, прокричал, подражая Захару Катаеву:

– На! Елена! Это за подвиг твой от колхоза нашего. Живи и торжествуй.

– Во славу. – подхватил Епиха Чанцев, сваливая на стол полмешка белой муки.

И посыпалось: кто клал на стол полуботинки, кто – крупу, кто – масло, кто – наволочки, кто – отрез сарпинки... И изба наполнилась гамом, говором, смехом. Колхозницы ринулись к ребятишкам, чмокали перед ними губами, хотя и знали, что ребятишки в этот день еще ничего не понимают. А Елена вскрикнула – так тоненько, прибито:

– Батюшки! Родненькие. Да за что это вы меня? За что? Меня, может, убить надо, как собаку... А вы! Ой, батюшки-и-и! – Она приподнялась и, не в силах удержать себя, свалилась на сильные руки Анчурки, вся трепеща.

– Да что ты, что ты! Вот еще. Дурочка! Елена!

Анчурка закачала ее на своих сильных руках, как ребенка.

Тут из-за перегородки вышел Никита Гурьянов и, как ни в чем не бывало, даже напыщенно проговорил:

– В сам-дель, чего это ты, Елена? Чай, это не позорища какая – четверых. А слава большая. – Он глянул на Захара Катаева и, видя, что тот одобрил его поступок, неожиданно для всех выхватил из кармана кошелек, достал червонец, добавил: – Вот и от меня тебе червонец на зубок.

В избе все поощрительно загудели, а Епиха Чанцев в зависти даже прошептал:

– Эх, пес... Вот так ухач!

А Никита совсем разошелся. О чем-то пошептавшись с Анчуркой, он подошел к кровати и, будто уже договорясь с Еленой, сказал:

– Ты вот что, Елена, отрежь-ка мне одного сынка.

Елена слабо вскрикнула, а Никита взял на руки первого сына, буркнул:

– Вот и дотолковались, – и тут же к Анчурке: – Ну, название ему давай. Как? Никита?

– Ну, Никита, – подхватила Анчурка, принимая сына из рук Никиты Гурьянова.

Люди снова взорвались одобрительным хохотом, и Епиха Чанцев снова в зависти прошептал:

– Эх, пес! Это и я возьму...

И тут же еще кто-то из толпы:

– Елена! Нам дай... У нас дочка есть, сынка хочется.

Захар Катаев нагнулся над Еленой и, показывая на ребят, сказал:

– Может, раздашь? Вмиг разберут...

– Ой-ёиньки! – тоненько вскрикнула Елена и посмотрела на колхозников. В эту минуту она их всех любила, но она так же полюбила и сыновей своих и, не зная, что делать, снова тоненько вскрикнула: – Ой-ёиньки!

Тогда с полатей подал свой голос Митька Спирин:

– Мы сами родители! А Никита Семеныч, он вроде сродни... – и вдруг заскулил, ударяя кушаком по стене. – Уйдитя... Ну, уйдитя... Захар Вавилыч, уйдитя... Грешен ведь я. Против всех вас грешен. Ну и уйдитя. – И все увидели, как он забился, зарыдал, словно мальчонка.

Захар поднялся и, будто забирая в объятия всю толпу, проговорил:

– Айда-те... Пускай передышку поимеют малость.

А Никита вне себя от радости прокричал:

– Эх! Что есть человек? Человек есть струна. Натяни ее умело, струну, – такой звук даст, в века пойдет, оборви – горшки перевязывать годится...

Вот какие события произошли за это время в Широком Буераке. И, конечно, главным героем после такого на селе оказался Митька Спирин. Да не только в Широком Буераке. На последней странице в центральной газете появился фотоснимок, а под ним подпись: «В Широком Буераке Елена Спирина родила четырех сыновей, и все здоровы». На снимке четыре сына, рядом мать – Елена, а Митька стоит чуть поодаль. Теперь Митьку то и дело спрашивали мужики:

– И как это ты, Митрий? Сам ты с наперсток, а четверых зараз состряпал. А-а-а? Открой тайну.

– Мы умеем, – отвечал гордо Митька, стараясь делать вид, что он один знает какую-то тайну.

– А как поживает Елена?

– Блаженствует. Лежит себе на мягкой перине, а рядом все мои три богатыря. Дом отвели. Барин в нем когда-то жил.

И стал Митька замечать: бабы его осматривают как-то по-особому. А местные газетчики один за другим справлялись о его житье. И, приподнятый в глазах населения неожиданным событием, он в одно утро вошел в сарайчик, где на привязи стояла его тощая, от натуги ослепшая на один глаз лошаденка. Похлопав ее по шее, похожей на горбыль-доску, сказал:

– Ну, милая, хочу конец мытарству положить. Пойдем, – и повел конягу со двора.

Он вел кобыленку улицей, крепко вцепившись правой рукой в узду, ближе к морде, делая вид, что кобыленка рвется из рук, что она весьма шальная, может натворить на селе таких бед, что потом хлопот не оберешься. Но та шла вяло, еле волоча ноги, то и дело останавливалась, пучила бока: у нее от грубого корма часто бывали запоры.

– Нажралась, и раздирает тебя, – кричал на нее Митька. – Стой, что ль. Эка



рвется, сил нет, – и тут же добавлял, словно с кем-то споря: – Вот я какой. Лошадь есть. На! Возьми лошадь. Возьми, – а когда подвел кобыленку к колхозной конюшне, то крикнул (у него за последнее время появился окрик): – Эй, кто там есть! Принимай коня, а то всю руку отмотал, пес.

Из конюшни вышел председатель колхоза «Бруски» Гришка Звенкин. Он жевал соломинку и глядел куда-то в сторону, ровно его воротило от Митькиной кобыленки.

Митька поклонился Гришке Звенкину и так же развязно сказал:

– Вот, решил. Принимай меня со всем моим конским составом.

– Экую заразу привел, – промолвил тот и снова отвернулся, а когда увидел, как Митька повел в конюшню кобыленку, вдруг закричал: – Ни-ни! Да ее и близко подпускать нельзя. Веди вон на свалку.

Свалкой называлось место, где пристреливали зараженных сапом и сибирской язвой лошадей.

Это было уже сверх меры.

– Здря, – Митька крикнул и почесал под мышкой. – Здря. Коняга, я тебе скажу, не тронь вожжой. Только овсеца бы малость...

– Ну, что ж, Митрий, в колхоз мы тебя примем, а вот лошадь... Я не знаю, что с ней делать. – Гришка Звенкин несколько минут думал, осматривал кобыленку. – Я полагаю, может, ее пустить на все четыре? Может, отгуляется, а подохнет – не наша вина. А тебя в колхоз.

Придя же вечером к Елене в родильный дом, Митька сел на стул и закинул ногу на ногу.

– Решился. Обмозговал, обмозговал и решил. В сам-дель, чего нам с тобой вдвоем оставаться на селе? Ну, и повел кобылу в колхоз. Обрадовались. Говорят: экий ты молодчага, Митрий Савелич... так и называли: Митрий Савелич. И кобыла твоя, слышь, племенная... будто бы. А я об этом и не знал.

– В какую ж бригаду тебя сунули?

– К Никите Гурьянову. Сам он захотел. Право же слово.

– А чего же божишься?

Вот еще новое дело. Елена, как поговорила с Захаром Катаевым и легла в родильный дом, стала какая-то задиристая. То и дело ковыряет Митьку. И сейчас: «А чего ж божишься?»

– Так. К слову, – смиренно сказал Митька, хотя ему хотелось пнуть ее по-своему. Странно: он стал ее побаиваться.

– К слову-то не божатся. – Елена нахмурилась и отвернулась к стенке.

– Могу и не пойти к Никите. Самому бригаду дадут. Право слово. Предлагали, бери, Митрий Савелич, любую. Ты же герой: кобылу привел и сыновей там четырех... Возьму. И будет бригада Митрия Савелича Спирина. – Митька знал, что «Митрием Савеличем» величал только он сам себя, а все другие его всегда

звали Митькой, и ему было очень горько, что Елена в этом самообмане не поддерживает его.

– Дадут. Держи карман шире, – проговорила она. И, не поворачиваясь к Митьке, зло добавила: – А я в колхоз не пойду.

Митька завозился, что-то промычал и вдруг рванул Елену за челку – вот еще, челку завела? – и сквозь зубы процедил:

– Я те, водяная шишига, не пойду. Я те башку-то отверну на рукомоиник, – и хотел было еще раз дернуть за челку, но Елена нажала на какую-то черную пуговку, раздался тревожный звонок, и на пороге появилась сиделка – молодая и румяная, с красным пионерским галстуком на шее.

– Вот, отверни-ка, – тихо сказала Елена и, обращаясь к сиделке, спокойно проговорила, показывая на Митьку: – Уйти хочет... домой ему пора.

Да нет. Митька вовсе не намерен так быстро уходить. Ему очень нравится сидеть в чистой, солнечной и прибранной комнате. Он растерянно посмотрел на Елену.

– Ко мне он теперь дней через пять явится. В колхоз вступил, сев там начинается, – добавила Елена.

Митька ушел. А Елена снова погрузилась в свое прошлое. Так вот всегда, как только явится к ней Митька. Вот и теперь ярко встало оно перед ней, будто все происходило только вчера.

Митька, пьяный, стоит на пороге и кричит:

– Кто хозяин?

– Ты, Митя, – покорно отвечает Елена.

– А-а-а? Я? А с кем по ригам до меня таскалась? – И увесистый кулак опускается на голову Елены.

Так бил, упрекая Елену за то, что будто бы она «не девкой» к нему пришла. Раз она от таких побоев убежала к отцу. Митька купил бутылку водки, запряг лошадь, подъехал ко двору тестя, зашел в избу. Водку они распили вместе с тестем. Затем отец вывел Елену из чулана и сказал:

– Митрий. Она тебе богом дана... и управа на нее твоя. Веди ее домой. Да хорошенько проучи. Нет, не бей. А ты привяжи ее вон к телеге и прокатись улицей.

Митька так и сделал. Вывел Елену, стащил с нее кофточку, привязал руку к оглобле и, подождав, когда сбежится народ, сел в телегу, затем, подхлестывая кнутом то лошадь, то Елену, прокатился улицей к своему двору.

С тех пор Елена затихла. Только рожала почти каждый год. Но дети у нее не жили. Дети умирали. И снова рождались – слабенькие и немилые. А вот теперь ее положили в родильный дом. В нем шесть комнат. Есть комната – приемная. В ней мать-роженица ходит из угла в угол перед родами. Затем есть комната для родов. А потом комнаты, где лежат матери, и комната, где лежат ребятишки – в

кроватках, под чистыми одеялами. И все хорошо в этом доме, все вещи расставлены так, что зовут, манят к себе. А недавно сюда налетели пионеры. Они преподнесли Елене два букета цветов и долго говорили ей о том, что она «социалистическая мать». Что сыновей ее они будут воспитывать.

– Вот только подрастут, – щебетал вожатый, – и мы их в октябренки запишем. Запишем, ребята?

И все хором отвечали: «Обязательно».

Что-то другое, не виданное доселе, открылось перед Еленой, и в самой Елене вспыхнула какая-то, никогда прежде не испытанная ею материнская гордость – гордость за сыновей, за себя... только не за отца.

«В колхоз пошел, – думает она сейчас. – Утиль-сырьевщик. Да ведь от его дел со стыда сгоришь: болтушка».

#### 4

Вот она какая была эта весна.

Даже «последний единоличник» на селе, Митька Спириин, и тот ушел в колхоз. Единственный человек остался вне колхоза – это Пономарев-Барма. Он отращивает длинные усы, выводит у себя во дворе индюшек, зиму и лето носит на голове кубанку. Усы у него лежат на груди, как два хвоста заморского кота, а сам он постоянно стоит на перекрестке дорог, неподалеку от районного исполнительного комитета, и всматривается вдаль, как сыч. Завидя дрожжи, или верхового, или легковую машину, он, по всем правилам милицейского искусства, останавливает проезжих и, рекомендуясь, говорит:

– Я! Я тут в семнадцатом году власть уставлял. Я, и никто больше.

– Что ж теперь поделываешь? – интересовались проезжие.

– Двухглавого орла добиваю.

– Смотри, свою голову не потеряй, – отвечал иногда ему какой-нибудь шутник.

Но – мимо! Мимо Пономарева-Бармы, мимо Митьки Спирина! Ныне люди готовятся к севу. Епиха Чанцев, бригадир шестой бригады, никому слова о повышении урожая не давал, но в уме держал – непременно побить Никиту Гурьянова.

К нему-то сегодня заехал на белой лошади Захар Катаев.

Епиха еще издали завидел его и хотел спрятаться, чуя что-то недоброе, но спрятаться ему было негде. Он жил в доме Плакущева. Дом остался целехонек, но сараи снесли и все это добро пустили на постройку скотного двора.

– Ну что, привык? – заговорил он, ерзя на крыльце. – Привык, говорю? Не натерло?

– Ко всему привыкает человек, – ответил Захар. – А вот ты, чего не сеешь?

– Да ведь в поле-то грязь невылазная!

– А – в грязь. Сказано было – сейте в грязь.

– Ты вот к Никите Гурьянову сунься. Он, рыжий черт, контру какую-то затеял.

– Ну, он контра, а ты ж член партии?

– Да я что? Я могу хоть сейчас. Я... – Епиха кричал, но слова у него застревали где-то в горле, на лбу посинели жилы, сильные руки замахали над головой. – Я что? Я! Да ты вот что... – Он оборвал поток слов и зашипел: – Никита Гурьянов, конечно, ясно. Ясно, как дважды два. Он, конечно, ясно, с контрой в душе. Но он вроде колдун на земле: чего скажет, тому и быть. За ним все и тянутся. А я что? – Епиха опять закричал: – Посею, потом надо мной: «Ха-ха да хи-хи: посеял в грязь и туда задницей».

Никита Гурьянов знал, что к севу не только готовятся, но в некоторых колхозах уже посеяли в грязь. А он все чего-то ждал... И теперь, завидя на белой лошади Захара, он сказал Анчурке:

– Спаситель едет. – Так он прозвал Захара в тот день, когда Захар Катаев его, больного, переправил из Полдомасова в Широкий Буерак и поддержал, дав ему хлеба.

– Никита! – Захар даже не слез с лошади, а, играя усмешкой, пренебрежительно кивнул. – А тебя ведь побили!

Никита вылупил глаза:

– Где такой герой родился?

– В Полдомасове. Там уже посеяли в грязь. Знаешь, есть поговорка: сей в грязь – будешь князь.

– Эва-а, – Никита облегченно вздохнул. – Да ведь нынче князь-то не в почете, – увильнул он и заговорил об Епихе Чанцеве: – А вот бес! Чего придумал – девок из своей бригады по конюшням с ведерками расставил. Как корова аль там лошадь хвост задерет, так девка с ведерком к ней и эту... как ее... вот всегда забываю... Ну, эту...

– Сечу, – подсказал Захар.

– Да. И в ведерко. А еще – почему мочу назвали сечей? Аль там – это само добро фекалием? Ведь оно не изменилось. – Никита уходил от прямого ответа, уходил в сторону и далеко, но когда увидел, что глаза Захара потемнели, весь встрепнулся и, точно просыпаясь, серьезно, но почти шепотом сказал: – Земля, она не любит озорства, Захар Вавилыч. Вот что надо понять. Да, в газетах было написано: «Сей в грязь – будешь князь»...

Что-то удерживало Никиту, что-то заставляло ждать, хотя, судя по такой хорошей весне, давно надо было сеять. Сеять в грязь. Да, так, как пишут в газетах. Но Никита по своему долголетнему опыту знал: весны обманчивы, – и теперь он говорил:

– Захар Вавилыч, весна – она что девица: посулит, а потом отвернется. Ты вот гляди, что может быть: посеем мы в грязь – верно, зерно взбухнет, пойдет в рост... бегом пойдет. А ну-ка, как потом польют дожди? Тогда зерно может замокнуть, мало того, хлеб может даже выколоситься, а потом повалится – на коленки упадет, по-нашему... и останется одна солома. Я вот вчера в поле был, грязь разгреб, руку сунул, материнскую землю достал, а она еще холодная. Чуй, что тут будет: земля еще не отрыгнулась, холод в ней, стало быть и дожди пойдут. Надо уметь в кон бросить.

– Но ведь нам надо план выполнить. Нас другие районы обгоняют. Видишь, что придумал: землю щупать. Это, брат, тебе не девка. Ты ее паши, а не щупай.

Тогда и Никита рассвирепел. С планом к нему лезли все – и Захар Катаев, и Гришка Звенкин, и председатель сельского совета, и редактор местной газеты. Лезли все, жужжали все, а секретарь комсомольской ячейки не давал прямо-таки покоя.

– Видишь ли, милый человек, – заговорил Никита, тяжело глядя себе под ноги. – Видишь ли, с плантами мне уже холку натерли, а я все не отступился. Мне не плант нужен, а государство хлебом кормить, – и поднял глаза. – Я вон где слово дал – в Кремле. Мекаешь? Поругаемся с вами, подеремся в кровь – а я не отступлю. Ты мой спаситель – знаю. Но ежели я в осень кукиши буду собирать по участку, тогда не надо было и спасать меня. Лучше бы тогда подохнуть. – Никита весь повял и еще тише добавил: – Я не хочу, мил человек, сына на земле оставлять с тавром, чтоб люди потом говорили: «А-а, это сын того... болтушки Никиты Гурьянова. Сказал: «Дам сам-тридцать», а собрал кукиш». И ты мне не перечь.

– Да ведь сын-то... это... тово, – раздражаясь, выкрикнул Захар.

– Чего... это... тово? А ты без тово – вот что. Мой, кровный.

Никита, как только перенес сынишку из избы Митьки Спирина, сразу сказал:

– Мой. Гляди, Анчурка, и нос-то мой: литой – в меня. – И с этого дня никто Никите не перечил, даже, наоборот, все как-то уверились в том, что сын действительно его.

И теперь Захар сказал:

– Это действительно так – твой. Я забыл малость.

Никита сразу повеселел:

– Ну, вот видишь... Забыть, конечно, можно... у тебя дел-то вон сколько.

– Однако ты, Никита Семеныч, не тяни других за собой. Нам сказано – сейте в грязь... и дисциплина.

– Да я никого не тяну... Я вот подожду малость и к ребятам: «А ну-ка, мол, соколы, давай катать, сей».

Никита ждал.

А земля томилась. Земля томилась, как томится сильная ядреная девка в

первую ночь, принимая в постель нареченного. Земля томилась: по лику ее заползали утренние вздохи – ленивые вязкие туманы, и казалось – земля, вздыхая, жалуется на Никиту Гурьянова. Земля томилась. А в иссиня-темных лесах уже засверкали глухие тропы.

Никита ждал. Он лазил по полям, что-то шептал, а когда приходил домой, балагурил, хлопая Анчурку ладошкой по спине:

– Эх, ты... пропадала. А ведь ты же не баба, а клад. Гляди, какого сына отгрохала. Эй! – Он нагибался над люлькой и кричал сыну: – Эй! Ты кто будешь? Комиссар, – шут тебя дери-то. А?

Сын еще ничего не понимал. Он только улыбался отцу беззубым ртом и моргал.

– Ишь ты, как гогочет. Мать, гляди, хохоту сколько, смеху. Ух, артиз. Прямо артиз. А могу я его потаскать? А?

– Умойся допрежь. А то от тебя этим самым... фекалией несет.

– А-а-а! – И Никита тщательно умывался, затем брал на руки сына и, расхаживая по комнате, поскрипывая чисто выскобленными половицами, гадал вслух – сеять или не сеять.

Из чулана выходила Анчурка и вступала с ним в спор: она верила больше газетам и Захару Катаеву и баском кидала Никите:

– Ты чего со своей башкой лезешь? Раз тебе сказано «сей», значит сей. Это и я вот, когда пришла на птичник, – буду, мол, клушек заводить да цыплят выводить. А мне привезли инкубатор и сказали: «Вот тебе клушка на двести цыплят».

– Цыплята что? Цыплят бы твоих я во сне выводил. Пра, истинный бог. Ну, ну, ощетинилась. Ты только вальком не бей меня. Право! Оно шутка-шутка, а горб болит.

К ним в избу приходили члены бригады, и разговор велся все в том же духе – сеять или не сеять? Но, как только появлялся Митька Спирин, разговор принимал другой оборот. Все некоторое время молчали, осматривали Митьку, как чудо-лошадь на базаре, затем кто-нибудь произносил:

– А вчера в газете писали, будто одна мериканка семерых родила. Право же слово.

– Этого не может быть. Потому что это, как вам сказать... – опровергал Митька, как знаток своего дела: – Это как вам сказать... Она не может знать такого слова...

## Звено седьмое

«Моя любовь соткана из пурпура заката. Ее ткали мои деды, прадеды, корчужа пни, возделывая землю.

Мою любовь...

Моя любовь сильна, как земля, чиста, как лазоревое утреннее небо...

И ты послушай, то ведь не ветер ветку клонит и не дубравушка шумит, – то – мое сердце... И вот эту мою любовь я несу тебе, возлюбленная моя».

Так пел рыбак.

Он пел где-то там, в ильменах, закидывая ловецкие сети, и голос его был трепетен и молод.

Так он пел каждую ночь под зори, и Стеше всякий раз хотелось подхватить его песню и полным, грудным голосом возвестить и о своей любви. И она, кутаясь в полушалок, выбегала из избушки, утопанными тропами через парк неслась на крутой берег Волги и, всматриваясь вдаль, туда, к ильменям, шептала:

– Такая. Такая она и у меня.

А рыбак все пел, все звал возлюбленную свою, и голос его звучал то лаской, то угрозой. Казалось, во тьме ночи протянулись длинные, обветренные рыбацкие руки... И Стеше чудилось: рыбак зовет ее туда – на водные просторы, в густые заросли камыша, на луговинные долины.

Ах вы, ночи! Трепетные, весенние ночи!

Тополя цветут – вдыхайте жадно, страстно запах тополей! Тополя цветут... цветут вишни, и яркие лепестки, точно тучи бабочек, несутся, падают, устилают тропы, садовые лужайки. Вишни цветут... цветет кудрявая малина, и около луж целуются галки.

Будто волчица в свое логово, сквозь ветельник пробирается Стеша, и ветви бьют ее по лицу, по плечам, по спине. Бейте, ветви! Прикоснись и ты к ней, могучий, кряжистый дуб! Обласкай ты ее, кудрявая, кокетливая березка! Напоите вы ее соками земли, молодые травы, ранние побеги ягодника. Распахни ты, ночь, свои черные полы и прикрой ее!

Ах вы, ночи, трепетные, весенние ночи... и эти песни рыбака, и этот запах тополей, и это журчание могучей Волги...

– А-а-ай! – вырывается из груди Стеша и несется над Волгой, над парком, над ильменями и обрывается, будто падает на дно реки. И Стеша бежит, бежит, пересекая глухие балки, густые заросли. Она бежит к домику с башенкой. Вот она, запыхавшись, поднимается по лесенке вверх и вдруг вспоминает:...по крутой лесенке спускается Кирилл Ждаркин, и она, Стеша, еле заметно, но всеми пальцами дотрагивается до его спины...

– Нет, нет, нет, – тихо шепчет она и, крадучись, подходит к кровати, в которой спит Кирилл малый.

Деревянную кровать сделал дедушка Катай. Чудной – дедушка Катай. Когда

они возятся на песке с Кириллом малым, то трудно понять, кто из них старше: так же обижаются друг на друга, так же спорят, бранятся, а иногда дед даже плачет, и тогда Кирилл гладит его по седой голове, уговаривает:

– Ну, не плачь. Я вот тебе откушу, – и достает из кармана конфетку, откусывает уголок, сует деду, и дед успокаивается.

Язык деда Катая часто бывает непонятен Кириллу малому:

– Ну, бог поможет, мы с тобой к вечеру мельницу сварганим, пустим в ход, деньгу зашибем и в банку положим, – скажет дед.

– Это кто бог?

– Такой эдакий, – ответит дед. – Такой...

И Кирилл малый бежит к матери:

– Мам. Дед, такой-эдакий, говорит: «Бог поможет». Кто бог? Бригадир?

Все устраивается.

Стеша боялась, Кирилла малого будут дразнить ребяташки, как когда-то она сама дразнила детей, брошенных отцом. Но об этом Кириллу малому никто даже и не намекал. Наоборот, он сам полонил ребяташек: он умеет рыть котлованы, строить заводы, лепить из глины электростанции, экскаваторы, автомобили. Построив экскаватор, Кирилл расставит ребяташек по местам, они роют котлованы, а Кирилл, подражая экскаватору, пытит, кряхтит, харкает. Живой и самый настоящий экскаватор. Чудо!

Или на днях ребята спросили его:

– А царь кто?

И он ответил, пожимая плечами:

– Царь? Это главный фасыкий начальник.

И еще Кирилл малый из рассказов отца знает, что в земле есть железо. Верно, на днях он оскандалился перед ребятами. Они по его уговору стали в парке рыть землю, чтоб достать железо. Рыли два дня и наткнулись на разбитую сковородку. Это был провал и позор. Но тут на помощь пришел дед Катай. Он всех уверил, что Кирилл малый прав, но землю надо не рыть лопатами, а буравить длинными буравами:

– Вот тогда до сердца достанешь, стало быть до железа, а рыть надо в неурочный час – в двенадцать ночи, когда чертяки с поджатыми хвостами по всем местностям шныряют.

Это страшно. Да и земле будет больно, ежели до сердца – буравом. Честь Кирилла малого была восстановлена. И все звали его так, как он сам однажды отрекомендовался: главный начальник строительства каналов, электростанций и комиссар полка удалых ребят Чапай.

– Ты уж очень много набрал на себя, – сказала ему после этого Стеша, выдирая из его головы сухой репей.



– А что я могу поделывать? – он серьезно развел руками. – Раз народ выбирает. А народ – это тебе не фунт изюму.

– Кто же это так говорил, Кирюша? – сдерживая смех, спросила мать.

– Ну, я еще маленький.

Хотя он только позавчера вел ребят на штурм обрывистого берега. Берег-крепость надо было во что бы то ни стало взять, потому что там засели «беляки». И Кириллу малому перед наступлением пришлось держать горячую речь:

– Товарищи! Я, Чапай, приказываю вам немедленно забрать крепость, не то беляки вырежут народ, а народ – не фунт изюму...

И когда он произнес: «не фунт изюму», ребята облизнулись, а дед Катай даже прошамкал:

– Изюм, он сладкий. С чаем его можно.

Кроме того, Кирилл умеет рассказывать. Вспоминая жизнь на заводе, он иногда целыми вечерами фантазирует, увлекая ребятшек рассказами о неведомой для них жизни. И после таких рассказов приходит к матери грустный: тоскует по отцу. Но матери об этом не говорит, только трется об ее плечи и мурлычет, как котенок. Или заберется на колени, свернется калачиком и долго смотрит ей в глаза:

– Котик, котик, беленький лобик, – поет Стеша тихо, убаюкивая, вполне понимая тоску Кирилла малого.

Но все устраивается...

Стеша боялась, что колхозники будут относиться к ней, как к «соломенной вдове», задирать ее, насмехаться над ней. Но и этого нет. Колхозницы каждый вечер приходят за советами – выдавать ли дочь замуж и за кого, женить ли сына и на ком? Стеша знает, что все эти вопросы пустые, ибо дочь уже не спрашивает матери – выходить ли замуж и за кого, сын не советуется с матерью – жениться ли и на ком, и что колхозницы идут к ней просто поговорить, просто кое о чем узнать, просто посидеть с ней. На днях, например, пришла Анчурка. С приемным сыном у нее неладное.

– Соску ему дашь, – баском бубнила она, – а он ручонками тербит и смеется. Что с ним? А-а?

– Здоровый, вот и смеется.

– Ну-у! А я думала, не дурачок ли, мол, растет. Пашка Быков, помнишь, дурачок на селе был. Тот все лошадиную подкову на улице рисовал – большую, да болтал: «Вот какую лошадь заведу. Снопы в поле наложу и – хоп! – домой», – и все смеялся... А ты зашла бы ко мне... Поглядела бы его. – И Анчурка выдала, зачем пришла к Стеше.

И две матери весь вечер просидели над люлькой, и обе любили его – чужого сына – головастого, золотистого.

Другое тревожило Стешу – трактористы посматривали на нее особыми глазами. Но она решила не замечать этого, старалась вести себя с ними просто, не допускать до шаловливых слов, и победила. Только сегодня, выходя из мастерской, она услышала позади себя томный вздох:

– Эх, краля... завидная. Вот бы с кем ночку... всю душу бы отдал!

Но на того, кто так сказал, закричали трактористы, будто этими словами он оскорбил не только Стешу, но и их:

– Это тебе не Катька-батара.

Да, вот еще Катька – трактористка из бригады Стеши. Ей лет девятнадцать. Ходит она неуклюже, растопыркой. Говорит обо всем не стесняясь. Часто хохочет, с хрипотой, с надрывом. То и дело бегаёт к трактористам, за что ее и прозвали «Катька-батара», что значило: «гитара».

– Батара идет! Поиграй, кто хочет.

– Катя, зачем ты растрачиваешь себя? Девушка ты хорошая, а ведешь себя, как пьяница, – однажды сказала Стеша.

– Все мы такие, – ответила Катька и, выпятив груди, пошла к трактористам.

– Нет, не все такие, – шепчет Стеша, всматриваясь в тьму ночи... И вот ей кажется: идет она по дорожке, пересекая огромный вал, минуя делегации Сибири, Дальнего Востока, Волги, Украины, Татарии, – идет туда, в президиум...

Стеша вздрагивает и приходит в себя.

«Да, да, я поеду к нему. Я непременно поеду к нему». Она быстро надевает костюм тракториста, выходит из избушки и, несмотря на темную ночь, полем направляется в ремонтные мастерские.

Только вот песни рыбака тревожат ее...

## 2

Шесть гусеничных тракторов «сталинцев», отведенные бригаде Стеши, давно были выпущены из ремонта и дожидались первых солнечных дней, чтоб выбраться в поле. Но Стеша не стала принимать их на глазок и снова погнала в ремонтные мастерские. Она это сделала не только потому, что хотела убедиться в их исправности. Она хорошо знала механизм автомобиля, но не знала трактора. И теперь решила не только изучить трактор, но и узнать особенности каждого, как знает крестьянин особенности своих лошадей.

– Правильно, – поощрил ее Захар. – У машины тоже сердце есть.

В этом Стеше помог и выпавший снег.

Снег выпал неожиданно и нежданно, как раз накануне того дня, когда все бригады собирались отправиться в поле. Он дня два лежал белыми скатертями, как лежит в глубокие зимы, потом начал таять, и на улицах, в полях раскисла

такая грязь, что казалось – земля никогда не была сухой: грязь хлюпала, чавкала, урчала, наворачивалась на колеса так, что четверка отборных лошадей не могла сдвинуть с места телегу. Это был первый удар: снег приморозил землю, затем земля раскисла, и зерно, брошенное поверх пахоты, пропало.

– Что-о!.. – ревел Никита. – Сей в грязь – будешь князь. Вот и князь – в шляпе, а без порток.

Он лез через улицу, утопая по колено в жиже, и кричал, повторяя одну и ту же фразу: «Князь в шляпе, а без порток», и гордился тем, что никого не послушал, не бросил зерна поверх пахоты. А в избах открывались окна, высывались головы колхозников, и все дивились на Никиту.

– Никит? Никита Семеныч! Грязь! Грязь какая. Куда ты потащило?

– А я грязь-то особо и люблю. Я колдун. Вот кто я, тетери-метери, – отзывался Никита и дразнил: – Вы своих-то бригадиров за шиворот, за шиворот потрепите малость. Вот оно что.

– Колдун в поле пошел.

– Эй, вылезай из нор! – понеслось по селу, и рьяные жены кинулись на мужей, выталкивая их из изб, выгоняя в поле. – Идите-ка, идите, а то Никита опять что ни на есть отчубучит!

А Никита уже выбрался из села за околицу, ступил на пахоту – вязкую, топкую, и, не разбирая дороги, пошел напрямик на кленовую опушку, туда, где когда-то у него был его любимый загон, с которым в такие же ранние весенние дни он, бывало, вел «задушевную беседу». Теперь «его» загонов не было. Вообще не было загонов. Все поля разбили на широченные участки и каждый участок прикрепили к той или другой бригаде. Никиту меньше всего интересовали участки других бригад, и смотрел он на них с величайшим презрением, вернее даже не смотрел, а просто проходил мимо. Только в одном месте неожиданно остановился, поражаясь густыми зелеными озимых.

«Эка какая! Будто молочная. Чья это есть? – Он подошел к столбику и прочитал: «Шестая бригада. Бригадир Епиха Чанцев». – Значит, Колченогого? – И сердце у него екнуло. – А отчего она такая? – Ступил на озимь и окаменел: озимь была уже проборонована. Мало того, опытный глаз Никиты подметил более важное – озимь подкормлена перегноем. – Откуда ж такой выворот? – пробормотал он и вдруг ударил себя кулаком по голове: – Ай, башкан! Ай, башка несурзая!»

Никита был уверен, что в поле вышел первый, что в поле, кроме него и стрекочущих сорок, никого нет. Но вот из-за кленового кустарника показалась голова, потом ноги Епихи Чанцева. Сначала Никита не разобрал, что это такое, ибо Епиха сидел на горбу члена своей бригады.

– А-а-а! Ротозею, Никите Семенычу, приветец! – Епиха откашлялся. – Ну, как? Ты у меня перегной спер, а теперь где он? Вон где, – и показал рукой на рожь.

– Дуровину плетешь, – буркнул Никита. – Рази можно воровать в наши дни? Ведь за это, знаешь, по закону и в Соловки отгонют, – и, не веря Епихе, кинулся

на свой участок.

Да. Так и есть: стыдно сказать – там, где несколько дней тому назад лежали бунты перегной, виднелись только желтые пятна. А ведь Никита... Ах, Никита, Никита!.. Ведь Никита сколько раз бывал в поле и всякий раз бунты копнил лопатой, чтобы перегной «хорошо усдобился».

– Фулиган ты! – закричал он, потрясая кулаком. – Фулиган. Вот кто. И к тому же вредитель.

Но Епиха, поудобнее усевшись на горбу, ответил:

– Спасибо, что привез. Привез, говорю, за это спасибо.

Никита рассвирепел:

– Калинину напишу про тебя. Вот кому!

– Чево, чево, чево? – Епиха залился смехом и даже захлопал в ладоши.

Никита сник. Потом выпрямился, подумал:

«Оно верно, перегной его. Только вот перед своими стыдновато будет. Да я с ним той минутой и договорюсь...» И подошел к Епихе.

– Слезь-ка на миг, и коня свою в сторонку. Поговорить мне с тобой охота.

Епиха слез с горба.

– Ну, что изволите, Никита Семеныч?

– А вот что. Ты ведь коммунист, и сердцу твоему положено быть таким, как бы сказать... добрым, что ль... воспитательным. Ты что ведь со мной можешь сделать – в грязь мурлом сунуть.

– Это почему же?

– А потому. Узнают мои ребята, ты у меня перегной назад спер – смехота поднимется... и меня как бригадира под овраг. Так, не так ли? И думай, чего тут делать. – Никита нагнулся, сел на корточки и долго смотрел Епихе в глаза.

Епиха заерзал.

– Конечно, как член партии я должен и твой интерес блюсти. Да. Но как же тут? А-а?

– А вот как, мил сокол: ты скажи – перегной перевез по моему доброму, вольному согласию. Как в обмишулке я его у тебя забрал.

И они договорились. Тогда Никита поднялся с корточек, посмотрел в сторону села и, увидя, как оттуда движутся в поле люди, проговорил:

– На нас с тобой, как на благовест, народ пошел. Вон и батарея наша тронулась.

По дороге тянулись гусеничные тракторы.

Первый трактор вела Стеша.

Было страшно. Было страшно сесть за трактор и впервые двинуть с места эту

машину. Но трактор пошел плавно, и только там, где попадались лужи, он, разбрасывая во все стороны водяную муть, нырял, и с его тупорылой морды стекали струйки.

– Пошел! Пошел! Пошел! – шептала Стеша, крепко впиваясь тонкими пальцами в рычаги, хотя этого вовсе и не надо было делать: легкий поворот рычага моментально в любую сторону поворачивал массивное, тяжелое тело трактора. «Все устраивается. Хорошо. Кирилл, все устраивается». Она посмотрела по направлению к селу – оттуда тянулись остальные тракторы, их вели девушки, и солнце играло красными косынками.

Солнце палило землю, и весна наступала – торжественно, по всему земному фронту, и ликовала освобожденная от зимнего покрова земля, и пели на соломенных крышах сараев серые, отощавшие скворцы. И Стеша вдруг как будто проснулась от глубокого сна; все, что было с ней до этой минуты, казалось, было во сне: во сне она рожала, во сне до отупения прибирала комнаты, во сне ссорилась с домашней работницей. И вот только теперь она вдруг проснулась и почувствовала по-настоящему, что она жива, живет и мир перед ней обширен, ласков и интересен.

### 3

Кирилл проснулся вскоре после отъезда Стешы. Не открывая глаз, он протянул руку, намереваясь обнять Стешу, как это он делал всегда. Но, пошарив рукой по дивану, удивленно открыл глаза.

«Ушла к себе», – решил он и поднялся.

Записка от Стешы лежала на стуле.

«Да. Конечно. Я бы на ее месте поступил так же. – Кирилл облегченно вздохнул, когда первый раз прочитал записку, затем подошел к окну и громко раскрыл его. – Ну, вот, я опять холостой. Хорошо». Но когда во второй раз прочитал записку и задержался на фразе: «Зачем ты это сделал?» – ему вдруг стало стыдно, как будто его уличили в самом пакостном, а прочитав дальше: «...и не думай приезжать ко мне», понял, что Стеша никогда не вернется, и тот семейный уют, та семейная радость, какие у него были, теперь навсегда нарушены, разбиты, развеяны. И еще он понял, что Стеша ушла от него не потому, что он «находился в связи с Феней», а потому, что он накануне нанес Стеше, вот тут, на диване, такое оскорбление, которое она не могла простить и которое вызвало в ней отвращение к нему.

И Кирилл затосковал:

«Значит, уехала на поезде... даже машины не попросила». Он быстро оделся и помчался на вокзал.

Но утренние поезда ушли, и на вокзале было пусто. Только две уборщицы подметали пол, посыпая его сырыми опилками. Вернувшись домой, Кирилл увидел и в квартире такую же пустоту, как на вокзале.

– Зачем ты это сделала? – проговорил он.

Кровать Стеши была прибрана, но одеяло с нее увезено, увезен также и портрет Стеши. Портрет же Кирилла висел на стене, и на нем рукой Стеши было написано: «Какой все-таки ты еще мужик, Кирилл».

– А ты баба, – обозленно сказал он так, как будто Стеша стояла тут же, и спохватился. «А может быть, и так... может быть, мужик сидит во мне. Что ж, добивай! – мысленно обратился он к Стеше, и ему стало смешно: – Пристукнул, а теперь «добивай». – И, разорвав портрет в клочья, он швырнул их в корзину. – Кирилл Ждаркин еще ни перед кем на коленях не ползал, – сказал он. – Посмотрим! – Но тоска снова согнула его. – Ах, зачем ты все это сделала? Зачем? – Он вышел из спальни и, не находя себе места, долго кружил по кабинету. – А где Аннушка? Неужели она и ее сорвала с учебы?»

Аннушка лежала в постели, испуганно прикрываясь одеялом.

Кирилл присел на кровать:

– Тебе ничего не надо, Аннушка?

– Нет, – резко ответила она. – Ты вот за мамой плохо ухаживал, и мама уехала к своей маме. И я уеду. Вот кончу школу и уеду.

– Значит, и ты меня не любишь?

– Нет, люблю. И мама любит. А ты нас не любишь: ты себя любишь.

Кирилл счел, что всему этому Аннушку научила Стеша, и ему стало досадно на нее за то, что она и Аннушку втянула в их «скандалы», но Аннушка говорила своим языком, вовсе не намекая на те факты, которые знала Стеша.

«Да-да-да, – думал он, слушая Аннушку. – Она уже не ребенок. И она, конечно, многое понимает. Это я смотрю на нее, как на ребенка».

– В тебе мелкая буржуазность сидит, – по-детски, но серьезно, обычным тоном хозяйюшки пилила его Аннушка.

– Нет, Аннушка, не то... совсем не то. Что-то другое. Я и сам еще не знаю – что. И мне порой кажется, что ни я, ни мама не виноваты в том, что стряслось.

– Бог? – засмеялась Аннушка. – Боженька? Бабушка вон все про бога.

– Хуже, – сказал Кирилл.

– А я вот когда женюсь... – Аннушка покраснела, – я договор напишу: не обижать, а обидел – катись колбасой.

– Легко и просто. – И, видя, как Аннушка обиженно моргнула, Кирилл поправился: – Нет, нет. Конечно, верно. Конечно, так надо, – и вышел из комнаты, чувствуя в себе полную опустошенность.

Он надел белый костюм, купленный еще в Риме, белые туфли, посмотрел на себя в зеркало и криво улыбнулся.

«Все это маска, – думал он. – Но маска нужна, ибо сегодня у меня собираются дворники».

Кирилл недавно принялся за благоустройство города. Инженеры, заведующий коммунальным хозяйством разработали план, смету, потребовали огромную сумму денег на зеленые насаждения, на расчистку дорожек в парке, на уборку мусора. Кирилл посмотрел планы, сметы, затем резким движением руки, подражая Сивашеву, отодвинул все от себя, сказал:

– Блуд какой-то, а не план. Денег требуете? А где у вас народ? Что ж вы думаете, народ не хочет красиво жить? Перепишите всех дворников и, как только я вернусь с сессии, соберите их у меня.

И вот сегодня должны собраться дворники.

Они уже все сидели в обширном зале горкома партии – нечесанные, лохматые, небритые, чумазы. И когда Кирилл вошел к ним в белом костюме, кое-кто из них хихикнул.

– Здравствуйте, товарищи, – сказал Кирилл. – Вот вы, дворники, стало быть, вроде санитары, а сами на что похожи? Сколько раз в неделю бреетесь?

– Как придется, – ответил кто-то.

– Так вот. Мы вам выдадим чековые книжечки, и через день каждый из вас должен бриться в нашей парикмахерской. И еще – мыться в бане. И еще – сапоги вам надо. Фартуки. И бляхи. Обязательно бляхи! Какой же ты есть дворник, начальник, а без бляхи. Но за это...

Дальше Кириллу не надо было говорить.

Дворники мобилизовали женщин-домохозяек, и вскоре город принял другой вид: под окнами домов зазеленели деревца, улицы расчищены, канавы срыты.

– Вот как, – смеялся Кирилл над инженерами. – Силу народа надо всколыхнуть – и красиво жить будем.

В работе Кирилл забывался: он дни и ночи проводил в горкоме партии или на заводе, забирался в горы – к земляным жителям, объезжал торфяные участки, лазил на домны, посещал квартиры рабочих, спускался в разведочные шахты. Он в работе как бы намеренно изнурял себя.

С Богдановым в эти дни творилось тоже что-то неладное. Лицо у него опухло, сам он как-то весь отяжелел. Он почти не выходил из своего кабинета, работал, торопился, словно предчувствовал конец. И однажды, придя к Кириллу, сказал:

– Не сплю. Вовсе...

– Да ну-у? – Кирилл хотел было перевести все на шутку, но, увидев измученное, опухшее лицо Богданова, серьезно спросил: – Это как же? Так вот, лежишь, а глаза открытые?

– Лежу, а глаза открытые.

– И не спишь?

– И не сплю.

– Не понимаю. А я как только голову на подушку – так сплю как камень.

– Ты другое. Порода другая. Так вот, я хочу в отпуск. К черту на рога хоть, что ль, поехать. С центром я все согласовал. Ты оставайся вместо меня. Веди дело... а я поеду куда глаза глядят.

– То сшибло тебя? То?

– А-а-а? Нет. То не сшибло бы, если бы был помоложе. Нет. Устал.

И Богданов отправился «куда глаза глядят», а Кирилл еще больше закружился в работе. Утвердив предварительный план нового вагоностроительного завода, постройку которого решил начать с осени, он отправился в горы. Отправился один, без Фени. С ней он тоже стал сух, да и она как-то сторонилась его. Очевидно, и на нее отъезд Стеша подействовал удручающе. Лишь однажды, протягивая ему папку с бумагами, она спросила:

– Зачем уехала?

Кирилл понял, о ком она спрашивает, и посмотрел ей в глаза. Они были все такие же зовущие, требовательные, но в них дрожал испуг.

– Уехала. Что будешь делать?

– Не подходява? – пошутила Феня и зло добавила: – Но ведь я с тобой. Разве тебе этого мало?

Кирилл посмотрел на нее. Да, она красива, особенно красива сегодня в своем полумужского покроя костюме, остриженная под мальчика.

– У меня в душе пустота, Феня. Все будто вымолочено, осталась труха и мякина, – глухо произнес он.

– А заводы?

– Что заводы? Заводы само собой.

– Э-э-э, рюха-а! – И Феня отвернулась, скрывая от него свою боль. – Я бы на твоём месте взяла бы отпуск и уехала бы куда-нибудь..

– А разве ты не на моем месте? Брось, Феня, я же все вижу. Ты только... как бы тебе сказать... пусть не будет у тебя ненависти ко мне.

– Я думала, ты другой, а ты только о себе. Ну, хорошо. Вот тут бумаги. Посмотри их... и, если я нужна буду, – позови. Позови меня... я приду, Кирилл. Приду, – подчеркнула она и вышла.

Кириллу было ее жаль, но он все-таки не позвонил, не позвал ее: он чувствовал только одно – свою вину перед ней, но и это чувство было холодно.

#### 4

Арнольдов приехал на завод в те дни, когда Кирилл не находил себе места. Он был очень рад приезду Арнольдова и уговорил его переправиться из гостиницы к нему на квартиру, предполагая, что тогда сам передохнет, не будет так упорно метаться по заводам, тем более что ему было о чем поговорить с Арнольдовым.



– Мы ведь с тобой полсвета проехали, – говорил он, помогая расставлять на обширной и светлой террасе все «причиндалы» арнольдовской мастерской.

Но такой расторопности и такого оживления у Кирилла хватило на три-четыре дня, а потом он опять захмурил и перестал являться домой.

Арнольдov не знал о его семейных делах и однажды спросил:

– Что с тобой? Ты всегда хмур, зол... точно тебя собираются вешать.

– Хуже. Но об этом потом. А теперь покажи-ка мне, что ты рисуешь. Печать все еще продолжает расхваливать твою картину «Перекоп». Видно, хороша, если не перестают трубить.

– Тебе можно. Смотри, будь строг, как друг. – И Арнольдov снял простыню с полотна.

Кирилл увидел перед собой незаконченную картину. На большой поляне лежит группа нагих женщин. Они лежат в разнообразных позах и, видимо, о чем-то спорят – бурно и страстно. Поодаль от них стоит кресло, и в кресле – что-то такое, начерченное мелком. Кириллу бросилась в глаза одна очень знакомая фигура, и он отступил от полотна.

– О-о-о! – воскликнул он чуть погодя. – Это здорово. Вот такая она и есть. Это же Феня... Панова.

Феня лежала, перегнув спину, и вполуоборот смотрела на Кирилла чуть раскосыми глазами. Она смотрела страстно, зовуще, теми самыми глазами, какие он видел у нее, когда она прикуривала от его папиросы там – в горах, в пещере.

– Здорово! – сказал он. – Где ты ее такой подцепил?

– Я видел ее на плесе. Случайно. Она, очевидно, после купания лежала на песке. Я долго наблюдал за ней. Ничего. Нам разрешено такое дело, потому что мы не подглядываем, а наблюдаем. Жизнь, брат, дает нам соки. Потом я пошел на нее, думая, что она устыдится меня, вскочит и накинет на себя белье. А она просто, так вот, как тут на картине, повернулась ко мне лицом, и глаза у нее были вот такие же, как тут – зовущие. Взгляд, очевидно, был предназначен не мне, а кому-то другому, о ком она мечтала в это время. Но она еще не успела скрыть этого взгляда, и я поймал его. Я ей поклонился. Смешно. Она нагая лежит на песке, а я перед ней снимаю кепи. И мы разговорились. Она красивая, но холодная. Она еще не разбужена тем, кто ее должен разбудить.

– Да-а. Но я знаю, – запинаясь, проговорил Кирилл, уверенный в том, что Феня на песке думала о нем. – Знаю, она уже не девушка...

– Это ничего. Первый – это еще не владыка.

– А что ты хочешь сказать вот этой фигурой? – перебил его Кирилл, показывая на неоформленную фигуру в кресле.

– Эта? Это мать. Материнство. Понимаешь?

– Не совсем.

– Видишь ли, гражданская война, разруха, тиф, голод и прочее как-то

заставили нас забыть о том, что женщина, кроме политического деятеля, еще и мать. Мать, материнство – самое великое в женщине.

– Теория Отто Вейнингера, мракобеса! – вставил Кирилл.

– О-о, нет. Отто Вейнингер, как тебе известно, утверждал, что женщина по природе своей ниже мужчины и поэтому ее удел – тряпки, кухня и ублажать мужа. Нет. Я не то. Вот в древнем Риме – помнишь, мы с тобой видели все это – уважали в женщине самку. В Помпее, в храме, рядом с богиней красоты стоит гермафродит. И это не случайно. Удовлетворение половой страсти считалось превыше всего... и гермафродит, дескать, такое существо, которое имеет возможность испытать и мужское и женское наслаждение. Вот идеал. А я хочу показать, что в женщине, кроме всего прочего, превыше всего – мать... материнство. Не будь в ней этого материнства, она превратилась бы в бездомную суку.

Кирилл подумал: «Мои мысли».

Арнольдов продолжал:

– Вот в этой фигуре я и хочу показать беременную мать. Беременную женщину считают уродливой. Она прячет свое «пузо». Это по сути дела – наследие прошлого. Меняется мир, меняется и понятие о красоте. Не так ли?

Арнольдов говорил долго, и то, что он говорил, было близкое и родное Кириллу, и он вспомнил, как Стеша мучилась своей беременностью, и как он, Кирилл, тогда бережно относился к ней, и как он любил ее именно беременную. Об этом он хотел было сказать Арнольдову, но Арнольдов увлекся своими мыслями и продолжал:

– Я вот еще не встретил такую. Понимаешь ли, у нас в стране очень много беременных женщин, особенно у вас на заводе. Живут хорошо и плодятся хорошо. Но в них нет еще того... как бы тебе сказать – сознания своей красоты. Вот если бы забеременела Феня, то она с величайшей гордостью и с великим сознанием своей красоты стала бы носить свое «пузо». А теперь она ищет того, от кого бы она понесла. Вон видишь, как она смотрит: она зовет, кричит своим взглядом.

«Вот бы ему посмотреть Стешу», – подумал Кирилл и, перебив Арнольдова, заговорил:

– Тебе надо поехать в колхозы. Там, в колхозах, – проще, натуральной. – Говоря так, Кирилл думал, что если Арнольдов поедет в колхозы, то непременно увидит Стешу и непременно скажет ей о том, как он, Кирилл, одинок. – Ты езжай в Широкий Буерак. Я дам тебе письмо к директору тракторной станции, и он перезнакомит тебя с замечательными женщинами.

– А, пожалуй, верно: там земли больше, а земля дает простоту, – согласился Арнольдов. И спустя несколько дней отправился в Широкий Буерак.

Пыль бурно, как ракета, вырывается из-под машины и, распутив пушистый хвост, превращается в пышное облако. Ветер уносит облако в сторону, и оно медленно оседает на широких просторах полей.

Большак!

Это тот самый большак – от Москвы до Астрахани – шириною в «девяносто аршин», по которому когда-то гнали людей, закованных в кандалы, гнали в пересыльные тюрьмы, в маляриную Астрахань, на взморье, на пустынные острова.

И не по этому ли большаку шествовал великий Чернышевский?

Арнольдов вынимает тетрадь и черным жирным карандашом делает набросок. Длинный-длинный большак, кажется – ему нет и конца, по большаку шагает Чернышевский, а по обе стороны раскинулась Русь: мелкие загончики, ветхая церквешка, покосившаяся набок, плетешок, мальчишка у столба, с сумой за плечами... вороны... стаи ворон...

Темы!

«Вот они, темы!» – думает он, вспоминая последние бурные дни в Москве.

Арнольдов принадлежал к тем молодым художникам, которые, не стесняясь, отдавали свое творчество на служение народу. Они говорили об этом прямо и откровенно, гордились этим:

– Искусство – в народ, и народные таланты – в искусство.

С этим соглашались старые, заслуженные художники. Но когда молодая группа, во главе с Арнольдовым, выкинула новый лозунг: «Чтобы писать о наших днях, надо жизнь прощупать собственными руками», – тут в мире людей искусства поднялся самый настоящий галдеж: одни упрекали молодых художников в «эмпиризме», другие называли их «гужедами», особенно те, кто «обряжался» под Льва Николаевича Толстого, третьи – «натуралистами», четвертые – «неонародниками», пятые обвиняли их в тенденциозности, хотя все знали, что без тенденции не было и нет ни одного крупного произведения, что она есть и у Врубеля, и у Репина, и у Сурикова, и у любого художника прошлого.

– Например, – говорили молодые художники, – Лев Николаевич Толстой утверждал, что автор должен хватать зрителя: не вежливо под руку, а сильно, за шиворот. Автор должен вести за собой зрителя, куда он, автор, хочет, и не позволять оглядываться по сторонам.

Хорошо было то, что Арнольдов принес в художественный мир не только свой взгляд, но и картину «Перекоп», достоинств которой не могли не признать и его противники. Но около мастеров кисти всегда ютилась «свора борзых», как называл их Арнольдов. Они подняли шум, найдя в картине неполадки технического порядка. На одной из пушек было покошено колесо. Хотя оно и должно было быть таким, потому что пушка стояла на грязной дороге, но к этому придрались, и началось улюлюканье, то самое улюлюканье, которое всегда и охотно подхватывает обыватель... И пошло. Арнольдова вдруг обвинили в том,

что он не признает классиков, отвергает всю культуру прошлого, вообще не учится и не хочет учиться, что это «не художник, а маляр». За Арнольдова в печати вступился старый большевик, художник Евграфов, но на него напустили так называемых «шавок», и шавки закидали его вымышленными обвинениями. Евграфов замахал руками, а при встрече с Арнольдовым сказал:

– Милый! Бегите отсюда. Бегите к народу – на заводы, в колхозы – и пишите. Это, знаете ли, омут – спор такой: засосет, и не вылезешь. Если бы я был молод, как вы, я писал бы себе где-нибудь там... на харчах у жизни.

И Арнольдов уехал.

Но вот теперь он вспомнил «московский спор» и снова подумал:

«Да, чтобы писать о наших днях, надо жизнь прощупать собственными руками. Вот она, жизнь».

Большак отпихивается, не видно мельчайших загончиков, нет косых церквешек, не зияют дырами плетешки... Широченные карты колхозных владений.

А это уже тема... мировая тема.

Или вот:

Девушка в голубом платье бежит через косогор. Ветер бьет ее сбоку, треплет ее волосы. А девушка упорствует, бежит и улыбается. Глаза у нее светятся затаенными огоньками, губы шепчут что-то, а она бежит, легко перепрыгивая через рытвины, канавки, выскакивает на изволок и снова спускается в канаву.

Кто это? И куда она так торопится? Она, очевидно, бежит на свидание к своему милому. У нее сегодня выходной. И он, ее милый, дожидается вон в том парке – в старом, дубовом, крепком парке.

Ах, этот парк! Эти поросшие ягодником полянки! Эти залихватские пляски! Эти песни! Никогда их человек не поет так, как поет в юные годы!

И девушка спешит туда, где песни, где пляски, где игры, где зеленые полянки, поросшие ягодником, где долинки – сырые и прохладные, с кустами дикого малинника.

И вдруг она останавливается: в ложбине, в зарослях лопухого конского щавеля бродят телята. Увидев девушку в голубом платье, они выставили тупые мордочки и замерли.

– Я не к вам. Сегодня я выходная, милые мои. Понимаете! – говорит она и бежит дальше.

– Мэ-э-э, – закричали телята и кинулись к ней.

Один из них – рыжий, лобастый, на кривых ногах, обогнал ее и со всего разбегу сунулся мордой в ее голубое платье.

– Муха! Шалишь. – Девушка оттолкнула теленка. – Видишь, я нонче нарядная, а ты со своей грязной мордой. Не пачкай. Слышишь?

Но телята уже лизали ее платье, мусолили, лезли под ее ласковые руки,

мычали, и голубое платье девушки стало пегое, в пятнах, а у девушки выступили слезы.

– Ну, что вы наделали со мной, озорники? Ты вот, Лиза, как тебе не стыдно? – упрекнула она телочку. – Уши у тебя торчат, как у зайчика, а озорства сколько...

– Нюрка! Жена Гриши Звенкина – председателя колхоза, – говорит Захар, – наша молодчага. Телята за ней, как ребятишки. Она их из мертвых воскрешает. – И Захар рассказывает про то, как Нюрка выходила в эту весну двенадцать телят – от поноса, от рахита, от простуды. – И теперь телята, глядите чего, куда она, туда и они.

– Ты куда принарядилась? – спрашивает Захар Нюрку.

– Да к Никите... праздник нонче у него... я хотела пораньше, чтобы приукрасить избу...

«Ну вот, – думает Арнольдов, – я мог ошибиться... я подумал, эта девушка спешит на свидание... Я мог ошибиться в этом... но это я мог бы и придумать, а ведь того, как она ухаживает за телятами и как телята ее любят, придумать нельзя: это кусок жизни, такой жизни, какой еще не было».

...Могучий гусеничный трактор «сталинец» ползет по полю. Он тянет за собой несколько лемехов, а за лемехами – бороны. Кажется, эта махина долго будет возиться на поворотах, но она повернулась плавно, точно лодка на тихой реке... и Арнольдов не выдержал, зашагал за трактором. Трактор ведет Катька.

– Эй, соколик! Иди сюда. Только не запачкайся, – кричит она.

И Арнольдов взбирается на трактор.

– Молодец! Давно водишь трактор?

– С пеленок.

– Как это с пеленок? – не понимает Арнольдов.

– А так – соску еще сосала, а уже трактор водила. Эх, ты-ы!

И Катька смеется, вместе с ней смеется и Арнольдов. Но Арнольдов смолкает первый. Он что-то заметил в стороне...

– А-а-а, глаза туда пялишь, – говорит Катька. – Это наш бригадир идет. Огонь-баба. Мужика давно не видала. Вот бы тебе подсыпаться.

– Экая ты... злоязычная.

– А что? У меня что на уме, то и на языке. А у вас на уме одно – полежать бы с бабенкой под кустом, а на языке – благородство. Так ведь? Ну, и поди к ней. Она баба-огонь... задушит вмиг. Вон как шагает. И фамилия у нее такая же – Огнева. Ой, баба!

Стеша идет по дороге. На ней куртка хаки, такие же шаровары и сапоги. Она шагает широко, размашисто, подчеркнута по-мужски. Голову она держит прямо, не сгибая. Голова открыта, и волосы выцвели, порыжели. В волосах играют предвечерние лучи солнца.

– Вишь, идет как, что твой конь ретивый. А в кармашке книжечка записная... Зачем? А затем: знай, мол, наших – вот мы, бабы, какие. Вот!

– Захар Вавилович, здравствуй, – и голос у Стеши грудной, густой. – Кого это вы нам привезли?

– Художника, – и еще что-то говорит Захар, но Арнольдов за гулом трактора его не слышит.

«Вот она, вот она, вот она!» – кричит в нем все, и, спрыгнув с трактора, он бежит к ней.

– А-а-а, заело! – бросает ему вдогонку Катька и хохочет.

Арнольдов побледнел. Он побледнел не от слов Катьки. Он вовсе ее и не слышал, он побледнел, как бледнеет юноша, встретив ту девушку, при которой он не смеет даже глаз поднять. «Она, она, она!» – только и стучало в голове Арнольдова, а сердце сжималось, и сам он сделался каким-то «спутанным».

– Арнольдов, – еле выговорил он, пожимая ее маленькую, но жесткую от работы руку, неотрывно глядя ей в глаза – большие, зеленоватые, с густыми черными ресницами. «Вот она: мать», – билось у него, и он снова что-то пролепетал.

– Арнольдов? – Стеша пристально посмотрела на него, что-то вспоминая. – Нет, нет, я вас не знаю... Мне один человек говорил про Арнольдова, но это, очевидно, не вы, – и повернулась к Захару. – А у нас сегодня самый высокий день – норму удвоили.

– Это как так?

– Вчера я перевела свой трактор на третью скорость. Сначала было страшно... и, оказывается, пошло.

– Да не может... – Захар даже подскочил. – И пошло?

– И пошло.

– Да ведь тебя за это по всему Союзу прославить мало! Да ты покажи-ка!

– Пойдем. Только девчат я сегодня на ночь хочу отпустить, пусть погуляют.

– Верно! Верно! – закричала Катька. – Голуби и те милуются, а мы тут, что ж, деревянные, что ль?

– Вы не думайте, что Катя такая, – вспыхнув, проговорила Стеша, обращаясь к Арнольдову. – Она у нас славная.

– Еще бы. – И Катька снова засмеялась.

## 6

Никита ждал гостей.

В избе всюду развешаны портреты вождей, это сделала Нюрка. Прискакала

раньше всех, портреты повесила, а сейчас лезет в брезентовый портфель и спрашивает:

– Никита Семеныч, а твой портрет куда?

– Мой? Это зачем же? Что я, святой, что ль? – но портрет взял и долго всматривался в него. – Литой, – под конец сказал. – Я самый. Вешай на видное место.

В сумерках у двора остановились взмыленные кони. Съезжаются соперники Никиты – бригадиры, председатели колхозов. Кони топчутся, грызут удила. Видно, нарочно запрягли первосортных коней, чтоб подразнить Никиту.

– Да ведь меня не укусишь! Во что!

Никита выбежал во двор, растворил ворота настежь, – пожалуйста, въезжай, кому не противно. А когда коней распрягли, он по очереди обошел всех.

– Кони ничего, конечно, – сказал. – А трактора – ладней. Вот к нам недавно пришел один. Рысак, истинный бог рысак. А то автомобили те же. Сел на него – фырк! – и нет тебя. – И, довольный тем, что унижил коней своих соперников, он быстро вбежал в избу... и тут впервые рассердился на Анчурку.

Анчурка сидела за столом в новом платье, причесанная, то и дело прикрывая ладошкой рот, точно вытирая губы. И то, что она сидит, а не хлопчет, не понравилось Никите.

– Детка! – позвал он. Она поднялась, подошла к нему, и он глядит на нее снизу вверх, ибо на целую голову ниже ее. – Детка! Как там поросенок у нас? Ты его погуще смажь. Вообще, еды побольше. Ведь люди приедут не балясы точить, а подразнить и попить-поесть вообще. И большаки вот-вот подкатят. Племяш непременно хотел быть и Сивашев, Сергей Петрович. Не обманут? – обращается он к Нюрке.

– Думаю, нет.

– А ты помолодей, помолодей, детка. Ну, не знаешь как? Шустрей ходи, – подгоняет он Анчурку.

И вот гости вваливаются в избу. При мерцающем свете лампы мелькают разгоряченные лица, и десятки рук тянутся к Никите, жмут, хлопают по спине, щупают на нем жирок.

– Ну, что, накопил?

– Там тебя, поди-ка, салом кормили?

– Теперь и Анчурке надо жирку нагнать, – то и дело слышатся голоса.

А Никита только ухмыляется, рассаживает гостей и тревожно посматривает в окно – ждет Кирилла Ждаркина и Сивашева на длинной и плотной машине. Вот вошла Стеша и села на первое место, под портрет Никиты.

«Ну, и хорошо. Валяй, сиди там. Вот племяш подскочет и вместе посидите», – говорит про себя Никита и снова тревожно посматривает в окно.

На стол уже двинулись яства. Вот жареный поросенок. Да какой там

поросенок! Это же целая хрюшка. Она легла на стол, уткнув морду в скатерть. Лоб и спина у нее аппетитно поджарены. За свиньей потянулись широкие, как леши, пирожки с мясом, с картошкой, с рисом. Валяй все на стол! Мечи! Вот и плоски с жареной бараниной, огурцы пузатые, караваи хлеба – взбитые, мягкие, вкусные. Вот и стаканы граненые, чашки расписные с цветочками, низенькие, неповоротливые, точно кургузые бабы. А у ног Никиты под столом стоит порядочная армия «боевых солдатиков»; Никита не двигается с места, придерживает их ногами, и со стороны кажется – ноги его прикованы под столом. А вот и Сивашев! Сергей Петрович. Секретарь Центрального Комитета партии. Он, входя в избу, нагнулся. Экий дядя выпер. В дверь не лезет. Он ездил по краю и, узнав о том, что Никита вернулся с курорта, решил побывать у него.

– Прошу! Прошу! – приглашает Никита. – Дорогого гостя! – и сразу принимает другой вид, норовит говорить так, как говорил там, на курорте, – по-городскому: – Прошу, пожалуйста, покорно – место первое выбирать, как мы все того желаем от чистого сердца и как вы есть главный глаз от партии.

Да. Но нет племяша... Вот кто-то еще подъехал. Входит. Нет, это Захар Катаев, а с ним еще кто-то тощенький, ручки беленькие, лицо чистое и улыбочивое. Что ж, Никита и им рад.

– Захар Вавилычу, милай. Садись, где хошь. Кто гость? Говори прямо.

– Арнольдов. Товарищ Арнольдов, – отвечает Захар. – Художник.

– Это ж какой?

– Портреты и всякие картины, значит, рисует.

– А-а-а. Люблю таких. – Никита хотел было кинуться к Арнольдову, но под столом загремели бутылки, и он снова замер на месте.

– Ну, как на курорте-то? – спрашивает Захар.

– Да вот первое, гляди на меня. Бороды нет. Обрили, стало быть. Раз. И отмыли меня там. Шестьдесят два года ржавчина на мне оседала. – Все смеются, а Никита добавляет: – Вот чего нам надо строить – дома такие, и всех старательных в годок раз туда посылать, чтобы жиру они накопили. Эх, да что там! – вдруг кричит он. – Что я раньше-то жил? Кошек дохлых обдирал. Знаете что: скот пусти – и тот ищет, где лучше корм, а ведь человек – с башкой рожден: его не проведешь.

Но люди молчат. Люди улыбаются и молчат.

– Разговору бы надо влить. – И Захар смеется в кулак.

– Ага, – соглашается Никита и косо смотрит на Сивашева.

Сивашев, ничего не понимая, осматривается и протягивает через весь стол руку Стеше.

– Здравствуй, Стеша. Не заметил тебя. Читала? В «Правде» о твоей работе статья большая... и портрет.

– Читала, – хладнокровно и отрывисто отвечает Стеша.



Арнольдov смотрит на нее:

«Играет. Ходит размашисто – играет. Резко говорит – играет. Книжечку в грудном кармане носит – играет. Чем-то обижена? Крепко обижена... Но вот, вот – она настоящая». Стеша в это время повернулась к Анчурке и совсем просто о чем-то с той заговорила.

– Да-да. Разговору... разговору надобно. – И Никита снова смотрит на Сивашева. – Я о влаге. Влаги, говорю, надобно бы... как это – по программе или не по программе? Просвети нас. В голову вколоти, Сергей Петрович.

– А-а-а, – догадывается Сивашев и, налив водки в кружку, поднимает над собой и кричит: – Да я за вас керосин и то выпью, а не только эту влагу!..

И яства тронулись: пошли по порядку ломти свинины, захрустели сочные огурцы, зазвенели стаканы, медленно задвигались пузатые, неповоротливые чашки... и все ожило, заговорило, заклокотало...

– И еще я пью за здоровье нашего многоуважаемого, который является зорким глазком у нас в стране, за нашего старого друга, за товарища Сивашева, Сергея Петровича.

– И еще я пью за бездонного коммуниста – Захара Вавиловича Катаева.

– И еще я пью за супротивника своо – Епиху Чанцева.

– И еще я пью...

И стукались, гремели граненые стаканы, пузатые чашки.

А вот ударила русская «Барынька», и люди кинулись в пляс. Никита заулыбался. Он некоторое время смотрит на плясунов, но вот у него дрогнуло плечо, он перенес ногу через скамейку, и не успел он перекинуть вторую ногу, как пошла Анчурка. И куда только девались ее неуклюжесть, размашистый шаг! Она идет плавно, выставив ладони, плотно сложив их, поводит всем корпусом и, отбивая дробь, все наскокивает, наскокивает на «кавалеров».

– Эх, ты-ы, – вскрикнул Никита и пошел на Анчурку, выкидывая плясовые коленца, припевая.

Закряхтел пол под ударами ног, замигала лампа, густая пыль ударила в потолок, застлала окна, лица людей. А люди извиваются, прыгают, приседают, ухают, охают, обливаются потом, норовя переплясать друг друга, перепеть, показать свою удаль – одни уже загубленную, другие – еще молодецкую. Вон танцует пара – Гришка Звенкин и Нюрка. Нюрка раскраснелась. Она уже не в голубом, а в сером платье. Она отбивает дробь ногами и все налетает на Гришку, что-то кричит ему на ухо, а он хохочет громко, закинув голову назад. А вон за столом сидит Епиха Чанцев. Он не может плясать, но он рукой хлопает по столу и ложкой по блюду.

– Эва! Эва! – выкрикивает он.

Никита, еле дыша, сел за стол, а Анчурка – неугомонная – все еще носится, все еще поводит плечами, все еще наскокивает на своих кавалеров...

– За пляску ее полюбил, – шепчет Никита Арнольдovu и сам верит этому, хотя пляшущей Анчурку видит впервые. – Увидел вот, как она в девках пляшет, и полюбил. Ведь она какая была: выйдет, бывало, в круг, поведет плечом, окинет глазом – и ребята с ног валятся. Вот за то и любил.

– А теперь?

– И теперь люблю. Сын у нас имеется. Ой, и сын! Хахаль! – Никита быстро вскакивает из-за стола, убегая во вторую комнату, и через несколько минут является оттуда с сыном на руках. Сын, рыжеголовый, розовый ото сна, просыпается и, ничего не понимая, валится на грудь отца. – Вот какой сын. Вот!

– Эй, – и Анчурка вырвала сына из рук Никиты. – Ты-ы! Что те, поросенок, что ль?

– Вот какой сын. Видал? Ясно. Анчурка меня вальком по спине взгреет. А ведь я должен похвалиться? Должен? Стеша!

– Обязательно, – отвечает Стеша и улыбается.

Под окнами толпятся люди, лезут в двери, в окна. Анчурка прикрывает окна занавесками. А Никита резко отдергивает занавеску и гремит:

– Пускай глядят! Пускай дивятся! Теперь ко мне и Михаил Иванович Калинин приедет. А что? Сядет на аэроплан и прикатит. Я ведь его видал. Стеша! Степанида Степановна! Давай, чебурахнем. А-а! Эй, народ! Я что имею? Я имею выпить за Степаниду Степановну. Ой! Я много с ней имею. Дел разных. Ты ведь у меня, Стешенька, – самый первач в поле. Ну, выпьем.

И все поднимаются из-за стола, все тянутся к Стеше. Стеша резким движением берет стакан и выплескивает из него водку в рот. Она задохнулась, но, не показывая виду, говорит:

– Вот и чебурахнули... А я предлагаю выпить за женщин.

– Люблю! Баб люблю. Аль не баб – женщин, – соглашается Никита и пьет.

И опять ударила гармошка, опять заскрипел пол под ударами ног.

– Гриш! Гриш! – Никита треплет Гришку Звенкина и кричит ему в ухо: – Жизнь-то! Жизнь какая наступила... и гости... гости... гости какие у меня. Эй, вы! Стоп на один секунд! Стоп, гармонь! Стоп!

В избе все постепенно смолкли. Никита поднял над головой стакан с водкой и произнес раздельно, с остановками:

– Хочу выпить... за племяша... за Кирилла Сенафонтыча Ждаркина.

Все рявкнули «ура» и выпили. Одна только Стеша отодвинула свой стакан, поднялась из-за стола и ушла в чулан. Этого никто, кроме Арнольдова, не заметил. А когда она снова появилась у стола, он ее тихо спросил:

– Все выпили за Ждаркина, а вы что ж?

– А вы контролируете? – грубо одернула она его и, заметя, как глаза у Арнольдова блеснули обидой, смягчилась, сказала: – Не спрашивайте. И не думайте плохое. У каждого есть свое. Вы надолго к нам?

– Это верно, у каждого есть свое, – согласился Арнольдов и ближе пододвинулся к ней, не сводя с нее глаз.

Стеша поймала его взгляд и дрогнула.

«Что это со мной? – подумала она. – Вот еще раскисла». Она хотела грубо оборвать его, но сказала мягко:

– Вы приходите к нам в бригаду. У нас есть очень хорошие люди, – и повернула голову к окну: далеко в ильменах снова пел рыбак свои ловецкие песни. Значит, занимается заря...

Гости разъезжались, расходились, а Никита Гурьянов, без шапки, что-то мурлыча себе под нос, шагал в поле.

## 7

Рожь колосистая...

И поют же про тебя песни! Ах, какие про тебя поют песни – звонкие, разудалые! Вот склонилась ты и щебечешь колосом своим усатым, граненым, наливным, тяжелым – и про это поют. Вот выколосилась ты и обильно, охапками во все стороны разбрасываешь желтоватый цвет – и про это поют. Вот сжата ты и лежишь, в снопах – богатырями усеяла поля – и про это поют. Но вот ты сникла, поредела, как волосенки на голове старика – и про это поют, с надрывом, со слезой, с проклятием. Рожь колосистая...

Никита Гурьянов – об этом весь мир знает – никогда толком не обедал. Грязный, с ошметками на руках, он вбегал в избу, хрипло ворчал на своих домашних и, не садясь за стол, хватал раз-два, как собака, и опять бежал в поле. С самой ранней весны и до поздних заморозков он пропадал в поле, норовя «урвать кусок белого пирога». Хапал Никита, урезывал семью, себя, отпахивал борозду у соседа, и, когда это сходило, – радовался, открывалось – молча отступал: все равно борозду отнимут да еще по заливку заедут.

И в кабак сроду не заглядывал.

Рожь колосистая...

Вот она расхлестнулась – море разливное, от конца до конца нет ему края. Она волнуется, тихо, нехотя. Даже ветер-рвун не в силах нарушить ее спокойствия, потрепать ее, как он треплет пахучий полынок: колос ржи наливен, клонится к земле и шуршит, как сафьян.

Никита шагает по полю, разводит рожь руками, а она мягко, беззвучно – а может, Никита ничего не слышит, как токующий глухарь, – рожь колосьями беззвучно бьет его по лицу, ласкает грудь, плечи, спину, и ему хочется пасть на землю, закататься в стебельках ржи, лежать с ней в обнимку и шептать ей свои затаенные мечты, помыслы.

– На! На, бей! – кричит он. – Валяй! Колоти меня, шут тебя дери-то! – и

шагает. – Колоти! Колоти! Все одно силу из меня не выколотишь. Я ведь вот какой стал, – и, растопырив пальцы, он сунул их, похожие на когти коршуна, в землю: – Вот какой – всеми корнями в землю ушел.

Ах ты, рожь колосистая...

С перевесны лили дожди – обильные, ласковые, как ласка нареченной. И земля, «усдобленная» перегноем, размякла, развалилась перед солнцем, похваляясь своим богатством.

Земля!

Эх, какая она красивая, когда озимя по ней стелются коврами, когда пшеница таращится зелеными перышками, когда буреет золотистое просо!

Да, в начале весны лили дожди. Но потом наступила жара. Она наступила исподволь. Пропали росы, смолкли птицы, а багровые закаты, точно от пожара, подолгу держались в небе... И низко над землей потянулась едкая гарь.

Всем казалось – это временная напасть. Вот поднимутся ветры, разгонят гарь, и хлеба снова заиграют на солнце. А хлеба ведь играют переливами красок. Хлеба смеются, – шут вас дери-то! – особо в утренние зори после дождя. Вот чего не понимает шантрапа там разная. А тут земля покрылась трещинами, загудела, застонала, пыхая и в поздние ночи жаром... И вдруг в один день загорелись нежные лепестки пшеницы, склонила голову рожь, дрогнули кудрявые овсы, и припало, точно подшибленное, к земле золотистое просо.

– Ба-а-а! – вырвалось тогда у Никиты Гурьянова. – Вот живем на фабрике под открытым небом. Да что те, пес, прорвало? – погрозились он в сухое, знойное небо и с этого дня заболел, как заболели и все.

Люди ходили по полям, топтались в улицах, лазали на сараи, всматривались в даль, ожидая тучки. Не шли тучи. И люди очумело слонялись из стороны в сторону, предлагая разные несуразицы. Епиха Чанцев придумал:

– С аэропланов поливать. А что, а что? – говорил он, сам себе не веря. – Взовьется и давай прыскать с небесей.

Митька Спирин и тот придумал:

– Полог бы сделать. Собрать вон у баб юбки. На кой им их пес? Полог из них сшить и над полем развесить, чтобы жара не палила.

И люди почернели, носы у людей заострились, как у покойников, глаза тупо шарили в мгlistом небе, а солнце все так же накаливало землю, рвало землю трещинами, глубокими, похожими на змеи.

– Ах, если бы готова была плотина на реке Алае, – со вздохом сожаления говорил Захар Катаев, но это была мечта столь же пустая, как мечта Епихи Чанцева об аэропланах, Митьки Спирина – о пологе.

«Гибнем», – решил Никита Гурьянов и с этого дня уже не ночевал дома: он жил около хлеба, как живет мать около сильно больного сына. Туда, в поле, Анчурка носила ему еду, там, в поле, в оврагах, она разыскивала его – запыленного, пересохшего. За эти дни Никита почти перестал говорить, он что-то

лепетал – несвязное, невразумительное, и Анчурка боялась – он, Никита, рехнется, сойдет с ума, и неустанно следила за ним, стараясь вывести его из оцепенения.

– И чего ты себя изломал как? Государство у нас большое, помогут, ежели что, – раз сказала она.

Никита неожиданно весь взвился и гаркнул:

– Ты кто?... Баба, ай кто? Государство большое, помогут, ежели что. Не хлеб ведь горит... Душа горит, как в пекле. Честь горит. А она – государство большое, помогут, ежели что... С чем в Москву поеду? Фик покажу...

Да, Анчурка поняла – тут государство помочь не сможет. И она вспомнила себя, свои страдания в те дни, когда чума скосила ее кур – три тысячи кур... Да. Она тогда вот так же, как Никита, не находила себе места, вся почернела. Ей было стыдно людям смотреть в глаза.

– Не уберегла, – то и дело шептала она.

Она так же шептала и тогда, когда ей сообщили, что кур заразил чумой Плакущев. Об этом ей сообщил дедушка Катай. Он пришел на птичник. Птичник был уже побелен известью, но стоял пустой, без кур. Дедушка Катай еще издали заговорил:

– Анчурка... Нашли. Озорников-то. Чай, Плакущев, Илья Максимыч... Вот какой... Пес... А? Чего ты?

– А кур-то нет, – ответила Анчурка.

– Ну и что жа? Вот урожай соберем, еще разведем... А ты вот поешь-ка... Яблочков моченых я тебе принес... На-ка... – И дедушка выложил перед Анчуркой моченые яблоки.

– Ой, дедуня, дедуня! – Все говорили, дедушка Катай впадает уже в детство, а тут – вот он пришел. Пришел, чтобы утешить Анчурку в неутешном горе. И Анчурка присела рядом с ним, положила голову на его маленькое, сухое от старости плечо и заплакала тоненько-тоненько, как девчушка. А Катай сказал:

– Уж и не знай, что с тобой мне делать? На кулорт, что ль, хоть тебе поехать.

– Деда, милый, – тихонько всхлипывая, говорила Анчурка. – Лекарство от такой болезни еще не придумали.

И вдруг в эту самую секунду через высокую проволочную решетку полетели куры. Рыжие, черные, белые, серые – всех мастей и красок. Они летят потоком, ураганно, будто откуда-то с неба.

Анчурка приподнялась, крепко вцепилась в костлявое плечо деда Катая и, вся дрожа, точно от озноба, зашептала:

– Батюшки! С ума, с ума схожу... Деда... милый... С ума схожу. Чего это, деда?

Дед Катай сам опешил. Он протер глаза, шагнул к решетке и глухо проговорил:

– Пстой-ка, может это я с ума-то схожу?

Но куры летели через решетку, взвизгивались, падали во двор разноцветной массой, блестя на солнце золотистыми перьями, и двор огласился кудахтанием, пением петухов, а дед Катай – и откуда у него взялся такой голос – взревел:

– А-а-а! Я баил, я тебе, Анчурка, баил, народ все может... Вот и в кон мои слова.

И верно, в калитку ворвались во главе со Стешей Огневой колхозницы и с криком: «Анчурка! Чтобы рану твою залечить, мы каждая по паре кур от себя», – кинулись к Аннушке, обнимая, целуя ее – высокую, шагистую. И она, высокая, шагистая, казалось – самая грубая деревенская баба, вдруг присела в ногах у колхозниц и заплакала, протягивая к колхозницам руки:

– Подруженьки-и-и! Мамынька родная не делала мне такого добра-а-а.

Да, такое горе, как горе Никиты Гурьянова, может убить человека – это знала Анчурка Кудеярова по себе, но она уже верила в народ, в его силы, во что еще не верил Никита. И она пошла в народ. Она побывала у Захара Катаева, у деда Катая, у Епихи Чанцева, у Стешы. Где только она не побывала. Но ничего путного никто придумать не мог: не прикроешь же солнце собственной голичкой. А хлеба уже начало крутить. Зеленые до черноты перед этим, они завихрились, стали желтеть, и гибель их казалась неминуемой... если бы не дед Катай. Дед Катай, боясь, что Никита с горя-беды наложит на себя руки, стал неустанно преследовать его, рассказывая ему разные штучки и все на тему о недородах. Однажды он рассказал, как они во время суховея всем селом подняли иконы и отправились на гору Балбашиху, к Бездонному озеру.

– К какому такому озеру? – встрепенулся Никита.

– А там же озеро было. Бездонное прозывалось.

– Да ты... того... Тебе жарой башку не растопило? Да на горе Балбашихе и виду того нет.

– И виду того нет. А когда я мальчонкой был, озеро там существовало... Бездонное... Потом озеро это затянулось, гора его в утробу свою спрятала... Иди-ка, я те и следы покажу. – И повел Никиту на гору, показывая ему – и все больше стуча ногой – и центр озера и место падения вод из озера, с высокой скалы прямо в поля...

В эту минуту Никита сорвался и, влетев в село, заорал:

– Караул! Караул! Караул!

Люди выскочили ему навстречу. А он несся вдоль улицы и все кричал:

– Караул! Караул! Караул! – и, налетев на Захара Катаева, крикнул: – Захар Вавилыч. Бей в колокола! Озеро на горе Балбашихе. Бездонное. Прорубить... и воду на поля! Одно спасение.

– Дело, – подхватил Захар Катаев.

И в тот же вечер люди двинулись на гору Балбашиху. Двинулись все –

старики, старухи, взрослые, малые, прихватив с собой кто что мог – топоры, лопаты, ломы, кирки, а за ними Стеша повела гусеничные тракторы.

И изо дня в день, из ночи в ночь люди долбили гору. Сгибались, разгибались потные, покрытые солью спины. Сверкали ломы, топоры, лопаты. Сыпались с горы камни, щебень, с грохотом валились вековые липы. И все это делалось в молчании, со стиснутыми зубами. Только иногда из пасти горы выбегал Никита Гурьянов и, глядя на людей, вскрикивал:

– Валяйте, валяйте, братики, на себя ведь, на себя... Избегнуть надобно, – но губы у него были истрескавшиеся, голосок слабенький, и голосок уже не достигал людей.

Иногда из пасти горы появлялся и Митька Спириин. Он тоже смотрел на народ и произносил только одно слово:

– Надломимся.

И, несмотря ни на что, гора тогда была покорена: воды подземного озера были по арыкам пущены на поля, и хлеба снова зазеленели. Мероприятие это – использование местных источников – быстро подхватили соседние колхозы, районы. Тогда снова заговорили в печати о колхозе «Бруски», восхваляя Захара Катаева, Епиху Чанцева, Стешу Огневу и особенно мастера земли Никиту Гурьянова. Никита вырезал статьи из газет о себе и, расклеив их по стенам в избе, в свободное время, расхаживая, поскрипывая чистыми половицами, хвалился перед Анчуркой:

– Гляди-ка, детка, в какие герои попер твой Никита. Ведь ему эдак могут и орден на грудь повесить. Прицеплют, а он вот так и будет ходить.

И ходил по избе, выпячивая грудь.

Вскоре к ним приехали Захар Катаев и Стеша. Войдя в избу, они развернули перед Никитой красное знамя, и Захар сказал:

– Вот тебе, Никита Семеныч. У всего края ты его отбил. На!

У Никиты что-то горько подступило к горлу. Он вскочил с лавки, хотел было обнять Захара, но застеснялся и снова сел.

– Да-а. Оно да. Так вот. Знаешь чего? – вдруг заговорил он громко. – Вот если бы ты глянул, что на душе у меня? Знаешь, что б сказал? Сказал бы, ни одна япощка там, ни немчушка нас не побьет. Сунься. У нас на земле вон сколько народу... и все такие, как Никита Гурьянов. Да, да, горжусь этим.

– Хвалится все, – вступилась Анчурка, любовно посматривая на Никиту.

– Понимаешь? – обратился Никита к Стеше и хотел еще что-то сказать, но говорить о «душе» он не привык, он об этом говорил только наедине с собой, в поле, беседуя с хлебами, с пахотой, или в конюшне – с лошадьми.

– Понимаю, – сказала Стеша. – Вот скоро отстроят тебе новый дом – и переходи.

– Э-э-э! Не так.

– Чего не так? Переходить надо, – подтвердила Анчурка.

– Перейдем. Непременно, – согласился Никита. – Только я ведь вот в новый-то дом перехожу с душой. А раньше меня из своей избы палкой бы не выгнали. Веди хоть во дворец, а я все одно бы утирался, говорил: «Она кака ни кака, а моя изба». Видал? Вроде заново я родился. А то вот, – с Никиты полил вдруг пот, корявые руки задрожали. Он достал с полки азбуку, начальную арифметику и, раскладывая книги на столе, торопко говорил: – Видишь? Знаю теперь, где запятую ставить, и до дробей дошел. А-а-а? Что это? Свет новый в башку.

Рожь колосистая – море разливное.

На небе поднялось солнце – играет солнце в сизых стебельках пшеницы, переливается пшеница янтарем. А Никита шагает, шагает, шагает. Со ржи – в пшеницу, с пшеницы – в просо, с проса – в кудрявые овсы, с овсов – в золотоголовые подсолнухи, и опять назад – по овсам, по пшенице, по ржи.

– Эй, красильщик... или как тебя – рисовальщик, – позвал он, увидав идущего по дороге Арнольдова. – Ты скажи, как тебя звать?

– Художник.

– Ну-у. Ты нарисуй меня. Вот, средь этого всего. Море ведь. Хлеба-то море. Иностранцев теперь мы переплюнем. Скажи, сколько, по-твоему, с га будет? Сам-сорок будет? Сам-сорок – это, мил сокол, считай – центнеров пятьдесят. Никто не верил. И я не верил. А так, сломя голову в кон пошел. Вот я какой... И у Епихи Чанцева гляди чего... Но я его перешиб. Вот те... – Он хотел сказать: «крест», но только засмеялся. – Ты к трактористкам идешь? Ты пощупай. Девчат там пощупай. Любят...

И что-то странное, непонятное творилось с Никитой. Он так же, как и в былые времена, чуть свет вскакивал с постели, бежал в поле, на гумно, в амбар, так же, как и бывало, в лето ссыхался, становился легоньким на ногу, поджарым, так же, как и бывало, украдкой от людей вел беседу с землей, нюхал ее, лизал.

Все это он проделывал так же, как и когда-то, пуская в ход все свои изобретения. Он, например, первый окопал канавой карты своего участка, вспахал склоны оврагов Долинного дола, посеял там просо, и просо вышло в рост человека. Он же пустил в ход «фекалий». И внешне он как будто не изменился, только сбрили ему на курорте его рыжую бороду, отмыли его, да глаза он стал щурить так, словно все время смеется. И еще знал Никита: хлеб с полей, которые он разрабатывал со своей бригадой, пойдет вовсе не ему в амбар, а в амбары колхоза, и там его начнут делить... и Никите вовсе не придется прятать хлеб в ямах, вырытых в глухих лесах, или под баней, или в овине, как он прятал его в былые времена. Хлеб посыплется в колхозный амбар. Но Никиту именно это и тревожило: ему хотелось больше всех засыпать хлебом колхозный амбар, и ему еще хотелось, чтоб сказали:

– Ай да Никита! Ухач! Показал себя.

И Никита носился, работал, выдумывал разные хозяйственные «штучки» и радовался, что его «штучки» перехватывают бригады, колхозы, а об иных его



«штучках» пишут в газетах и печатают портрет – его портрет, Никиты Гурьянова.

Что-то произошло с Никитой. Что? Он еще не понимал. Но ему все время казалось, что он всю жизнь поднимался на какую-то высокую гору, и вот только теперь он добрался до ее вершины, перешагнул через перевал и очутился в каком-то ином мире, – и в этом мире, несмотря на то что иногда с поля приходил, высунув язык, как гончая, – он был спокоен, радостен, часто смеялся, и особенно громко, когда находился вдвоем с Анчуркой.

– Экая. дородная ты! А-а! – говорил он. – Да тебя на сто двадцать лет хватит. Пра.

– Никит, – сказала ему однажды Анчурка, – а помнишь, в коммуне на «Брусках» куры от чумы падали, а ты головы им топором рубил и кричал: «Кирилл Сенафонтыч, гляди, радости твоей башку рублю!» Мне тогда со зла-то хотелось тебе башку отрубить.

– Глупой был, – ответил Никита. – Глупой и обозленный... А нынче... Скоро жать будем. Слышишь, эй! – Никита нагнулся над сыном и потрепал его за нежный, мягкий, золотистый вихор.

Сынишка учился ходить. Он вцепился руками в нижнюю перекладину табуретки, напрягся и хотел было перехватиться рукой, но тут же упал.

– Ну! Ну! Валяй сызнава. Валяй! Не бойся! Сахарницу свою не жалея, – и, расставив руки, Никита закружился около сына. – Мать, гляди. Гляди, в люди пошел.

Сын снова ухватился рукой за перекладину табуретки, снова потянулся и вдруг встал. Встал и засмеялся, глядя на отца.

– Мать, – зашептал Никита, – теперь примечай дальше. Ну, Микитка, валяй теперь ко мне. Ну, раз – другой. Шагай! – Он опустился на корточки и протянул руки к сыну.

Сын оторвался от табуретки, закачался, затем двинул одну ногу и мелко-мелко, еле держась, покачиваясь, побежал вперед и упал на руки отца.

– Во! В люди поскакал! – выкрикнул Никита.

## 8

Домашняя работница – тихая Аграфена – все время возилась в комнатах, как мышь в стогу сена. Комнат было много, а она привыкла к чулану, к «передней» и «задней» избе, в которой вместе с ребятишками находились и телята, и ягнята, а иногда, в студеные дни, и корова. Она привыкла к простой крестьянской избе, где дубовая широкая скамейка извечно стояла на одном месте, на одном месте стоял искарябанный стол, и всегда в том же переднем углу висела икона, позади которой пауки вили свои причудливые перекидные мосты, и на мух в этой избе никто никогда не гневался. Она привыкла к простой крестьянской избе, и квартира в шесть комнат была не по ней: слишком велика и разнообразна, и

Аграфена все время путалась в дверях. Вот почему она, как ни старалась, никак не могла прибрать комнаты. Она прибирала только то, что валялось под ногами, на что «Аннушка может споткнуться и разбить себе нос». Поэтому в комнатах постепенно заводился и окончательно осел «домашний хаос», как называл это Кирилл, и появился особый, будто от перекислой квашни, запах.

– Это Аграфена принесла с собой, – как-то раз, смеясь, сказал Кирилл и махнул рукой и на «домашний хаос» и на этот кислый запах, ибо дома почти не жил и еще знал, что с Аграфеной все равно ничего не поделаешь, если сам не возьмешься за уборку квартиры. Самому ему было не до того, а пригласить женщину со стороны он просто не решался, боясь, что чужая женщина может вынести «семейный сор» на волю, может подглядеть, как иногда Кирилл по целым ночам расхаживает у себя в кабинете из угла в угол, из угла в угол. А главное, он не хотел, чтоб чья-то чужая рука прибирала комнаты, чтоб чья-то чужая рука нарушила застывший покой. Он если ночевал дома, то каждое утро обходил комнаты, как обходит часовой порученное ему имущество. Одно прибавилось в комнатах – это фотографии. Кирилл случайно наткнулся на них в письменном столе и развесил их повсюду – на стенах, на дверях. Вот Стеша стоит над обрывом. Позади нее – глубокая даль. Ветер треплет ей волосы, а она борется с ветром, придерживает волосы рукой и смеется – заразительно, радостно. Вот Стеша в кругу ребятишек. Она сидит на свалившейся сосне, а ребятишки облепили ее, как воробьи... И глаза у Стешы большие, точно она видит перед собой луговинную долину, всю усыпанную детьми... и она хочет подняться, кликнуть их всех к себе. Вот Стеша в теннисном костюме. Она кого-то зовет.

Снимков было много, и Кирилл, обходя комнаты, рассматривая их, мысленно беседовал со Стешей.

Но сегодня ему было особенно не по себе. Может быть, потому, что на заводе кончились прорывы, все вошло в нормальную колею и пропала та строительная горячка, которая заставляет забывать о своих личных душевных волнениях. А может быть, и потому, что Аннушка тоже покинула Кирилла: она увлеклась пионерским отрядом и почти совсем не бывала дома.

Кирилл сидел у себя в кабинете и читал газеты.

Страна ставила рекорды.

Бригадир Полагутин из Поволжья вспахал на своем гусеничном тракторе тысячу семьсот один гектар. Бригадир с Украины – Коренный Омелько – дал урожай пшеницы триста двадцать пудов с гектара. Машинисты из Татарской республики смолотили на машине сто десять тысяч пудов. Мария Демченко сняла урожай свеклы пятьсот пять центнеров с гектара. И страна гордилась ими.

А вот Бадагян Забалла – бригадир из Армении, страны гор и синего неба.

– Армения, – говорит она, – была страной сирот. Я тоже осталась сиротой, но советская власть заменила мне отца, колхоз стал моим домом.

А вот Никита Гурьянов. Ого! Никита всех обогнал: он дал урожай триста сорок три пуда с гектара, и о нем закричали в печати.

А вот и Степанида Степановна Огнева... Кирилл отодвинул от себя газеты, боясь читать дальше, предчувствуя, что дальше будет брошено ему крупное обвинение, но руки невольно придвинули газету ближе, и глаза впились в строчки. Что ж, хорошо! Стеша со своей женской бригадой выпахала на каждый трактор тысячу триста семнадцать гектаров. Здорово! Ловко! Но вот что-то ей пишет колхозник из Армении – Мирзоян.

«Здравствуй. Я с волнением прочитал сообщение о твоих успехах. Я тоже работаю по механизации сельского хозяйства и радуюсь твоим успехам. Ведь вспахать в среднем на трактор тысячу триста семнадцать гектаров – это поразительно. Да ведь у тебя руки-то не мужские, а женские, да женщины-то, наверное, все девушки. Скажи, пожалуйста, у самой у тебя руки не болят? Когда я перевел твое достижение на армянский язык, то колхозники не поверили, говорили, это – ками, то есть ветер, обман, значит. А одна старушка категорически заявила: «Хотя она на карточке и хорошенькая, но в душе у нее злой дух, яман». Я очень прошу тебя – напиши и напечатай в газете, что ты имеешь сердце, а не яман. Напиши, прошу тебя, Стефанидочка... Хотя мне тут сказали, тебя по-русски надо звать так – Стешенька. Ну, Стешенька...»

И Стеша ответила:

«Я такой же человек, как и все. Работать, трудиться, как я – и даже лучше, – могут все. И сердце мое такое же, как и у всех женщин, девушек, – полное любви к нашей родине, партии, комсомолу. У меня есть дочка, сын. Мы его зовем Кирилл малый. – Когда Стеша писала эту строку, она знала, что Кирилл непременно прочтет ее и она, эта строка, скажет ему многое. – Как видите, я семьянинка. Но только теперь, когда стала работать на тракторе, я узнала, что жизнь красивая и жить хорошо. – Тут Стеша снова подумала: «Кирилл обидится. Ну и пусть». – Во многих письмах мне пишут, что будто бы я обладаю какой-то особой силой и этим отличаюсь от других женщин. Это неверно. Страна у нас такая, и она делает нас хорошими. Только мы, женщины, иногда забываем, что сила наша в труде. Трудись, работай – и тебя будут уважать. У нас на селе есть семья Дмитрия Спирина. Он никогда свою жену не звал Еленой, а звал так: «Эй ты! Водяная шишига». А теперь называет ее Елей. Почему? Потому что Елена работает в бригаде у нас кашеваром».

Кирилл прочитал письмо и сунул газету в стол:

«Ушла, – решил он. – Окончательно ушла», – и опять вынул газету из стола. «Все-таки она называет сына Кириллом малым, – подумал он. – Значит, и меня не забыла». Это его порадовало, но следующие строчки снова ударили его, как хлыстом: «Только теперь, когда стала работать на тракторе, я узнала, что жизнь красивая и жить хорошо». – Ну, что ж, – сказал он, будто обращаясь к Стеше, – каждому своя дорога. Да и не любила ты меня... никогда, – это он наврал сам себе, но ему больше нечем было утешить себя. «Феню разве позвать? Придет ведь», – подумал он, но и об этом забыл, натолкнувшись в газете на сообщение о том, что Павел Якунин, Никита Белов и Иван Сидоров в ближайшие дни на самолете конструкции советского изобретателя отправляются в беспосадочный перелет. Путь полета: Москва – Ростов – Тифлис – Тегеран – Памир – Дальний

Восток – Арктика – Архангельск – Москва.

– Ай да Павел! – с гордостью воскликнул Кирилл и вспомнил ночь в гостинице.

Кирилл, проснувшись от сдержанного стога, поднялся тогда с кровати и увидел – Павел лежал на постели, прикрыв голову подушкой, и стонал. Кирилл подошел к нему и, не зная, как его утешить, сказал:

– Паша. Давай выйдем. Заря уже на воле.

– А-а-а. Очень хорошо. Тяжело мне: Наташку вспомнил. Вот ведь как! Все время себя уговариваю: ты, мол, комсомолец, и страдать тебе нельзя. Не положено. А как останусь один – всего ломает, все тоскует во мне... и тяжело.

Осень сыпала мелкими брызгами. Утопанные тропочки бежали через огороды, овраги, долинки. От брызг осени они стали мягкие, точно сделанные из подогретого воска. А вон совсем низко над полями тянутся ожиревшие гуси на юг. Они летят так низко, что слышен свист их крыльев и даже видно, как они поворачивают головы, осматривают поля пуговичными глазами.

– Гуси, – проговорил Павел и снова затосковал: полет гусей почему-то напомнил ему Наташу.

Как-то раз на многолюдном литературном вечере он слушал лектора. Высокий, со впалой грудью, с длинными руками, как шесты (как узнал потом Павел, – один из последних отпрысков старинного княжеского рода), он говорил серьезно и убедительно о том, что «любовь и всякая прочая штука – мещанский предрассудок», что «настоящего труженика эти и прочие причиндалы вовсе не интересуют».

Наташка, комсомолка с пышными растрепанными космами, ворвалась в жизнь Павла Якунина и опрокинула все доводы оратора со впалой грудью, с длинными, как шесты, руками... и погибла в один из дней, когда гуси собирались лететь на горячий юг.

Павел стоял на бугре, заросшем жирной лебедой, и долго смотрел вслед утопающим в сером небе гусям.

– Кирилл, – заговорил он, наконец, – ты не обижайся, мы все тебя за глаза так называем. Отпусти меня. Хочу летать.

И тогда Кирилл отпустил его в Ленинград – в школу летчиков. И вот теперь Павел летит «в дальнее плавание».

«Хорошо», – одобрил Кирилл, еще раз перечитав сообщение, и написал телеграмму: «Павел! Перед полетом обязательно побывай на заводе. Не забывай родной уголок. Кирилл Ждаркин».

Кирилл поднял голову. На пороге топтался Егор Куваев. Он выглядывал из-за двери и что-то выискивал.

– А-а-а, – сказал он, увидав Кирилла. – Доброе утречко, Кирилл Сенафонтыч, – затем прибито подошел к столу, вертя фуражку в руках, рассматривая ее. – Без твоего совета сделал. Хошь милуй, хошь казни.

– Что такое? Опять на горах?

– На горах, да не на тех. – Егор одернул новый серенький костюм и рассказал Кириллу о том, как «случайно» женился на Зинке. – На душу ведь замок не повесишь. Ну, вот и пришел... вроде благословение. Зинка говорит, ступай-ка, без его слова жить не буду с тобой.

– А чего ж благословлять, коль все на мази? Я что ж? Ты чего ж боишься? Насчет того дела?... Ну, ее давно простили.

– И насчет того дела... А оно есть и особо. Как она была ведь Ждаркина и прочее.

– А-а-а? Тебе это что... неприятно?

– Да нет. Я тебя хочу... ну, в гости... Понимаешь? Без тебя пиру нет.

– Приду, – выпалил Кирилл. – Непременно.

А как только Егор вышел из кабинета, у Кирилла «засосало» сердце.

«Ну, вот видишь... все устраивается... а тебя заело», – говорил он себе.

У Егора Куваева в новой – в три комнаты – квартире было много гостей – вся его бригада, бригадиры других бригад, представители от газеты, комсомольцы. В переднем углу сидели Егор Куваев и Зинка – принаряженная, в белом платье, и глаза у Зинки горели, как фонари.

Кирилл крепко выпил в этот вечер и, чтоб развеять свою тоску, сел в машину.

– Лупи куда глаза глядят, – сказал он шоферу, но тут же вспомнил, что это слова Богданова, сказал определенной: – Валяй на Широкий Буерак.

## 9

Длинная и устойчивая, как утюг, машина, подарок Кириллу от наркома тяжелой промышленности, режет прожекторами тьму, опрокидывает ее на обе стороны дороги и мчитя через перевал, через тот самый, перевал, где когда-то шла оживленная торговля между Азией и Европой. Через этот перевал от царя Петра прискакал капитан Татищев. Было это, как утверждают историки, в те годы, когда Петр поставил Русь на дыбы, рассылая во все концы государства своих гонцов, отыскивая хлеб, уголь, медь, то есть все то, что нужно было ему, «дабы прорубить окно в Европу». Капитан Татищев «усмотрел местность около скалистых гор, где живут медведи и грызуны, похожие на крыс». Он стянул сюда два полка солдат и построил медеплавильный завод с домной, похожей на большой примус.

«И оным солдатам, – писал Татищев Петру, – хотя жалование дается каждый месяц порядочно и безволоконно, также провиант, однако многие бежали ныне на воровство на Волгу. И того ради я принужден был, которые пойманы, перевесить. И тем, которые подговаривают бежать, другое наказание учинить. И если не перестанут бегать, то жесче буду поступать».

«Перевесить» считалось легким наказанием. Тех, кого велено было «жесче» наказать, вскидывали на дыбу, вырывали им ноздри, живых зарывали в землю или замуровывали в стенах. Совсем недавно, когда сносили старый завод, нашли кости людей, когда-то замурованных в стенах.

«Вот гад», – подумал Кирилл, вспомнив, как Жарков приравнивал советскую эпоху к эпохе Петра Первого. Но и об этом Кирилл думал, лишь чтоб «задавить в себе несусветную тоску». И о чем бы он ни думал – о заводах ли, о прорывах ли, или о том, что надо заняться школами, надо построить новый стадион, а то старый мал, – о чем бы он ни думал, куда бы он себя ни «кидал», он всякий раз снова возвращался все к тому же: повидать бы Стешу, хотя бы издали, хотя бы одним глазом посмотреть на нее! Какая она стала? И неужели навсегда ушла?

Иногда ему казалось, что ему удастся не только повидать ее, не только поговорить с ней, но и примириться, вернуться обратно не одному, а с ней – со Стешей. И он даже рисовал себе – вот она сидит с ним рядом в машине, она, Стеша, родная и близкая. О чем они говорят? Да ни о чем. Они молчат, ибо все уже выговорено, высказано, выстрадано. Скорее бы домой – туда, в свои комнаты, в кабинет...

Машина неслась по извилистым дорогам, мягко шурша шинами. Навстречу мчался розовеющий день. Вот из серости утра – еле брезжит свет – вырвалась стая уток-крякв. Тяжелые, жирные и сытые, они со свистом попадали в болото.

«Эх, поохотиться бы, – с завистью подумал Кирилл. – Посидеть бы на болоте... А почему бы и нет? Что это я все время в работе и в работе», – но и об этом он тут же забыл.

Перед ним открылась не виданная им в этих краях картина. Огромное пространство – может быть, километров на двадцать, тридцать – было залито водой.

– Пстой. Ты туда ли едешь? – спросил он шофера, протирая глаза, думая, что все это ему мерещится.

– Туда. Как есть в Широкий Буерак.

– Ну, а это что?

– Да плотину-то на реке Алае построили. Вот и вода. «А-а-а. Мой проект», – вспомнил Кирилл.

– Вот молодцы, – проговорил он, пристально всматриваясь в огромное водное пространство.

Над новыми заливами, озерами вились утки, гуси, ленивые журавли. Их было так много, что Кирилл не выдержал: «О-о! Сюда надо непременно приехать и постучать. Может быть, послать за ружьем?»

Машина вырвалась из перелесков, выскочила на просторы, и перед Кириллом открылись поля, усыпанные снопами, кучками соломы после комбайнов. Снопов было так много, а клады хлеба так часты, что шофер даже закричал:

– Хлеба! Хлеба-то! Хлебища-то. Ой, сколько!

– Нажми, нажми, – только и сказал Кирилл. Машина рванулась.

И вот в это утро люди видели: сизая длинная машина металась по полям, по берегам реки, залетала на гумна, на бригадные дворы, носилась улицами Широкого Буерака, промчалась «Брусками», покружилась около недостроенного театра, затем снова, выскочив из черты «Брусков», кинулась в поле. Чья это машина, никто не знал. Знали одно – машина это чужая, не из района, ибо районщики ездили на машинах маленьких, юрких, как шавки, а это была длинная, могучая, точно лев.

– Какая-то бешеная, – сказал Никита в это утро, давая дорогу массивной машине.

Кирилл не знал, а ведь в эту ночь перед зарей в ильменах снова пел рыбак.

В эту ночь под зорю рыбак пел о том, как к нему пришла возлюбленная его. Она пришла в гот час, когда он, изнемогая, волоча на себе ловецкую сеть, упал на берегу... И тогда липы расцвели, и даже горькая осина выпустила из себя сладкий сок, а сети показались легкими.

И рыбак пел:

– Ты не думай, сети я один закину, и один я вытащу на берег косяк рыб. Ты не думай!.. А я пройдуся по водяному владению.

И Стеша – она сбросила с себя юбку хаки, мужские сапоги, надела сиреневое платье – мягкое, нежное – крадучись, точно кто-то за ней следил, перебежала от дуба к дубу и все шептала:

– Иосиф! Ну вот, разве я виновата? «А в чем же я себя виню? Кирилл? Да...» – и два имени бились в ее сознании. А тут еще этот рыбак. Ах, этот смутьян. И не пересохнет же у него глотка, не надорвется же у него грудь. Он все поет, все зовет, все дразнит. Он дразнит тем, что возлюбленная его пришла к нему и теперь тихо спит там, в ильменах, под крышей камыша. Возлюбленная его спит, и он смеется, он издевается над теми, кто прячет любовь свою.

– Замолчал бы. Хоть бы ты замолчал, – шепчет Стеша и перебегает от дуба к дубу.

Впереди блеснула полянка – там, дальше, в вишняке, избушка. Там, дальше, в избушке, он. Что-то он делает? Он только вчера ей сказал:

– Я с тебя пишу мать. Ты не думай, что это лесть, красное словцо. Нет. Но вот такой, как ты, я еще не видал.

И он ей говорил про искусство, про города Запада, про Италию, про море, про все то, чего она не видела. Она слушала его, забывалась и, сложив руки на груди, ходила по берегу Волги. Он не посмел ее взять под руку. Нет. Он взял ее за мизинец правой руки, и на какую-то секунду, на одну секунду они остановились. Остановились, посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись.

«Какой он робкий», – подумала она.

«Какая она славная», – подумал он.

Потом что? Потом они говорили о Кирилле. Он не знал, что Стеше Кирилл не безразличен, и он снова спросил ее, почему она там, на вечеринке у Никиты Гурьянова, не выпила за Кирилла.

– Не захотелось, – сказала она.

И он не заметил, как губы у Стеши дрогнули, как по всему ее лицу прошла судорога, а тело сжалось, точно перед ударом.

И, говоря с ней, он открывал в ней все то, чего он не видел в других женщинах, – чистоту, правдивость, детскую прямоту, – и иногда ему хотелось сказать:

«Послушай, Стеша, ты такая хорошая... и мозг у тебя...» – Но он так всего ей и не сказал, зная, что она не любит громкого, напыщенного.

А она видела в нем человека, который знает мир, каждым своим словом питает ее, который бережно и нежно относится к ней, ставя ее наравне с собой – ее, Стешу Огневу. И когда он заговорил о материнстве, она вся вспыхнула и невольно плечом прижалась к его плечу, и в это время ей захотелось погладить его голову, так же, как она гладила голову Кирилла малого.

И вот теперь Стеша бежала к нему, к Иосифу. Зачем? Да так. Хотя бы затем, чтобы сказать, что Кирилл Ждаркин для нее не чужой, что ей и Иосифу уже нельзя будет теперь встречаться по вечерам. Может, что случится, и тогда Иосифу будет нехорошо... Но вот рыбак поет. Ах, если бы он замолчал!..

...По берегу Волги, освещенный предутренними зарницами, идет человек. Он идет тихо, медленно, что-то насвистывает и ногой толкает в воду отшлифованную гальку. Он остановился и прислушался к песне рыбака.

– Вот я закинул сети, и сети мои не пойдут ко дну, не запутаются в корягах: ты сети мои придержишь своими белыми руками, – повторил он слова за рыбаком.

– Иосиф!.. Арнольдов! – крикнула Стеша и пошла ему навстречу – смело и дерзко, так, как будто они не в первый раз встречались тут на берегу. – Не спите?

– Нет. Ты слушай, Стеша, как поет рыбак. – Он взял ее за руку и долго слушал рыбака... и ее другая рука, помимо ее воли, поднялась и легла ему на плечо.

Из-за Волги бежал, накатывался лазоревый день.

Сизая плотная и устойчивая машина, легко скользя, носилась по полям, сворачивала к березовым опушкам, влетала в старый дубовый парк, выныривала из луговинных долин и все металась, металась, будто не находя себе места. И вдруг она остановилась – резко, со всего разбегу. Она остановилась на какую-то секунду и тут же сорвалась, подпрыгнула и понеслась прочь, утопая в облаке пыли.

– Все, – сказал Кирилл. – Жарь... жарь! – крикнул он шоферу.

Небольшой пригорок, а на пригорке – Стеша и Арнольдов навсегда остались в памяти Кирилла.



– Лошадь! Жеребца! – сказал он, когда машина ворвалась в заводской двор. – На конюшню!

– Может, домой? – посоветовал шофер. – А то вид же у вас...

Вскочив в седло, Кирилл со всей силой всадил каблуки в бока рыжему жеребцу. Жеребец рванулся и понесся туда, куда вели его удила.

– На реку! На реку, рыжий!.. – И Кирилл еще раз всадил каблуки в бока Угрюму.

Конь обезумел. С храпом он вынес Кирилла в гору и утоптанными тропами, разнося гуд копыт по лесу, помчался в низину, туда, к реке, к тому обрыву, с которого он не раз прыгал в воду. Подскочив к обрыву, он замялся, очевидно ожидая, вот сейчас хозяин освободит его от седла, но Кирилл снова всадил каблуки ему в бока, снова рванул уздечку:

– Марш-марш, рыжий!

Конь взвился... Над рекой поднялся столб хрустальных брызг, и река поглотила Кирилла и коня.

## 10

Прыжок в реку с обрыва был безумен и глуп – это хорошо понимал Кирилл. Но ему надо было выбросить из себя «скверну», ибо она не давала ему покоя. Да и вряд ли о чем он думал в эти минуты.

Рыжий жеребец сломал передние ноги, а Кирилл разбил грудь и пришел в себя уже на противоположном берегу реки, когда мертвый конь всплыл на поверхность и, вздутый, крутился, зацепившись хвостом за куст.

– Ну, прощай, рыжий! – Кирилл через силу поднялся и, махнув рукой коню, пошел в гору. «Ясно, меня за такие дела не похвалят. Ну, скажу – нечаянно... Угрюма жалко. Эх, рыжий!..»

Придя домой, он снял рубашку, посмотрел в зеркало – грудь покрылась сплошным синяком.

– Эко грохнулся, – сказал он. – Теперь придется отлеживаться дома.

И на несколько дней слег в постель.

На заводе все всполошились. Рабочие слали ему коллективные письма. Даже нарком тяжелой промышленности прислал телеграмму, в которой журил за неосторожность, советовал полежать в постели и спрашивал: «Может, вам нужен хороший врач? Вы не стесняйтесь. Аэропланы у нас есть. Быстро доставим. А работать подождите». Кирилл ответил: «Голова у меня не потревожена, работать могу. За врача спасибо и за телеграмму спасибо». Потом к Кириллу пришла делегация пионеров, а с ней и Аннушка. Аннушка сторонилась, что-то все нашептывала вожатому. Вожатый вышел вперед и отрапортовал:

– Мы, пионеры, на своем слете вынесли... – Он сбился и заговорил просто: –

Дядя Кирилл, ты больше на лошадь не садись.

– Не сяду. Никак не сяду, – дал слово Кирилл. – А ты, Аннушка, чего там шепчешь?

– А чтобы тебя пробрали – вот чего. – Она села на кровать, дотронулась до груди Кирилла и спросила: – Больно?... Ну, вот видишь...

К вечеру пришла и Феня. Она по глазам Кирилла догадалась, что прыжок не случайный.

– Зря, – тихо сказала она.

– Молчи, Феня. И на здоровом теле может выскочить нарыв. Дурь хотел смыть. Тебе не вру.

– Впрочем, – продолжала она, как бы не слушая Кирилла, – это на тебя похоже: все доводишь до конца. Помнишь: «Пей-гуляй: одна живем»... это тоже ведь своего рода: «Пей-гуляй: одна живем»... Я послала в Широкий Буерак телеграмму. Ей. Ты не сердись на это.

– Не приедет. – Кирилл нахмурился: перед ним всплыло – на возвышенности стоят Стеша и Арнольдов, утреннее солнце бьет лучами им в лица, а они стоят, в застывшем ожидании, и смотрят вдаль, за Волгу.

Так Кирилл несколько дней пролежал в постели, принимая людей у себя на дому. Сегодня он решил встать. Он поднялся, подошел к зеркалу, расстегнул ворот: синяк порозовел.

«Пройдет, – махнул Кирилл рукой. – Не то было, и то прошло, – и стал одеваться. – Да и Павел прилетел. Пикник сегодня. Надо Павла повидать».

В это время отворилась дверь и в кабинет вошел Арнольдов.

Арнольдов весь сиял. Он стоял на пороге, рассматривая Кирилла, и словно совсем не видел его.

«Вот он, – мелькнуло у Кирилла. – Вот и руки его... белые, с тонкими пальцами... Это те самые руки», – но странно, ни ненависти, ни злобы к Арнольдову у него не было, было что-то другое, гораздо выше всего этого: оно примирило Кирилла с Арнольдовым, заставило его подняться со стула и пойти навстречу своему другу.

– Здравствуй, – сказал он. – Здравствуй, – и обнял Арнольдова.

– Ну, тебе спасибо, спасибо «нечетный раз», как говорят в Широком Буераке, – заговорил Арнольдов. – Вот посмотри, что я сделал. Это еще только наброски, эскизы. Но это то, что нам нужно. – Он вытащил из чемодана несколько тетрадей и показал Кириллу.

Один набросок Кирилла особенно поразил. Ему показалось даже, что он что-то подобное видел. Эскиз назывался «Последний единоличник». Поле. Вдалеке работают комбайны. На переднем плане стоит крестьянин, он в лаптишках, а рядом с ним его согбенная коняга. Она понуро опустила голову, в зубах у нее торчит солома – стерня. Крестьянин смотрит вдаль, туда, где работают комбайны.

– Да это же Митька Спирин! – вырвалось у Кирилла.

– Вот-вот. Тем и замечательна наша жизнь. Я его видел на другой работе. Он теперь в колхозе, он рассказал мне, почему его на селе звали последним единоличником. И я нарисовал его. И вот еще.

Густая, волнистая, точно налитая свинцом, рожь. Утопая в ней, стоит Никита Гурьянов. Он смеется. Смеется и солнце, играя на колосьях ржи.

Но одного наброска Арнольдов не показал Кириллу.

– Этот я тебе потом покажу... это – вставка в большую картину. Помнишь, там, в кресле... никого нет... так вот – это в кресло.

Они долго говорили о рисунках Арнольдова. Арнольдов рассказывал про Широкий Буерак, про людей – про Захара Катаева, про Нюрку, про Гришку Звенкина, и ждал, когда же Кирилл спросит его про Стешу.

– Ну, что ж, я за тебя очень рад. – И Кирилл отошел к окну. «Но что же он ничего не говорит про Стешу»? – думал он.

Арнольдова в эту минуту мучило свое:

«Но ведь я не виноват. То порыв, буря, ураган. На кого не налетит такой ураган, и кто будет сопротивляться ему!» Он улыбнулся, вспомнив Стешу, и перепугался, что по этой улыбке Кирилл может догадаться обо Есем. «А ведь надо бы ему просто все сказать», но он так ничего и не сказал и даже не подал виду, что с ним там, на возвышенности около «Брусков», что-то произошло.

Кирилл повернулся к Арнольдову, еще раз посмотрел ему в глаза, уже требуя взглядом своим, чтобы он говорил про Стешу... Глаза Арнольдова опустились и явно сказали: «Не могу, Кирилл».

– Да! – Кирилл заспешил. – Вчера к нам прилетел Павел Якунин. Устраивают по этому случаю пикник. Очевидно, уже собрались. Поедем?

– Очень хорошо. Я вот только умоюсь, приведу себя в порядок.

Умываясь, Арнольдов обдумывал, как передать Кириллу поручение Стешы.

– Да, да, – как бы спохватившись, заговорил он: – Стеша. Вот ведь ты какой – и не сказал, что знаешь ее. Она получила какую-то телеграмму отсюда... и просила передать, что приехать не может: ее вызвали на совещание в Москву. – Арнольдов плескал воду, и ему казалось, она вот-вот зашипит на его покрасневшем лице.

## 11

Над рекой плавали предвечерние тени. Вода помутнела, покрылась медными отливами, а леса сникли, глухо загудели, будто уходя и прощаясь с солнечным днем.

Через поляну просвистал вальдшнеп, за ним – второй, третий.

– Надо как-нибудь на охоту шаркнуть. Охотился когда-нибудь?

– Мечтаю, – ответил Арнольдов. – А ты?

– Тоже. Во сне охочусь! – Кирилл проследил за полетом вальдшнепа и решил дня через два обязательно отправиться на новые озера – туда, к Широкому Буераку. – Мы живем еще не совсем ладно: все в работе и в работе. А надо жить полнее. Пора уже. Верно? А то сойдемся повеселиться – и опять о заводе.

Они подходили к кострам.

Около самого большого костра под развесистым дубом собрались те, кто был уже «на взводе». Оттуда слышались смех, полупьяные голоса, визг женщин. При появлении Кирилла все зааплодировали, закричали, а женщины окружили его, облепили. Стефа первая повисла на его руке и, ломаясь, зашептала страстно:

– Ах, Кирилл... как я рада... как я рада...

– Ну еще бы, – с усмешкой пробормотал Кирилл, стараясь освободиться от Стефы.

Но она крепче вцепилась в его руку.

– Чесно слово, чесно слово. – «Честное» у нее не выходило, а это особенно обозлило Кирилла.

«Экая корова... кобыла, – раздраженно подумал он и вовремя спохватился: – Чего же это я так беснуюсь?» Он посмотрел на Стефу, на ее открытый загривок, где жир лежал бугорком, будто шишка.

– Рада, значит?... Ну, славные наши, как живете? – обратился он ко всем женщинам, увлекая Стефу ближе к костру, чтобы тут отделаться от нее. – Что-то вы все стали кудрявые?

Женщины снова завизжали, будто кто их принялся щекотать.

Иные из них уже ожирели или только начинали жиреть. Совсем другой вид имели их мужья – многие рано поседели, другие рано сгорбились: изработались. А эти – в шелковых платьях, с разрезами спереди, позади, сбоку – топтались около Кирилла, намеренно колыхая бедрами, выставляя груди – большие, стянутые, жирные.

«Ох, да что же это с вами случилось?» – чуть не вырвалось у него, и он хотел было сбросить Стефу, но тут же вспомнил, что он секретарь горкома партии, что ему нельзя вести себя, например, так, как ведет себя Арнольдов, что в его обязанности входит и этих женщин сделать другими, – и он улыбнулся, прикрывая своей улыбкой неприязнь. «Запрячь бы их в работу. От безделья ведь жиреют», – подумал он и, подойдя к костру, пожаловался:

– Ребята, выручайте. Я ведь еще больной.

– Вырвать!

– Вырвать Ждаркина! – раздались полупьяные мужские голоса.

«Ах, если бы она была тут», – затосковал Кирилл о Стеше и шепнул Стефе:

– Стефа. Поди-ка, займи Арнольдова... художника.

– О-о, Арнольдова! Мы с ним давно знакомы. – И Стефа поплыла к Аркольдову.

– А где ж наш гость? – спросил Кирилл.

– А вон у другого костра. Его там Феня «обвораживает», – показал на второй костер Егор Куваев.

Лицо у Егора морщинистое, волосы круто зачесаны назад, непослушные они, то и дело падают на лоб.

– Вот жизнь какая, – сказал он, – как соберемся, минут десять молчим, а потом опять о заводе. Вот и теперь, шел я сюда и думал, что буду делать среди вас: я печник, а вы ученые. Ну, думаю, дай хоть одним воздухом подышу.

– Хитрит. Хитрит Куваев. Ты лучше расскажи про шефов. – Рубин наклонился к Кириллу и громко засмеялся: – Кунаев к себе в цех шефов натаскал и всех обдирает.

– Шефы – что? Шефы, они полезные. А вот про мотоциклетку расскажу. Вы знаете, почему я мотоциклетку на автомобиль сменял? Нет? Так вот какая история. У меня ведь Зинка-то с гонором. Вон она, как пава, расхаживает. И в девках с гонором была, да я ее обманул. Бывало, пойду к девкам, а они от меня нос воротят – печник, одно слово. Так я потом научился и стал другое говорить: «Я, мол, слесарь». А в башку-то ко мне не залезешь. Вот и наскочил на свою Зинаиду. «Кто ты есть?» – «Слесарь, мол». Ну, она выкатила за меня, как за слесаря. Да потом все раскрылось. Пришел я с работы весь в глине. Ясно, печная работа. Она и спрашивает: «Егорушка, что это у тебя одежда какая?» А так и так, мол, то да се. Она и догадалась. В развод давай. Хорошо – тесть уговорил...

Все знали, что Куваев женился недавно, что все это он врет, и потому безудержно хохотали. А Куваев продолжал, бессовестно путая правду с выдумкой:

– Ну вот, купил я мотоциклетку и думаю: «Вот посажу Зинаиду, городом промчусь, она глаза вылупит, а я ей и брякну: «Ну, не хотела за печника выходить? А вот видишь, как тебя катаю». Ну сел, повез. Смотрю, она нос гнет. «Что? – спрашиваю. «Да что, слышь, это за машина: лошади ее боятся, а извозчики дороги не дают. Автомобиль, вот та – машина». Ну я и руками развел. А когда приехал к нам на завод Орджоникидзе... Нарком тяжелой промышленности, думаю, приехал. Ежели работа моя ему понравится, то буду просить. Ну, осмотрел он мою работу, хлопнул меня по плечу и говорит: «Молодец, Куваев. Какую награду за дела хочешь?» – «Машину, мол. Автомобиль. А то жена не хочет на мотоциклетке мотаться».

Люди смеялись. Смеялись над собой, над своими неудачами в прошлом, над прорывами. Кто-то напомнил, – и Рубин подтвердил, – как сходил первый трактор с конвейера.

– Помните, мы телеграмму дали в Москву: «Сняли с конвейера первый трактор». Оно ведь так и было, трактор не сошел с конвейера, а мы его под

«Дубинушку» стащили.

Тут, у большого костра, смеялись, горланили песни, танцевали фокстрот, румбу, хихикали, хохотали, рассказывали сальные анекдоты, многие от таких анекдотов морщились, отворачивались, иные смаковали их и в темноте «щупали» чужих жен. Даже Рубин, этот тихо улыбающийся пугливый человек, и тот рассказывал анекдот про какого-то старого перса.

– Ба-а, – промычал Кирилл и ушел ко второму костру.

Тут шла своя жизнь. На куст была прикреплена карта Союза. У карты на коленях стояла Феня и двумя пальцами придерживала ее. Рядом – Павел Якунин. Он рассказывал о своем предполагаемом полете и водил по карте палочкой. Тут же сидел и Арнольдов и те, кто ушел от большого костра.

– Мы должны лететь таким маршрутом: Москва – Ростов – Тифлис... Побережье Каспийского моря... Алатау... Памир... Дальний Восток. Тут нас должны встретить с горючим. Если нам удастся горючее принять в воздухе, мы не сделаем посадки и полетим дальше – на север, через Арктику... – Павел подробно рассказал о будущем полете. Говорил о ветрах, о нестерпимой жаре, о пурге и метелицах, которые непременно встретят их на пути. Говорил он спокойно, хладнокровно. Но перед зарей он вдруг заговорил о своей мечте – о полете в стратосферу. Тут он весь ожил, преобразился... Он высмеял фантастический полет, описанный Жюль Верном, рассказал о попытках крупных ученых подготовить полет ракеты с людьми, о той ракете, над которой сейчас работал сам вместе с передовыми инженерами Союза. Все, кто слушал Павла, следя за его рассказом, уже ходили по Луне, путешествовали по межпланетному пространству... И вдруг – Павел резко оборвал рассказ: на него в упор смотрела Феня. В предутренних сумерках глаза ее горели... и Павел почувствовал, как что-то сильное пронзило его.

– Девушка, – безгласно прошептали его губы. – Девушка.

И губы Фени тоже безгласно ответили ему, а глаза покорно опустились, и карта выпала из рук.

Среди слушателей произошло замешательство, но все, кроме Кирилла, сочли, что Павел устал, потому и смолк. В это же время от большого костра привалила ватага полупьяных мужчин и женщин.

– Гулять! Гулять! – кричала Стефа и со всего разбегу, ломаясь, играя бесшабашную девчонку, кинулась к Павлу и села у него в ногах.

Но Павел на нее посмотрел так, что она оторопела и отодвинулась от него. Павел поднялся. Подал руку Фене, и они вдвоем пошли от костра в сторону луговинных долин.

– Да она же холостячка! – закричала им вслед Стефа...

...Они шли луговинной долиной.

Сухие травы – белая ромашка, дикий клевер, бронзовый полынок – били их по ногам и обдавали пряной пылью.

«Будто в море», – мелькнуло у Павла, но и об этом говорить не хотелось. Хотелось одного: вот так держать за руку Феню, эту рыжеголовую девушку, вместе с ней шагать до усталости, до изнеможения.

И они шли – вдвоем, рука в руку. Далеко позади остались потухающие костры, крики, смех людей... Затрещали кузнечики в травах, и солнце заворошило своими длинными, тягучими лучами в камышах... а они все шли, шли, шли... и молчали.

– Павел, – неожиданно, еле слышно проговорила Феня, – Павел, – и упала на колени, точно кланяясь земле и сухим травам...

А когда они шли обратно, то шли, плотно прижавшись друг к другу, никого не стесняясь, никого не стыдясь. И в одном месте, почти около костров, за опушкой леса Феня придержала Павла и, краснея, шепнула ему:

– Вот как, Павел! Все отлетело... и моя теория... видишь ли, я хочу... Понимаешь ли? Ну, прямо скажу, по-комсомольски. Чего тут стесняться? Это же предрассудки. Я хочу-у... хочу ребенка. – Но она тут же вся вспыхнула и прикрыла лицо руками. – Ой! Ой, Павел! Что ж это? – вскрикнула она и кинулась в кустарники... и Павел кинулся за ней.

Потом Павел сказал:

– Мне пора, Феня. А ты береги себя. Береги то, – подчеркнул он. – А оно будет.

– Павел! – Феня притянула голову Павла к себе и запустила в его волосы длинные, сильные пальцы. – А ты помни, ты не один на земле. Нас трое... Ой, что это стыдно как... и хорошо.

– Да, хорошо, – сказал Павел и посмотрел вдаль. – Но мне пора. Через три-четыре часа я должен быть на аэродроме. Дня три мы посидим в одиночестве, отоспимся и – в путь.

Павел сбежал под обрыв, где под брезентом покоилась его «красная муха», и через несколько минут заработал мотор.

Все стояли на обрыве и ждали.

И вот «красная муха» дрогнула, скользнула с места, затем подпрыгнула и пошла вертикально вверх, затем накренилась и понеслась вдаль, но там, вдали, она накренилась, нырнула, круто повернула и бреющим полетом помчалась на толпу.

Люди на обрыве махали руками, кричали приветствия, прощаясь с летчиком, а летчик, выключив мотор, поравнявшись с толпой, крикнул единственное слово:

– Фе-е-ня-а!

– Вот кто ее разбудил, – чуть погодя тихо сказал Арнольдов Кириллу.

– А-а, – Кирилл хотел было сказать: «А тебя?» – но промолчал и, отвернувшись от Арнольдова, зашагал в лес.

Он шел лесом и как будто ни о чем не думал, только иногда останавливался и шарил по карманам, словно что-то отыскивая, но тут же спохватывался и шел

дальше.

А когда он пересек бор и вышел на поляну, – увидел Феню. Она сидела над обрывом и, обняв руками колени, смотрела в ту сторону, куда улетел Павел.

– Здравствуй, Феня, – сказал он.

Она дрогнула и подняла на него глаза, те самые глаза, какие нарисовал Арнольд, и Кирилл понял, что Феня с Павлом.

– Ну, здравствуй... ну, доброе утро, – ответила она.

## Звено восьмое

### 1

В Кремле происходило что-то необычайное, даже, пожалуй, небывалое: это не походило ни на съезд советов, ни на съезд партии или расширенное всесоюзное совещание работников промышленности.

Во внутрь Кремля вливались потоки людей, всем своим внешним видом отличавшиеся от горожан: мужчины почти все в сапогах с железными подковами, большинство в кепи, а иные, как, например, Никита Гурьянов, в картузах с каркасом, с лакированным козырьком, то есть в тех картузах, мода на которые, наверное, отжила уже лет сорок тому назад. Но картузы эти хранились, надевались только в большие праздники, а ныне – и есть один из величайших праздников. Среди мужчин немало и женщин, одетых тоже по-праздничному, но своеобразно: иные в легких платьях, даже в шелковых, другие в красных юбках, белых кофточках, а на голове у всех платочки – разные: синие, голубые, пестренькие... и ни одной шляпки.

В Кремль вливались люди от земли, пахнувшие землей, с мозолями на руках: передовики сельского хозяйства.

Шли они наискось, пересекая Красную площадь, гремя подковами о каменную мостовую, а подходя к Мавзолею Ленина, снимали головные уборы, на миг приостанавливались и каждый мысленно произносил:

«Живем, Ильич, твоими заветами».

– Спи спокойно: дело твое в наших – надежных – руках.

А подходя к воротам, каждый прибавлял шаг: поскорее занять удобное место в зале Кремлевского дворца...

И вот уже огромный зал, с высоченным потолком (глядеть и то шею больно), с необъятным верхним ярусом, бушует.

Зал так бушует, что кажется, не будет конца этому безудержному восторгу людей: люди били в ладоши, что-то кричали, каждый по-своему, каждый о своем,



но все вместе об одном и том же:

– Вот мы какие стали, вот куда нас созвали, вот как мы нужны народному государству... – И их аплодисменты то стихали, то снова взрывались и оглушающей волной неслись туда – на сцену, где за столом стоял Михаил Иванович Калинин. То и дело поправляя очки, он, придавленный бурей аплодисментов, растерянно смотрел в зал, видимо не зная, как уговорить эту взбушевавшуюся радость, и надо ли ее уговорить. Вот он поднял обе руки и стал пригибать кисть, говоря этим:

– Садитесь, садитесь! Чего разошлись? – и тут же повернулся: буря аплодисментов хлынула за его спину.

На сцену вышли аплодирующие руководители партии и правительства, а за ними в белом костюме, в сапогах с короткими голенищами, Сталин.

Сталин!

Они, люди полей, не знали ни личной жизни Сталина, ни его характера, да и не интересовались этим. Для них Сталин был тем человеком, который от имени партии открыл им путь от проклятой жизни в жизнь светлую, достойную, возвышающую, и они от всего сердца зааплодировали ему, решив в его лице отблагодарить и всю партию большевиков, – вот почему у многих брызнули слезы радости, но такие же слезы навернулись и на глаза всех тех, кто стоял лицом к людям земли и аплодировал вместе с ними.

Прошло пять, десять... пятнадцать минут. Люди все неистовствовали, аплодировали, кричали, пробовали запеть «Интернационал», но тут же сминали песню. Сталин, наконец, вынул из кармана часы и показал делегатам, словно говоря: «Время бежит. Время дорого», но делегаты как будто только того и ждали – в крики, аплодисменты ворвался веселый смех...

Никита Гурьянов и Стеша чуточку припоздали. Виноват в этом оказался Никита. Года два тому назад, когда он был в Москве на совещании «мастеров земли», он вместе со всеми заседал в Малом зале Кремля. И теперь, несмотря на то что распорядители совещания направили их в Большой Кремлевский дворец, несмотря на это, Никита тянул Стешу в Малый зал.

– Там же. Чай, я знаю. Что мне, впервой, что ль?... Обманывают. Москва. Она такая. Ей не верь.

И, поплутав, они вошли в Большой Кремлевский дворец в то время, когда зал уже дрожал от рукоплесканий. Зал был настолько огромен, что Никита, войдя в него, сжался, посмотрел кругом – и люди, сидящие на балконе, показались ему куколками, а людей было так много, что он даже пробормотал:

– Вся Расея собралась.

И сам зааплодировал, увидев Сталина.

Что было потом – он хорошо не помнит. Он лез вперед, кричал до хрипоты, не стесняясь, рукавом нового пестренького пиджачка смахивая слезы, и аплодировал даже тогда, когда председательствующий возвестил, что «в президиум предлагается избрать Никиту Семеновича Гурьянова, мастера земли,

представителя колхоза «Бруски».

– Тебя выбирают, Никита Семенович, а ты аплодируешь, – сказала Стеша.

– А-а-а! Что ж, стало быть достоин, – и, не дожидаясь, когда его вызовут, направился в президиум.

Он шел неторопко, вразвалку, но на полпути остановился: председательствующий объявил, что «в президиум предлагается избрать Степаниду Степановну Огневу, лучшую трактористку Союза».

– Ого! – сказал Никита и поманил к себе Стешу: – И тебя туды же. Пойдем!

– погоди, Никита Семеныч. Позовут.

– А чего годить. Раз выбрали – пойдем, а то все расхватают.

И верно, не успела Стеша сделать и нескольких шагов, как места за столом в президиуме были заняты.

– Ну, вот, – поднимаясь по лестнице на сцену, ворчал Никита. – Говорил тебе, пойдем. Тут народ такой: живо первейшие места захватят, а тебе – задворки.

Стеше досталось место в самом последнем ряду. Она присела на крайний стул и, оглянувшись, увидела, что сидит в этом ряду одна, и ей стало неловко: ей показалось, что весь зал, все эти семь тысяч человек смотрят, на нее, и ей захотелось смешаться с людьми, скрыться, но скрыться было некуда, и она согнулась, прячась за спины сидящих впереди нее членов президиума. Временами она забывалась, но потом снова начинала беспокоиться, прятаться за спины.

А Никита действовал:

– Тут, как на пустыре, – сказал. он и пошел в первые ряды.

Как только он приблизился к столу, его подхватил под руку Сергей Петрович Сивашев и повел к Сталину:

– Товарищ Сталин, – сказал он. – Вот наш мастер земли – Никита Семеныч Гурьянов.

Сталин быстро встал и, пристально, чуть задрав левую бровь, всматриваясь в Никиту, проговорил:

– А-а-а. Знаю. Никита Семенович? – Он пожал Никите руку и, не видя свободного стула, подал свой. – Садитесь, пожалуйста.

Никита ни такой встречи, ни того, что Сталин уступит ему стул, ни вообще, что вот сию же минуту встретится со Сталиным, – Никита ничего такого не ждал и в первую минуту совсем было растерялся, но Сталин еще раз сказал:

– Садитесь, садитесь, – и чуть не силой усадил его.

– Чай, я... Чай, я, Иосиф Виссарионович... – Никите трудно было выговорить отчество Сталина, но он всю дорогу твердил его, и теперь вышло хорошо. – Чай, я... я, чай, и постоять могу: у меня ноги-то хожены.

– В ногах правды нет, – сказал Сталин.

– Оно эдак, – согласился Никита и все-таки хотел было встать, но в это время

откуда-то кто-то подал второй стул, и Сталин сел рядом с Никитой.

Что происходило в эти часы с Никитой – ему трудно было понять: он говорил и действовал как-то безотчетно, он ясно сознавал и понимал только одно – свое величие, потому что это было просто, это было понятно, хотя до этого Никита об этом и не думал. Он знал, что он работает на колхоз, знал, что колхоз его сила, что колхоз дает ему радость, но то, что его труд ценен для государства, и когда Сталин сел рядом с ним, Никита, выставив вперед свои огромные, заскорузлые руки, сказал:

– Ну, что жа, Иосиф Виссарионович, я сам-сорок смахнул. Вот этими руками.

Сталин еле заметно улыбнулся:

– Ну-у! Сам-сорок? Это хорошо. Один!

– Ну-у! Где одному. С бригадой. – И в следующую секунду Никита уже стал непосредственен и откровенен, как ребенок. – И теперь, пожалуй, награду бы мне за это. А-а-а? А то с чем домой вернусь?

Никита ждал, что Сталин снова еле заметно улыбнется. Но Сталин ответил весьма серьезно:

– Что ж! Заработал! Получить надо. Ныне награда дается за труд. И надо получить. Вон у Михаила Ивановича Калинина.

Тогда Никита засопел и тихо, еле слышно:

– Да ведь награда-то не мне одному нужна... Вы уж меня извините. Я ведь что? Нюхоток. А колхоз – рука. У нас голова есть большая – Захар Вавилыч, Стеша Огнева.

– Где она? – спросил Сталин.

– Во-он, – показал Никита на задний ряд. – Епиха Чанцев.

Тут Сталин засмеялся как-то в себя, чтобы не нарушить общего хода собрания, и тихо спросил:

– А вы помирились с товарищем Чанцевым? Слыхал я, зимой вы пошумели с ним из-за навоза...

Никита был крайне удивлен, что Сталин знает и об этом, и в то же время ему стало нехорошо оттого, что история с навозом известна Сталину, и он, чтобы отвести разговор, сказал:

– Ай и его знаете? Епиху? Откуда?

– Сергей Петрович рассказывал, – просто ответил Сталин.

– А-а-а. Он у нас, Епиха, хоть и хроменький, а с башкой. Его бы сюда. У него ноги-то в бездейственном положении, и ему в передвижке запрет положен. А аэроплан бы за ним... – и перепугался Никита: – Что? Может, дорого? Так половину мы колхозом бы внесли. За него внесут.

– Вот это хорошо. Очень. О Чанцеве вы вспомнили. Очень хорошо, – и тут же, повернувшись к какому-то человеку, Сталин сказал: – Пошлите за товарищем

Чанцевым аэроплан. Сюда надо доставить. На совещание. – И снова к Никите, всматриваясь куда-то вдаль: – Очень хорошо... В том наша сила: друг другу помогать в борьбе, друг о друге заботиться и славу делить.

Никита, сам пораженный таким оборотом, вскрикнул:

– Ну-у, чай гору народом-то свернули. Балбашиху. Узнали, в горе озеро подземное. И на поле его, воду то есть. С народом. Один человек что? Комар. А когда вместе – слон.

Стеша видела, как Сталин то и дело нагибался к Никите, о чем-то расспрашивал его и, сдерживая смех, очевидно не желая нарушать порядка совещания, крепился, но временами, прикрыв рот рукой, начинал вместе с Никитой хохотать – громко, заразительно.

«Ах, если бы он со мной поговорил», – мечтала в это время Стеша.

И вот Никиту пересадили ближе к Михаилу Ивановичу Калинин. Его о чем-то упрощивают и Сталин и Калинин. Никита качает головой, отнекивается. И вдруг, приподнявшись, он громко заговорил:

– Ну, что же. Ну, давай. Давай поправлю. – Он, видимо, не ждал, что его слова через радиоусилитель облетят весь зал, и, чтобы не быть смешным, добавил: – Граждане, приятели от полей и другого, Михаил Иванович тут на меня насел, говорит: «Правь пока народом». Что делать? Беру вожжи в руки и даю слово Константину Петровичу Каблеву.

Константин Петрович Каблев вышел на трибуну. Ему лет девятнадцать, не больше. У него еще только пушок на верхней губе. Он волнуется и никак не может начать речь. Вот он надул щеки, и лицо у него стало похоже на самовар. Так он делал, когда приходил в хоровод, чтобы посмешить девчат. И тут он надул щеки, и зал грохнул хохотом, а те, кто приехал вместе с Костей, ахнули: вот провалит... вот позор!

– Валяй, Костя! Крой! – кричат они.

– Крой, крой, – поощряет Никита. – Тут, окромя своих, никого нет.

«Эка, как легко – крой», – думает Костя и, глубоко вздохнув, так, что плечи у него чуть не коснулись ушей, заговорил:

– Приветствую любимых вождей наших и стоящего во главе партии товарища Сталина.

Эта часть речи по плану должна была быть на конце, но Костя все перезабыл. И люди бурно зааплодировали. Костя собрался с силой и «крыл» дальше. Он рассказал о том, как он работал на тракторе «Универсаль-2» и как его, Костю, из одного колхоза «бабы тятками выгнали».

– И что же получилось? Там, где я работал на «Универсаль-2», где я произвел пятикратное мотыжение, букетировку и копку, там урожай свеклы, – слушайте, какой был, – четыреста центнеров с га, а там, откуда меня прогнали несознательные женщины тятками, – урожай восемьдесят центнеров. А когда я окончил работу, – Костя ухмыльнулся, вытер рукавом пот на лице, – и когда я

хотел отправиться домой, колхозники пригласили меня в гости и угостили меня хорошо и даже вином поили и домой отвезли...

Нет, зал не может спокойно слушать речь Кости. Семь тысяч представителей земли увидели в этом парне самих себя и, не в силах спокойно сидеть на месте, они то и дело возгласами одобрений прерывают Костю, как бы говоря этим: «Обратите внимание на Костю, мы все такие». Но Костя еще не кончил. Он непременно хочет сказать о том, как он живет. Он поворачивается к президиуму и сердито говорит:

– Что я имел раньше?

– А сколько тебе годов было раньше? – перебивает его Никита.

– А раньше я имел зипун и лапти, – это лет пять тому назад. А теперь меня знает вся область, и секретарь комитета партии принимает меня как почетного гостя. Вот что я теперь. А на заработанные деньги я купил корову, три овцы и свинью. – Костя передохнул и мечтательно посмотрел в пространство: – Она, видно, опоросилась без меня. Небось штук тринадцать принесла. Во! Все! – выкрикнул он. – А теперь разрешите пожать руки членам правительства, – и под гром аплодисментов Костя обошел членов президиума.

Следом за Костей выступали другие – в клетчатых кофточках, в коротких юбках старого фасона, в неумело повязанных галстуках, и корявым языком, корявым, но сочным, рассказывали о своих достижениях на полях, на огородах, на конюшнях, на скотных дворах, в тракторных бригадах. Выступали и агрономы, и ученые, и академики, и члены правительства.

«И я... и я буду говорить. Ну, разве я хуже их? Но что я скажу?» Мысли у Стеша бились, облекались в слова – крепкие, красочные, но тут же гасились страхом.

И вот кто-то подошел к ней. Это она услышала. И тот, **кто** подошел, проговорил с легким кавказским акцентом:

– Здравствуйте, товарищ Огнева.

«Не тот ли опять Мирзоян»? – вспомнила она тракториста, которому пришлось на письмо отвечать через печать.

– Здравствуйте, – проговорила она и, не поднимая глаз, не поворачиваясь, подала человеку руку и вся вспыхнула, ибо увидела перед собой Сталина, и в тот же миг спохватилась: «Хоть бы встать!» Она было и хотела встать, но Сталин уже сел рядом с ней.

– Почему в сторонке держитесь? Вам надо выступить. Вас вся страна знает, и страна ждет вашего слова, – сказал Сталин.

Стеша растерялась. Она смотрела на Сталина, а на них двоих фотографии наводили аппараты.

– Вы молодец, Стеша, – говорил Сталин. – Вы на своем примере показали, что вопрос женского равноправия у нас в стране разрешен и окончательно. Вы знаете, как долго шел – и теперь все еще идет – спор о том, давать или не давать женщине

политические права? Сколько ученых, политиков сломали себе шею на этом вопросе. А у нас вот в стране этот вопрос разрешен и окончательно. Окончательно: трудодень разрешил его.

Слова Сталина были просты, но именно эти слова вдруг и осветили все перед Стешей.

«Да, да, это так, это так», – твердила она про себя и кивала головой и все порывалась что-то сказать, но что – не знала, и в то же время боялась, что вот Сталин смолкнет и она не сумеет сказать и одного слова.

– Раньше на женскую душу в деревне земли не давали – и даже говорили: «У женщины души нет, на месте души лапоть». А мы вот пробудили в женщине великую душу. Красивую душу, – проговорил Сталин и вдруг резким движением махнул на стаю фотографов, киносьемщиков, которые тянулись из-под сцены, как кобры. И все они скрылись. А Сталин продолжал говорить, отчеканивая каждое слово, повторяя главные слова, подчеркивая их. Он говорил то, что Стеша смутно чувствовала, понимала, что ее радовало, ставило крепко на ноги, и она все кивала головой и все боялась, как бы Сталин не смолкнул.

И Сталин, как будто зная об этом ее замешательстве, все говорил, говорил, тихо, спокойно, рассматривая людей в зале.

– Мне только что Сергей Петрович сказал, что вы здесь. И мне захотелось посмотреть на вас и поговорить с вами. Вот и поговорил. – Он улыбнулся и привстал, ибо в это время к нему подошел какой-то ученый.

После того как Сталин отошел от Стешы, она неожиданно очутилась в центре внимания: ее пересадили в первый ряд – рядом с Никитой, на нее налетели фоторепортеры, киносьемщики, корреспонденты.

– В гору мы с тобой пошли, – шепнул ей Никита. – Ты только гляди не споткнись где. На меня гляди. Я уж знаю, как нос держать... Товарищ Сталин Иосиф Виссарионович награду обещал. Велел взять у Михаила Ивановича. Рази к Михаилу Ивановичу на чаек попроситься? – Он перегнулся и через Стешу обратился к Калинин: – Михаил Иванович? Я говорю, на чаек бы, что ль, к тебе зайти? А-а-а? И о суданке поговорить. Хочу суданку развести. А-а-а?

– Да, приходи, приходи, – торопко ответил Михаил Иванович и, сняв очки, с большим интересом посмотрел на Никиту. – Приходи... Вот хорошо-то.

– Обязательно приду. Ну, вот. А теперь я заседание закрываю, как надо нам всем передышку сделать, – объявил Никита и хотел было погладить бороду, но вспомнил, что на курорте ему ее сбрили.

## 2

Совещание тянулось несколько дней – Никита потерял счет. К Михаилу Ивановичу на чай он сходил. Но поговорить за самоваром «вразвалку», как называл Никита, ему не удалось. Михаил Иванович куда-то торопился, да и

народу за столом было много, и Никита удивленно сказал:

– А я ведь думал – чего, мол, Михаилу Иванычу не жить: хошь – чай пей, хошь – чего хошь. А ты вон как. Да ведь эдак тебя заездить могут.

– Жнитво, Никита Семеныч, жнитво идет.

– Какое жнитво? Жнитво давно кончилось, – не поняв Михаила Ивановича, поправил Никита.

– Не то жнитво, а людское: плоды трудов своих пожинаем.

Так он и расстался с Михаилом Ивановичем.

Поднимался Никита по привычке в самую рань, выходил из гостиницы и шатался по Москве. За эти дни он сдружился со стариком дворником Архипычем и с милиционером Саней Вахрамеевым. С Архипычем знакомство произошло просто. Архипыч мел сор с тротуара и ворчал:

– Идет человек – нет, чтобы окурок там аль грамотку в карман положить. Бросит. Мети. В своей избе не бросил бы!

– А у нас на полях не кидают, – вступился Никита. – Чисто. Какое стеклышко аль там камешек заметют, и в канавку его.

Так они познакомились.

Никита рассказывал про колхозы, Архипыч – про Москву. Он Москву знал так же, как Никита – Широкий Буерак.

– Вот есть у нас тут переулочек, Капельским называется, и церковь была «Божья мать на капельках». Отчего? Оттого – жил тут купец и держал трактир. И делал он так: придет компания, купит сообща бутылку, хозяин им разливает. Разливал он так – стакан, перед тем как налить, сполоснет и выплеснет в ведро. Ну, за день ведра три-четыре и соберет водки. С того в гору пошел, разбогател и церковь построил. А то есть Тимонин тупик. Это ямщик жил – Тимонин. Понимаешь? Он ухлопал раз барина одного, деньги забрал и жить с того пошел. Потом появились Тимонинский тупик, дома тимонинские... девки тимонинские... На все руки пошел.

Архипыч мел, рассказывал. Никита слушал или сам брал метлу, мел и рассказывал, а Архипыч слушал. В девять же часов Никита спешно бежал в кремлевскую столовую, сытно там ел и шел на совещание.

Но особенно крепко Никита сдружился с милиционером, которого москвичи ежедневно видели на посту, почти У самого Лобного места на Красной площади. Никита этого милиционера заметил в первый же день. Тот, пропуская мимо себя поток машин, ловко вскидывал руки, ловко и проворно вертелся на пятках. И Никите это очень понравилось.

– Вот это – мастак парень, – сказал он Стеше. – Ты ступай, а я малость погляжу на него, – и долго стоял на углу, затем расхрабрился, подошел к милиционеру. – Скажи-ка, милай...

Милиционер быстро отдал ему честь, что немало удивило Никиту, и

скороговоркой проговорил:

– Я занят, отец. Вы бы обратились вон к тому милиционеру. Вон стоит – он расскажет, как и что.

– А я к тебе шел. Где ты, милай, учился такой науке?

– Какой?

– А вот... ловок ты, братец. У меня голова от машин закружилась, а ты, гляди чего.

– Ты, отец, откуда? – не переставая управлять движением, спросил милиционер, и строгое его лицо расплылось в улыбке.

– А ты разве не знаешь? Я же Никита Гурьянов.

– А-а-а. Читал. Вон ты какой!

– Читал? Еще бы. Меня теперь Никитой Семенычем зовут, а был я Никитка Гурьянов. Верно, я в былые времена глоткой брал. Мы, примерно, братья Гурьяновы, драчуны были... Вот на кого ежели злы, кто не угодит нам, примерно землю там не уступят аль делянку в лесу, так мы что делали: на масленицу полюбовный бой был на селе, мы вот и сговаривались, мы, то есть братья, вложить ныне полюбовно такому-то – ну, там Ваське Герасимову... и ударились на него. Скулы выворачивали. И знали нас. А теперь меня Никитой Семенычем величают и со Сталиным я за ручку здороваюсь, – похвастался он и вдруг впервые за всю свою жизнь почувствовал, что от такого хвастовства ему стало стыдно. – Заврался малость, – поправился он. – Оно, конечно, со Сталиным я разговор имел, да ведь он не только со мной говорит... со многими, со Стешей с той же.

Милиционер оказался комсомольцем, и вечером они с Никитой сидели в кафе и пили чай. От кофе Никита решительно отказался. И сегодня, расставаясь с милиционером, Никита сказал:

– Саня! Я завтра должен перед народом слово держать. Посоветуй, как и что. Оно, конечно, ежели бы племяш, Кирилл Сенафонтыч, тут был, я бы не тревожил тебя.

И они долго советовались о том, что должен сказать Никита.

А когда Никите предоставили слово и когда угомонились аплодисменты, он раскрыл рот и так же, как Костя Каблев, первые секунды ничего сказать не мог: слова куда-то вылетели, в глазах появился туман, дух сперло, и он долго хлопал губами, затем тяжело вздохнул:

– Пахать легче. – А пока люди смеялись, он хотел было начать с того, с чего начинали почти все, – с приветствия вождям, но тут же одернул себя: «Ты, старый дурак, чужую песенку не запевай. Свою давай», – и начал по-своему: – Что есть социализм? – начал он и поднял руку. – Социализм – это мы с вами. Если нашу Ра-сею наперед взять, какая она была, то мы можем сказать одно – там все принадлежало барьям, а нам с вами горе-беда. А теперь мы с вами вот этими руками, – он высунул вперед обе руки, и потряс ими, – что наделали? Мы мечту людскую в факт превратили.



*Сталин:* – Верно.

*Никита:* – Правда, нет ли, но мне сказывали, когда я на Днепре был... – Никита улыбнулся. – На Днепр плавал, в Сухум плавал. А зачем? Страну искал. Мура-вию. Где, стало быть, нет коллективизации. Видите, как клоп от порошка бегал. Да-а. – Он опять повременил. Когда смолк хохот в зале, продолжал: – Вот мне и сказали, что плотину на Днепре люди думали еще при Екатерине, великой... блуднице, поставить. С той поры одних бумаг накопилось девятьсот пудов. А вот они пришли, – Никита показал на президиум, – и построили... и мечту в факт превратили, – Зал тут не вытерпел, грохнул аплодисментами, а Никита продолжал, уже довольный своей речью: – Али вот племяш мой, Кирилл Сенафонтыч Ждаркин, – что наделал в урочище «Чертов угол»? Заводы такие отгрохал – ахнешь. Или те же колхозы. Ученые раньше, как мне вчера сказывал Саня... милиционер – тут против нас на посту он стоит – ученые, слышь, говорили: колхозы – это утопизм какой-то, дескать...

Но тут Никите говорить не дали: зал взорвался хохотом. Одни смеялись, поняв «утопизм» по-своему: как «утопиться», другие – удивленные тем, что Никита произнес такое слово.

– Да, утопизм, – не смущаясь, продолжал Никита. – Дескать, люди сразу из грязи в рай хотят мырнуть. А мы вот мырнули и, гляди, где вымырнули. Я вот с своими ребятами дал на полях урожай пшеницы сам-сорок. Сам-сорок, это подсчитай-ка, центнеров пятьдесят. Вот вам и утопизм, дуй вас горой!

Что такое? Сталин поднялся и громко захлопал в ладоши. И люди – семь тысяч человек, – поняв Сталина, зааплодировали Никите, бурно приветствуя его криками.

А с Никиты уже лил пот. Он присел на стул рядом со Стешей и тяжело задышал. А когда узнал, что скоро и ей выступить, шепнул на ухо:

– Ты только не робей. Как вот я. Говори – и все.

– А чего ж у тебя рубашка мокрая?

– Узопрел малость. Эх, тебе бы надо с Саней поговорить. С милиционером. Вот башка-парень. Весь земной шар знает. Где чего в мире делается – все знает.

– Ты м «е не мешай, Никита. Думаю я, – попросила Стеша, и глаза у нее стали стеклянные.

### 3

Прыжок с обрыва в реку как-то «омыл душу» Кирилла: ему было и стыдно за такой поступок, и в то же время ему казалось, что это была единственная мера, чтобы «вылечить душу». Когда перед ним вставал какой-либо крупный политический вопрос, он, если не в силах был разрешить его один, обращался к Богданову, к коллективу коммунистов или, наконец, к Сталину. Но вопросы «душевного порядка», как называл Кирилл все свои интимные переживания, он

никому открыть не мог, тем более что в те времена вопросы такого порядка многим казались пустяковыми, присущими переживаниям только «мякотелой интеллигенции». И Кирилл эти вопросы носил в себе как тайну, переваливая ими скрыто, как позорнейшей болезнью, и это мучило его. Значит, выход один – с обрыва в реку... И вот ныне «душа посвежела». И он снова с головой ушел в работу.

Одна черта, давно заложенная в Кирилле, теперь с каждым днем все сильнее развивалась – он не мог останавливаться на достигнутом, не мог почивать на лаврах и наращивать жирок; он всегда искал того, что еще не сделано, но что надо обязательно сделать, сделать так, чтоб еще на какой-то уровень поднять людей, которыми он руководит.

И тут – после пикника – он решил прибрать к рукам «всех этих теть». Он подумал и создал общество, назвав его «Обществом жен ответственных работников», поставив во главе этого общества Стефу, а в помощники ей дав Феню, предполагая, что Феня и поведет все дело.

Подобную организацию некоторые, особенно мужья, встретили со скрытым упреком по адресу Кирилла. Но протестовать громко никто не решался, ибо за эти годы, особенно после дела Подволоцкого и Жаркова, Кирилл приобрел большой авторитет на заводе, и многие шли за Кириллом просто с полной уверенностью, что то, что предлагает Кирилл, – хорошо. Женщины подобрали себе бригады, отправились в рабочие поселки и занялись там культурным обслуживанием – устройством детских яслей, детских домов, кружков самодеятельности, и этим самым подняли на ноги жен рабочих. Кирилл получил письмо, в котором его благодарили за то, что он «подумал о тех женщинах, которые совершенно оторвались от общественной жизни». «Многие из нас – жен ответственных работников – замкнулись в семейном кругу, и дела наши контролируем только мы сами, а не общество. И это в свою очередь толкнуло многих из нас в хаос сплетен, пересудов, в обывательское болото. Вы думаете, среди нас нет таких, кто когда-то был в первых рядах борцов за рабочее дело? Есть и такие. Я вот, например, несколько лет работала в политотделе армии, ходила вместе с красноармейцами на Деникина... и вдруг я занялась только кухней, только тряпками, только фокстротами. Я теперь с ужасом вспоминаю, что мои интересы укладывались только в то, как бы мне не потолстеть, как бы мне не прозевать новые фасоны платьев. А теперь я снова окунулась в общественную работу. Вы понимаете, я снова стала считать себя человеком», – так писала Кириллу жена одного ответственного работника.

Читая это письмо, Кирилл понял всю глубину своей вины. Он понял, что вина его перед Стешей заключается не только в том, что он «изменил» ей, и даже не в том отвратительном поступке, который он совершил накануне ухода Стеши, а в гораздо большем – в том, что он, замкнув ее в кругу кухонных дел, превратил ее в такую же самую «тетю», каких он видел на пикнике.

И когда он все это понял, ему вдруг стало легче и показалось даже, что теперь Стеша к нему непременно вернется. Вернется, когда он сам скажет ей о своей вине, а сказать об этой вине ему вовсе не трудно, ибо он наряду со всем понял и

то, что вина кроется не только в нем, что вина эта – вина не только личного порядка, но и общественного: что она кроется и в пережитках прошлого, в наследии прошлого. И тут Кирилл развил целую теорию. Он обложился книгами по вопросам семьи и брака. Он перечитал соответствующие места у Маркса, Энгельса, Ленина. Он взял работы крупных ученых по изучению быта первобытных народов, и временами ему казалось, что в вопросах семьи, в вопросах отношений к женщине, в особенности в вопросах отношения к «своей жене», культурные мужья стоят гораздо ниже первобытных людей, и дикарями-то можно назвать именно их, «культурных» мужей.

Да, теперь, как только он встретит Стешу, непременно скажет ей все. И, придя к такой мысли, он облегченно вздохнул и с большим волнением стал следить за газетами, будучи уверен в том, что Стеша на совещании непременно выступит.

Сегодня вечером он в хронике прочитал, что «предпоследней на совещании знатных людей страны выступила трактористка колхоза «Бруски» – тов. Огнева Степанида Степановна. Присутствующие устроили ей бурную овацию. После тон. Огневой выступил Сергей Петрович Сивашев. Он говорил о новой героике и о работе тов. Огневой. В завтрашнем номере речи тов. Огневой и тов. Сивашева будут опубликованы полностью».

Это была страшная ночь, как потом вспоминал о ней Кирилл.

Радовался ли Кирилл выступлению Стеши? Да. Он даже воскликнул: «Вот мы какие!» Но тут у него закралась гаденькая мысль. Ему показалось: все, что делает Стеша, делает лишь для того, чтобы «насолить» ему. И эту мысль, которую он сам именно так и назвал – «гаденькой», он никак отогнать от себя не мог, и Стеша было снова упала куда-то вниз, превратилась в простую «обывательскую бабу», в ту самую бабу, которая «полезет к черту на рога, лишь бы доказать, что она права».

«Но ты же идиот... ты же обозленный муж, – ругал себя Кирилл. – Ты подумай... Вот теперь она вырвалась, взвилась. Да она же святая женщина...» – и, найдя это слово, вкладывая в него самое чистое, такое, к чему прикоснуться грязными руками – все равно что ударить по лицу ребенка, он стал то и дело повторять это слово. А Стеша снова выросла, «взвилась», стала притягательной, такой, к которой хотелось сейчас же, бросив все, кинуться, бежать и, если надо, пасть перед ней на колени и просить ее, чтоб не оттолкнула, чтоб не отвернулась.

В одиннадцать ночи ему из Москвы позвонил Сивашев:

– Вчера выступала Стеша, – сказал он. – Здорово. Я ждал, что она хорошо выступит, но не ждал, что так сердечно... Твою беду я знаю. Что ж, бывает... Ну, как-нибудь излечим и твою беду.

Кирилл вбежал в мастерскую к Арнольдову и рассказал ему, что звонил Сивашев, говорил, как выступала Стеша и какое хорошее впечатление осталось у всех от ее выступления.

– Да, Стеша... она изумительная... нет, не то, не изумительная. Она какая-то особенная, – проговорил Арнольдов и быстро закрыл картину. Он это делал всегда, как только Кирилл появлялся в его мастерской. – Я, если бы... –

продолжал он и чуть было не сказал: «Если бы я надеялся, позвал бы ее с собой», но сказал другое: – Я, если бы мог, непременно поехал бы и посмотрел на нее там. И на Никиту Гурьянова, на Епиху Чанцева. Мне сообщили, что Епиху увезли туда же. На аэроплане.

Они долго говорили о Никите Гурьянове, об Епихе Чанцеве, о Митьке Спирине, и оба, больше всего желая говорить о Стеше, даже не упоминали ее имени. Иногда Кириллу хотелось спросить, как в то утро они очутились – Арнольдов и Стеша – на той возвышенности около «Брусков», а Арнольдов все время порывался спросить, почему такие «чужие» отношения у Стеши и Кирилла. Но они так ничего и не сказали. Кирилл отправился в горком, а Арнольдов снова принялся за работу над картиной «Мать». Он последние дни почти не выходил из мастерской и как-то все торопился.

Кирилл ходил из угла в угол по своему кабинету и подсчитывал: газеты придут завтра только к вечеру – это если почту пришлют на аэроплане. Но если аэроплан почему-либо задержится, газеты будут на заводе только на третий день. Значит, жди целых три мучительных дня. А Кирилл чувствовал, что в своей речи Стеша как-то коснется и их отношений. Ведь не напрасно Сивашев намекнул на «беду». Откуда он знает? Очевидно, из речи Стеши, – и это радовало и пугало Кирилла. Радовало потому, что он ждал: Стеша за это время поняла, что в их разрыве виноват вовсе не Кирилл, разрыв этот не единичное явление, он характерен для многих семей, о нем надо судить совсем по-другому, совсем не так, как судили до этого Стеша и Кирилл. И если она это поняла, значит – хорошо. Но Кирилл и боялся, потому что гаденькая мысль снова овладела им, и ему казалось, что Стеша, не упоминая его имени, скажет в своей речи что-то плохое, оскорбительное, и тогда ни о каком примирении думать нельзя, тогда, значит, конец всему.

Но зачем ждать день, три дня, коль до краевого города всего двести сорок километров. Это – если сесть на машину, то туда и обратно – восемь часов. Долго. А вот. Ведь у Кирилла в запасе имеется маленький, открытый двухместный аэроплан. Он на нем уже не раз летал в горы на разведки. На этом аэроплане до города два часа. Кирилл позвонил, вызвал летчика и сказал:

– Быстро в город. Сейчас же. А-а-а. Ну, позвоните на аэродром, чтобы нас приняли. Неблагоприятная погода? Черт с ней, как-нибудь выберемся! Мы с вами не то видали... Я? Я не боюсь.

#### 4

Через полчаса они покинули завод и вступили в сплошную, непроницаемую тьму. Кирилл видел перед собой только черное пятно – голову летчика, да иногда на земле мелькали прожекторы автомобилей, и казались они очень маленькими, как вспышки спичек. Гудел мотор, свистел ветер. Из-за гула мотора и свиста ветра Кирилл не мог говорить с летчиком. А ему хотелось говорить, чтобы не тянулось так томительно время. Ему хотелось говорить с летчиком о Павле

Якунине, который со своими товарищами уже закончил героический беспосадочный перелет через леса, знойные степи, жаркие пустыни, через горы, через суровый север. На днях была опубликована радиограмма:

«Мы сегодня убедились в коварстве Арктики, какие трудности она несет. Неуклонно выполняется задание партии: идем навстречу трудностям и не уклоняемся от них».

Странно было видеть в этот день Феню. Глаза у нее ввалились и тревожно смотрели из глубины темно-синих ям. Они смотрели в одну точку – куда-то вдаль, и, войдя, в кабинет Кирилла, она опустилась в кресло и тихо произнесла:

– Кирилл. Я больше не могу... у меня нет сил... поддержки.

– А что? Что такое? – Кирилл подошел к ней, приподнял голову и посмотрел в глаза, и в эту секунду у него мелькнула одна мысль: Феня пришла к нему, пришла такой же, как и там в пещере.

– Льдом покрылись, – сказала она еще тише, глядя Кириллу в глаза.

– Кто? – спросил Кирилл и догадался, что Феня пришла к нему вовсе не за тем, за чем он думал. – Кто?

– Павел.

– А-а-а! Да чего ты выдумываешь, – краснея за свою мысль, запротестовал он. – Ведь только сегодня опубликовано, что они бодры, здоровы, смело выполняют наказ партии. – Он говорил и не слышал своих слов, ибо ему было совсем не по себе от первой мысли.

– Да. Но мы с Павлом договорились. Он мне обещал сообщать всю правду. Вот.

Феня протянула Кириллу радиограмму с непонятными словами: «Кучум словом низко» и т. д. И тут же под этими словами дрожащей рукой был сделан перевод: «Падаем. Мы во льду, как в мешке. Самолет отяжелел. Впереди пурга и Ледовитое море. Иногда хочется сделать посадку... Лишь бы на землю. Но мы летим... до последнего вздоха. Если вырвемся – это будет не просто геройство, это будет сверхчеловеческое усилие. Ты береги в себе то, что в тебе есть. Павел».

– Да, вот оно что... вся холостяцкая теория вылетела, – проговорил Кирилл, вглядываясь во тьму и ничего не видя. «И какая она стала красивая. Арнольдов прав – ее разбудил Павел... и она... в ней все сомкнулось, объединилось. Когда в человеке все сомкнуто, соединено, – нет раздора – он красивый... Экую галиматью порю», – одернул он себя.

Небесный шквал рванул, подкинул самолет, и Кирилл почувствовал, что они падают на крыло, падают с бешеной скоростью, со свистом, как чугунная плита.

– Эге, – вырвалось у него, и ему захотелось петь, и он, крепко вцепившись руками в борта открытого самолета, запел громко, напрягая горло, не слыша своего голоса. Затем смолк и пробормотал: – Так можно и шлепнуться.

Но самолет в эти минуты выправился и пошел вверх. Кирилл этого не видел, но чувствовал это по тому, как ветер бил его в лицо – наискось, прижимая к сиденью.

И вот хлынул дождь. Где-то совсем поблизости в крошечной тьме разорвались ядра. Блеск молнии осветил самолет, и Кирилл увидел лицо летчика, повернутое к нему, и губы – они что-то кричали.

– Что-о-о?

– Во-о-о, – только и услышал он в ответ.

И это непонятное «вооо» перепугало его.

– Что-что? – снова закричал он.

– В ад попали, – вдруг донеслось до него, и опять самолет загудел, рванулся в сторону, нырнул в черную бездну, и снова разорвались ядра, и при блеске молнии Кирилл увидел сплошные потоки дождя.

«Водяная стена», – подумал он и хотел было крикнуть летчику, чтобы тот немедленно приземлился, но тут же догадался, что в такую тьму сесть на земле, в поле, невозможно и поэтому надо лететь дальше, лететь, пока они не пробьются сквозь тучу.

– Экая перепалка, – проговорил он, когда небесный шквал еще раз промчался над ними и машина, накренась, стремглав, падая на крыло, понеслась вниз.

И все-таки они пробились...

Кирилл, весь мокрый, выскочил из кабины и, кинув летчику: «Готовьтесь в обратный путь», – побежал в аэровокзал.

На вокзале еще никого не было. Работала только кассирша, и та клевала носом, борясь со сном. Но около нее лежала «Правда»: тот самый номер, в котором, по предположению Кирилла, должна была быть напечатана речь Стеша. Расспрашивая кассиршу о движении аэропланов, он попросил у нее газету – посмотреть – и, сунув газету в карман, побежал вон, слыша, как кассирша кричит вдогонку, что это – не ее, а дирекции.

– Ну, вы там разберетесь, – буркнул Кирилл и вмахнул в кабину. – Пошли назад, – приказал он летчику.

– Ну, ну, – летчик покачал головой. – Если бы не вы, я не полетел бы в такую погоду. Мы были на волоске от смерти.

– На то и летчики. Они всегда на волоске от смерти. Вон – Павел Якунин. Еле удержался. А теперь герой Союза. Ему обязательно дадут «Героя Советского Союза». Вот увидите.

И они взвились.

На востоке огромной длинной полосой занималась заря.

Кирилл знал, в этот час начинается перелет уток. Именно вот в этот, когда с

востока идет свет, а на западе еще сплошная тьма. И у него опять мелькнула та же, за последнее время навязчивая мысль: «Постоять бы на болоте, пострелять бы», – но он тут же об этом забыл и выхватил из кармана газету. Были еще густые сумерки, но Кирилл разобрал портрет Стешы. Вон она стоит на трибуне, рука вскинута, рот полуоткрыт, а глаза опущены. Какая она? Кирилл стал всматриваться, но ничего больше разобрать не смог. Но вот летчик, огибая горы, взял курс на запад – в серую мглу, с востока ударил свет, и Кирилл увидел – у Стешы глаза не опущены, а прикрыты, и даже тут, на газетной бумаге, длинные ресницы – как бархатные стежки.

И вот Кирилл уже читает всю речь. Речь проста, без выкриков, без витиеватостей. Да, да, Стеша говорит о судьбах женщин. Она приводит только что сказанные ей слова Сталина и добавляет к ним:

«Наше женское сердце заполнено чувствами, и одно из основных чувств – это любовь. Любовь к детям, к человеку, к мужу. Эта любовь огромна. Она движет миром. Но среди этих чувств у нас есть одно чувство, и оно часто вредит нам – это чувство жалости. Мы часто по-человечески жалеем того, с кем связывается наша судьба, – мужа... и этим вредим не только себе, но и ему, но и обществу».

Кирилл сунул газету в низ кабины и услышал, как у него бьется сердце.

«Да, все ясно, – сказал он себе. – Вот сейчас она скажет о том, как она жалела меня и как это плохо»... – Он некоторое время сидел молча, бездвижно, ничего не видя, и снова принялся читать.

«Я обращаюсь ко всем женщинам, – говорит Стеша. – Конечно, жена должна быть матерью, быть тем человеком, который должен создавать и семейный уют. Но ведь для этого вовсе не надо уходить от общественной работы. Для этого надо сочетать семейные дела с делами общественными и работать в обществе наравне с мужчинами. Нам, советским женщинам, такие права даны, а женщины других стран о таких правах только еще мечтают».

«Как она выросла», – подумал Кирилл и облегченно вздохнул, ибо упрек, брошенный в этих словах и ему, Кириллу, был не настолько сильным ударом, чтобы сбить его с ног, наоборот, в этих словах Кирилл увидел настоящую Стешу, ту Стешу, которая много поняла за это время. И он оторвался от газеты и посмотрел кругом.

Солнце выкатилось из-за гор. Оно скрывалось в перистых облаках, похожих на сетку, и сверху кидало на землю свои трепетные лучи. Лучи походили на длинные ресницы, и казалось – солнце, чего-то смущаясь, прикрыло глаза.

«Как у Стешки... ресницы», – подумал Кирилл и, не отрываясь, смотрел на солнце, на горы, на поля.

Спустя некоторое время он стоял на пороге своей квартиры, а навстречу ему бежала Аннушка. Размахивая газетой, она кричала:

– Мама! Мама! Говорила! Со Сталиным!

– Откуда ты достала... эту? – Кирилл показал на газету и хотел было подхватить Аннушку и покружиться с вей по комнате.

– Богданов принес. Он приехал.

– Да ну? Где ж он?

И Кирилл стремглав кинулся в кабинет.

Богданов, расхаживая из угла в угол, пел абхазские песни. Песни без слов, заунывные, протяжные. Он пел их, закинув голову, широко открыв рот, крепко жмурясь, и голос его клокотал, срывался на высоких нотах, неожиданно переходил на грубый бас, на хрипоту. Но Богданов пел – и это свидетельствовало о том, что он здоров, бодр и весел.

– А-а-а, – оборвав пение, проговорил он и пошел навстречу Кириллу. – Давай поцелуемся. Мы ж с тобой никогда не целовались. – И они, крепко обнявшись, поцеловались три раза.

Богданов похудел, стал легче на ногу, в глазах пропала усталость, которая всегда пугала Кирилла.

– Да ты выглядишь прямо-таки как комсомолец. – И Кирилл снова обнял Богданова.

– Га! – выкрикнул Богданов. – Восемьсот километров – не вру – прошел пешком. Я хоть и охотник, но никогда не вру. Как тогда выехал с завода, на сороковом километре машину отпустил и пошел и пошел... Я, брат, на Урале был. Все горы излазил. Вот где красота! И кой черт наши люди всё на юг таскаются? На Урал надо ездить. Эво, какой я стал. – Богданов ощупал себя и посмотрел на Кирилла. – А ты?... О-о-о, ты малость осунулся. Что? А-а-а! – догадался он. – Эдак вот. Ну и речь же она закатила. Вот одно местечко, ого, какое! – он выхватил из кармана «Правду» и, став в позу, прочитал громко, с расстановкой, стараясь подражать Стеше: «Товарищи! Наша женская бригада...» Заметь, Кирилл, она нигде не говорит: «моя бригада», а говорит: «наша»... Так вот слушай: «Наша женская бригада первая в Союзе пустила тракторы на третью скорость. Давайте и жить на третьей скорости». Ага, видал, Кирилл Сенафонтыч? Молодец, молодец. Утерла она тебе нос. Что? Кусай теперь локоть.

– Да я вовсе не кусаю. Зачем кусать?

– Вижу. – Богданов захохотал и, как всегда при этом, закинул голову. – Наши труды. Мои. Я ее выучил. Ты не знаешь, а я ей потихоньку, когда она возилась на кухне, потихоньку, нет-нег да и подвалю: «Стеша, мол, предметы – особо домашние – знаешь, какую власть имеют над человеком?» Да при этом возьму да и расскажу какую-нибудь выдуманную историю о моей знакомой. Была, мол, хорошая женщина. Работала. Все на нее глядели. И она горда. А потом – вот свой угол, то да се. Про Наташу, мол, Ростову у Толстого читала? У нас, мол, Наташи-то должны быть с другим концом. А? Что? – вдруг закричал он и ткнул кулаком в живот Кирилла. – Вот и утекла от тебя Стешка. А? Что? Досадно! А мне не досадно! Я радуюсь. Экую фигуру выдвинули на совещание. Да она там, на совещании, – я следил за ней, – украшала Москву, страну нашу. Я думаю, ее там полюбили. И я тебя. И завод – дело моих рук. Я, брат, начинаю подсчитывать, что на земле сделал.



– Ну, это еще рановато.

– А потом будет поздновато. Вот я и подсчитываю, чего на земле Богданыч настряпал.

Кирилла раздражало, как мысленно произнес он: «Хвастовство Богданова», и, желая «обрезать его», он сказал:

– Ты уж очень уверен. А помнишь, как нападал на черный пар, а я его все-таки на «Брусках» вводил. Ты это видел и молчал. Практика-то побила твою теорию.

Богданов вскинул на него глаза.

– Человек заболел, например, ангиной. Ему дают порошки. Что ж, протестовать против этого?

– К чему это – пар и порошки.

– Мужик землю загадил. Она вся, грубо говоря, во вшах-паразитах: полынь, овсюг, пырей, куколь, осот... и черт его знает какой еще сорняк не ужился на нашей земле. Пар в первую очередь уничтожает сорняки. Разве против этого можно протестовать.

– Виляешь.

– А зачем вилять? Когда будут уничтожены сорняки, а их воспитывает мелкая пахота, когда в земледелие будет полностью внедрена агрономия, – тогда станет бессмысленно держать черный пар.

– Не убедил, – резко возразил Кирилл. – Ты все напирал на «когда-то», а сейчас государству и колхозникам нужен хлеб и мясо.

– Без «когда-то» жить бессмысленно, товарищ «дилектор». Ты помнишь, я в академии, в присутствии Вильямса делал доклад о комбинате. Это было в расчете на «когда-то». Такого комбината пока в жизни нет, но он заложен.

– Где это? В твоём докладе? – снова, настойчиво желая сбить Богданова, произнес Кирилл.

– Ты, дядя, еще чудо-мужик: дальше своего огорода ничего не видишь и видеть не хочешь, – тоже резко, даже гневно проговорил Богданов. – Проанализируй хотя бы состояние своего огорода: вот мы построили два завода в глухом урочище, строим третий. Строительством и коллективизацией мы подняли на движение не только крестьян нашей области, но и соседних областей. Так ведь?

– Так, – ответил Кирилл, уже понимая, что Богданов сейчас нанесет ему ответный удар.

– Значит, крестьянин двинулся в промышленность, в город: деревня, вернее колхозы, дают промышленности – городу рабочую силу, хлеб, мясо, обувь, лес и так далее. Но ведь и промышленность – город не сидит сложа руки, как богдыхан. Промышленность – город двинули в деревню высшую технику: трактора, комбайны, молотилки, сеялки, веялки. А придет время – даст в изобилии электричество. Ведь это уже заложен тот самый комбинат, о котором я тогда

говорил в академии, другими словами мы основательно приступили к ликвидации разницы между городом и деревней, то есть строим социализм. А ты как думаешь?

– Думаю... думаю, – в замешательстве проговорил Кирилл.

– Так вот думай дальше, что творится за чертой «твоего огорода». Такие же и даже мощнее, как наш, индустриальные центры созданы, создаются на Урале, в Сибири, да и по всей стране. Что молчишь? Это ведь только врагам или бестолковым кажется, что у нас и промышленность и сельское хозяйство развиваются независимо друг от друга.

– Молчу, потому что побежден.

– Э! Чтобы тебя и подобных тебе колхозников победить, партии придется еще много поработать. Но... поработаем... вместе же с тобой и вами.

– А я тут без тебя станки велел белой краской выкрасить, – произнес Кирилл, лишь бы что-нибудь сказать.

– Видел. Хорошо. К чистоте приучает это. А кто это у тебя там рисует? Мастер большой. Да-а. Вот оно как. Я по пути забрел в Свердловск к своим давнишним знакомым. Ворон у них живет. Ручной. Сто двадцать лет. Три поколения пережил. И сила, понимаешь. Вот какая сила: подойдет к бемскому стеклу, клюнет и – вдребезги.

Вот сила...

И Кириллу показалось, Богданов говорит:

– Вот какой-то ворон, черт его возьми, живет сто двадцать лет, а я, Богданов, прожил всего только шестьдесят с гаком и уже сдаю.

– Ну, завтракай, и пойдём на завод. Я дорогой еще кое-что придумал.

– А может, на озеро съездим? – предложил Кирилл.

– И то дело и то. А Павел? Якунин Павел – вот герой.

– Да. Но тут без него Феня совсем было окочурилась.

Богданов сник и тихо спросил:

– А что?

– Да так себе... – Кирилл хотел замять разговор, ругая себя за то, что забыл про историю в горах.

И принужден был все рассказать Богданову.

## 5

Совещание знатных людей страны закончилось большим торжеством в Кремле. При этом всех участников совещания правительство наградило орденами, в том числе Никиту Гурьянова, Стешу, Епиху Чанцева и даже Захара Катаева и

Нюрку Звенкину, хотя последние на совещании и не присутствовали.

Такой награды Никита не ожидал. Он был уверен в одном: ему дадут «благодарственную грамоту» и признают за ним звание «мастера-земли». Верно, иногда – дома еще – он мечтал получить и орден, но эта мечта была слишком призрачна. И, получая из рук Михаила Ивановича орден Ленина, Никита глухо произнес:

– Какая жизнь была раньше, тебе, Михаил Иванович, все известно: по колению в слезах ходили. Ну, теперь другое... и это, подарок такой правительства, я понесу туда – ребятам. Скажу: работай. Нонче за работу большой почет дают. – Дальше говорить он не смог, у него что-то булькнуло в горле, глаза затуманились, и он махнул рукой. И все поняли его, все, кто тут получал орден: все поняли, что Никита не просто получает орден, что рукой он махнул не случайно, что он махнул на все то, что было, что прошло, чего не вернешь – да и возвращать не надо.

В этот же день ждали Павла Якунина и его друзей. Они по приказу из Москвы приземлились в Архангельске, не долетев до столицы. Перед посадкой Павел дал такую радиограмму:

«Летим. Но самолет покрылся льдом».

И нарком ответил:

«Ваша жизнь дороже любого рекорда. Прекратите полет, – и еще добавил: – Страна рукоплещет вам – героям».

А сегодня в пять часов вечера они должны быть в Москве.

Москва уже с утра бушевала. Еще накануне она разукрасилась красными флагами, еще накануне по всем улицам гремела музыка, распевались песни в честь поднебесных героев, и сегодня к пяти часам вся Москва была на нотах. Люди толпились на улицах, на перекрестках, на площадях, на крышах домов, и все смотрели в одну сторону – туда, откуда должна вынырнуть голубая машина. Делегаты совещания, члены правительства, ученые, писатели, художники поджидали летчиков на аэродроме... Павел в это время вел машину на леса Подмосковья.

Павел вел машину и что-то насвистывал. К нему подошел его друг борт-механик и протянул бумагу.

«Товарищу Сталину.

Летим в столицу. Наша жизнь безраздельно принадлежит родине», – прочитал Павел и подписал.

«Да, моя жизнь принадлежит родине, – подумал он. – Но еще и Фене... Ах, если бы она меня встретила!» – И написал на блокноте: «Ваня. Попроси, чтобы разрешили пройти над Москвой. Нельзя теперь не посмотреть Москву».

Вскоре они получили ответ:

«Разрешается пройти над Москвой по вашему усмотрению, но чтобы к пяти часам быть на аэродроме».

«Почему нас так гонят? Обязательно к пяти. Может быть... может быть... Ой, нет!» – И Павел сам перепугался своего предположения.

И вот Москва...

– До-ома! – кричит Павел. – Переодеваться! – И он показывает, что надо делать, так как от гула моторов голоса его не слышно.

Москва. Вот она! Но какая она маленькая отсюда! Она похожа на макет огромного города. Такой живой. Вон внизу движутся машины, ползут неповоротливые троллейбусы, а люди – крошечные, точно комарики... но в каждой этой крошке бьется настоящее сердце, каждая эта крошка ждет, когда на горизонте появится голубая машина. Ага, увидели. Машут фуражками, бьются кисти рук, точно рыбки.

Машина плавно идет над столицей, над Красной площадью, огибает Кремль, а за ней, как стая ласточек за коршуном, несутся мелкие, юркие, изворотливые истребители, гудят бомбовозы. Их так много, что небо потемнело. И сыплются листовки – миллионы листовок летят с аэропланов, с крыш домов... И у Павла впервые за время полета дрогнули руки.

«Спокойствие, спокойствие», – говорит он себе и уверенно ведет машину.

И вот аэродром. Тот самый, с которого несколько дней тому назад поднималась голубая машина с еще не известными летчиками. Теперь она так же плавно пошла на низ и легко, как иногда садятся ястреба, села на землю. И из сотен глоток вырвалось приветствие. А неподалеку от голубой машины остановились плотные длинные автомобили. Вот из автомобиля вышел человек в серой шинели. Павел увидел человека в серой шинели, не дожидаясь, пока подставят лесенку, сел на крыло самолета и соскользнул на землю. Он не пошел, а побежал к человеку в серой шинели, а тот, окруженный людьми, крупно шагал навстречу ему.

– Товарищ Серго! – начал Павел. – Ваше задание... – он хотел отрапортовать, но Серго Орджоникидзе, улыбнувшись, широко развел руки, крепко обнял Павла и расцеловал. Затем он так же расцеловал и товарищей Павла. А когда Павел хотел рассказать ему о полете, Серго Орджоникидзе сказал:

– Не надо. Вы устали. Попозже увидимся. Теперь отдыхайте, – затем сел в автомобиль, и автомобиль вихрем унес его с аэродрома.

Через несколько секунд к Павлу подошла Феня. Она несла в руках большой букет цветов. Но цветы Павлу она забыла передать. Она смотрела ему в глаза, и губы у нее дрожали мелко-мелко, точно она вся перезябла.

– Фенька! Что ты? – шепнул он ей и обнял ее, при всех поцеловал и опять шепнул: – Я и там думал о тебе.

– Ну вот, мне больше ничего и не надо, – тихо проговорила она. – Ах да, я цветы тебе принесла.

– Сама таскай, – превратившись снова в задорного комсомольца, чуть не крикнул Павел. – А я пошел по рукам. Ты меня не теряй.

Павла окружили – оттерли от Фени, завертели в кругу друзей, поклонников и поклонниц.

...Москва еще ликовала. Гремели оркестры, распевались песни в честь поднебесных героев, поэты читали стихи, с трибун произносили страстные речи ораторы. Павел Якунин на какую-то секунду вспомнил Наташу, девушку с растрепанными волосами, и тот вечер, когда они сидели в молодом парке под радиотрубой и по радиотрубе хлестала вода.

«Как жаль, что тебя нет», – с тоской подумал он, и лицо у него потемнело.

– Ты что? – спросила Феня.

– Я? – У Павла глаза были ясные, а лицо снова озарилось. – Я вспомнил Наташу. Я ей говорил однажды, что люблю летать. – И тут же спохватился, подумал: «Зачем же я обижаю Феню?»

– Да. Она бы порадовалась твоему успеху не меньше, чем я, – отчеканила Феня и даже притопнула по-девичьи ногой. – Но я тебя крепче люблю. Она так тебя не любила. Что?... – и залилась смехом – веселым, жизнерадостным, таким смехом, который и стариков молодит.

## 6

Страна ликовала.

Ярко-кумачные флаги бились на железнодорожных станциях, над домнами, над аэродромами. Чистились мелкие, запыленные, запущенные города, деревеньки, наряжались столицы республик.

Страна встречала едущих с совещания орденосцев – знатных людей. Но страна еще готовилась и к своему великому празднику: она жила накануне двадцатилетия, выходила из юношеского возраста, и к этому дню готовились все: рабочие, колхозники, пионеры, комсомольцы, коммунисты, ученые, художники.

В Широком Буераке над рекой Алаем спешно достраивали два дома – глаголем, с витиеватыми карнизами, – предназначенные Никите Гурьянову и Епихе Чанцеву.

– Это будет сюрприз, – говорил Захар Катаев. – Как только они заявятся, мы их сей же момент в новенькие горенки! Ба-а! – спохватился он. – А самонары? Новые самонары надо, – и тут же распорядился: – На машине скатать в город и привезти два новых самовара. Без самовара – дом сирота.

Около новых домов разбивали палисадник. Перетаскивали с гор липы. – Это затея Гришки Звенкина:

– Пускай перед нашими героями липы цветут, – говорил он, любясь новыми домами. И добавлял: – А Нюрку я от себя не отпущу.

Ибо не только Никите и Епихе строились дома, – они строились еще для

двенадцати человек, в том числе и для Нюрки.

– Как я ее отпущу, когда мне надо быть в центре? А сюда один ходи.

– Да ты что все о себе? – пилил его Захар. – Я вот орден должен получить, значит – скачи за ним в Москву. А я сначала дело – героев встретим, а потом за орденом поеду.

– Знаю тебя. Ты хочешь так: сначала этих героев встретить, а потом ты уедешь – тебя встречай.

– Ага, – выдал свои мечты Захар. – Чай, встретите, что ль?

– На колени всем колхозом перед тобой бухнемся, – серьезно сказала Анчурка. – То что за герои едут? Ты – первейший-то герой.

– Ну, ты... ну, ты, – отмахнулся Захар и опять куда-то побежал.

За селом на главной дороге воздвигали огромную арку. Ее увешали портретами, и Захар все беспокоился, как бы портреты Никиты Гурьянова, Епихи Чанцева, Стеши и Нюрки Звенкиной не сдуло ветром. Свой портрет он снял и обругал тех, кто повесил. Тут же у ворот были выставлены и все тракторы – семьдесят два гусеничных мастодонта, комбайны, и, как бы в насмешку над прошлым, тут же торчали соха, деревянная борона и серп.

– Какая красота! Красота какая! – перебегая из улицы в улицу, поощрял всех Захар, видя разметенные, посыпанные песком, украшенные соснами улицы. – Вот так бы сроду жить. И заживем, лук вам в нос!

Спешно достраивался и театр у парка на «Брусках». На достройку театра, как премию, Наркомзем прислал двести тысяч рублей, и деньги эти, так как театр был почти закончен, Гриша Звенкин повернул на «хаты-родильни», на дворец пионеров.

– Давайте больше нам! Деньжат нам больше давайте! – подражая Захару Катаеву, кричал он так, будто находился в Наркомземе. – Мы в дело денежку пустим.

Заканчивались грейдерные дороги. А на новых водах, образовавшихся благодаря плотине на реке Алай, засверкали подкрашенные в разные цвета лодки, баркасы, переведенные с Волги.

Убирались и поля... Последние годы обычно солому разбрасывали под снег, как попало. По примеру Никиты, теперь ее стали скирдовать. Неожиданно мастером по кладке скирдов оказался Митька Спирин, и его рвали на все стороны.

Вон он стоит на скирде с деревянными вилами в руках. Весь в пыли, блестят только глаза и зубы. Он не просто кладет скирды, а будто вытаскивает их, лепит из глины, и даже злой ветер – осенний ветер-рвун – не одолеет их; ветер треплет крепко вплетенные соломинки и вьется у подножья скирда, как растравленный пес.

– Ну и ухац. Ухац ты! – хвалит его Захар Катаев. – Молодчага, я говорю. И откуда что у тебя взялось?

– Как сундуки! Как сундуки! – подхватывает Митька. – Ежели дождик грянет, то вода, как с железки, скатится.

– Где ты научился такому мастерству? Что-то не видать было раньше.

– Человека взнудать требуется, – повторяет слова Никиты Митька, выдавая их за свои. – Взнудать и охоту в него вложить. Я вот день-то деньской погнусь, приду домой, ноги гудят, равно мне по ним палкой били... да и говорю Елене: «Ну, мол, к псу всю эту работу». А наутро гляну на скирды и скажу себе: «Эх, Митрий, красавицы у тебя скирды. Ни один человек, ежели у него голова на плечах, а не горшок из глины, не пройдет мимо, чтобы не ахнуть».

Одним словом, на селе все кипело.

Нагружались подводы. Никите Гурьянову колхоз должен выплатить девятьсот четырнадцать пудов зерновыми. Епихе Чанцеву – восемьсот девятнадцать, Стеше – так как она работала только лето – четыреста восемьдесят два пуда. Гриша Звенкин решил погрузить все это добро не на грузовики, что было бы проще, а на подводы: «чтобы видно было». Для этого потребовалось семьдесят три телеги, запряженные парами. И вот семьдесят три телега стали чуть поодаль от разукрашенной арки.

А девки гладили юбки, завивались – кто чем: кто гвоздем, разогрев его на лампе, кто проволокой. Парни начищали ботинки, сапоги, старики мазали голову постным маслом. Все было в ходу, все готовились...

Но вот Епиха Чанцев вызвал среди колхозниц целый переполох. Как же! Епиха жил одиночкой. Мать у него давно умерла, умерла и его жена.

– Как же это, а-а? – озабоченно проговорила Анчурка. – Епиха-то у нас. Чай, он не бустыл какой, – и, почесав у себя за ухом, она подмигнула колхозницам. – Вот что, бабыньки, замечала я, он глаз метил на Ельку. Ну, Ельку, бывшу жену этого... головореза... Ильи Гурьянова. И Елька часто по нем вздыхала.

И колхозницы во главе с Анчуркой направились к Ельке – птичнице из бригады Анчурки, мастерице своего дела.

– Елька, – заговорила Анчурка, одергивая на ней сарафан. – Принарядилась? Епиху, что ль, встречать?

Елька вспыхнула.

– Видали, бабыньки? Как кумач стала. Значит, в кон я попала. Ты вот что, ты наш колхоз не срами. Как же? Народ со стороны спросит: чего ж вы героя не оженили?

Елька, точно девушка, опустила глаза.

– А вы что... наказ, что ль, от него имеете? – еле слышно пролепетала она. – А то, может, он не хочет?

– Хочет, – авторитетно заявила Анчурка. – У меня на такие дела нюх есть. Ты принарядись-ка получше. Эко ты какая! И волосы у тебя хороши, да и стан... На тебе и воду возить можно, – по-своему оценила Ельку Анчурка.

Так состоялся сговор.

После обеда все колхозники стояли за околицей, на главной дороге. Впереди старики, в их числе и дед Катай. У стариков на левой руке – красная повязка с надписью: «Инспектор по качеству», на груди бронзовые бляхи. Тут же и Захар Катаев, и Гришка Звенкин, и Нюрка. А ребяташки взобрались на ветлы, глазают вдаль. И все стоят молча, будто что-то затая в себе.

– Едут! Едут! – вдруг закричали ребяташки и, как горох, посыпались с ветел.

– Час торжественный наступает, – возвестил Захар и чуточку выпятился вперед.

И вот из-за перелеска выскочила легковая машина. Она неслась с бешеной скоростью и словно ничего не замечала. Тогда Захар выбежал на дорогу, поднял руки и закричал:

– Стоп! Стоп! Дальше ходу нет!

И все смешалось. Толпа не устояла на месте. Первыми кинулись к машине ребяташки, за ними колхозники, и все закричали, закричали наперебой кто во что горазд. И Захар еле уговорил народ. Он взобрался на грузовик и раскрыл рот, чтобы произнести «теплое слово», но в это время Анчурка махнула рукой и скомандовала:

– Бабыньки! Нечего балясы точить. Давайте.

Из толпы выделилась группа колхозниц. Они вели под руки смущенную Ельку, а как только подошли к автомобилю, то низко поклонились Епихе:

– Не гневайся за самовольство, Епифан Макарьч.

– Сердце наше бабье и к тебе тоску взымело...

Епиха растерялся. Он понял все, но он этого не ждал и от радости растерялся.

Захар Катаев закричал:

– Чего вы там порядок нарушаете? Ну, что вам, каждый день, что ль, такие герои! – Но, поняв в чем дело, вдруг всплеснул руками: – Ай да бабы! Вот это сюрприз!

– А-а-а, она... она, – показал Епиха на Ельку. – Может, она... не желает?...

– Чего уж там не желает! Гляди, тает, как свечка. Принимай-ка, а ты... – И Анчурка подтолкнула к Епихе Ельку.

– За это... за это, народ... – Епиха дальше не мог говорить и хотел было привскочить в автомобиле, но ноги у него не двигались, и он только взмахнул руками.

С Никитой Гурьяновым в эти минуты произошло следующее. Он вдруг тревожно завозился и шепнул Стеше:

– Степанида Степановна. Вот беда: животом меня что-то скрутило, пес его возьми-та.

– Экий ты, Никита Семеныч.



– Что будешь делать, раз припрет. Ты это... с народом тут обойдись. Ласку ему надо. А я на один момент, – и выскочил из автомобиля.

Дело было простое. Автомобиль остановился почти рядом с гумном бригады Никиты Гурьянова. И Никита увидел: все скирды стояли, как и следовало им, аккуратно причесанные, а на одном солома таращилась, точно помело. Ее бесшабашно крутил ветер, и у Никиты защемило под ложечкой.

– Сопливый пес! – зашипел он и рванул за собой Митьку Спирина, а подбежав к скирду, уже заревел: – Чего настряпал?

– Не успел, Никита Семеныч, – стал оправдываться Митька. – Тебя встречать позвали.

– Меня встречать? Ты меня бы хорошей работой встретил. А то вот-вот Сивашев прискачет, Павел Якунин. Племяш тот же, Кирилл Сенафонтыч. Глянут и скажут: брусошники только праздновать да болтать умеют.

Они вдвоем начали оправлять скирд. Никита все время ворчал:

– Разнуздался... и то не принял во внимание: за нами ведь теперь из Кремля глядят. Вон! А ты вроде без порток по улице бежишь.

– А где мой-то? Мой-то где ж? – спохватилась Анчурка и, увидев на скирде Никиту, кинулась к нему. – Эй! Эй! Ты, непутевый! Это ты что? Рехнулся, что ль? Его народ вышел встречать, а он – глядите-ка, люди добрые!.. – и стащила Никиту со скирда.

– Ну! Ну! Ты не больно! Ты не больно шуми! – Никита, нарочито надув губы, отстранил ее от себя. – Ты не больно. Ты, детка, теперь со мной осторожно. Я ведь вот орден имею, – и в ногу с Анчуркой зашагал к народу.

Но вот ветер! Экий шалунишка! Он треплет на Никите новый серенький пиджачок, заворачивает борт и бортом прикрывает орден. Не держать же борт рукой... и Никита, рассуждая с Анчуркой, то и дело выбрасывает левую руку вперед, чуть не касаясь ею правого плеча, и вместе с рукой отбрасывает борт пиджака так, чтобы орден было видать. Но ветер рвет борт. Ветер озорует... и Никита идет к народу косо, выпятив левое плечо.

– Ты, Стешенька, сиди, сиди, – сказал он, проходя мимо машины. – Допрежь со мной справимся, потом за тебя возьмемся... Ну, народ мой, поклон принес я вам от правительства. – И Никита поклонился до земли.

В толпе колхозников поднялся гул. Он рос, как растет гул накатывающейся морской волны: толпа, очевидно, растерялась, ибо она не ждала таких слов от Никиты Гурьянова и не знала, что ему ответить. Тогда заговорил Гриша Звенкин.

– А мы за поклон твой от правительства одаряем за труды твои великие вот этим – девятьсот четырнадцать пудов зерном, окромя всего прочего. Ешь. Купайся в масле, Никита Семеныч.

– Да ну! – радостно вырвалось у Никиты, и он подошел к первой подводе, сунул руку в мешок с зерном, зачерпнул пригоршню, поднял руку, и с его ладони обратно в мешок посыпалась золотистая пшеница. Затем он так же подошел ко

второй подводе. От второй подводы он направился к третьей и проделал то же, затем тронулся к четвертой.

– Чистосердечное зерно, – наконец, проговорил он, называя так селекционное зерно.

Толпа молча следила за ним, зная уже его причуды, наконец кто-то проговорил:

– Чего-то колдует. Опять чего-то колдует Никита Семеныч.

А Никита думал свое... Вот хлеб – девятьсот с лишним пудов. Да-а. В былые времена Никита за три года не скапливал столько хлеба, а тут – за один год. А если и скапливал, то прятал хлеб под старой баней, а то и в лесу, в глухих волчьих балках. Прятал и тосковал, как бы не попрел хлеб, как бы мыши его не погрызли, как бы кто не своровал. И потому Никита тогда спал, сидя за столом. Так вот – облокотится о стол, голову на руки положит и спит. Как что – он на ногах... Не спал, боялся вора, пожара, мора, плесени, мышей. А теперь что ж? Может, снова хлеб запрятать?... Ведь девятьсот пудов с лишним... И вдруг Никита вспомнил свой разговор с Калининским и ярко представил себе, как рядом с ним сидит Сталин... И Никита тут же припомнил, в какую минуту и почему он почувствовал первый раз в жизни величие свое, понял, что он человек, а не жук навозный. И весь задрожал...

– Да чего ты колдуешь? – Анчурка дернула его за рукав. – Народ на тебя смотрит, а ты чего-то...

– Да-а, – заговорил Никита. – Эдак, эдак. Народ смотрит. А народ – он вечен. И потому, добро мое, прошу следовать за мной, – и пошел вдоль улицы, взяв под руку удивленную Анчурку Кудеярову.

– Опять чего-то колдует, – проговорил кто-то.

– Ну да... Везет хлеб к себе.

За Никитой и Анчуркой тронулись кованые железом телеги. И ржали кони, вырываясь из упряжи. И скрипели телеги под тяжестью зерна. И хрустела под колесами мелкая галька, а за подводами шествовала толпа удивленных колхозников... Даже Гришка Звенкин – уж, казалось, такой проныра – и тот ничего не понимал...

– Опять чего-то колдует дядя Никита, – сказал он.

– Ну, нет, – ответил ему кто-то. – Он те, Никита, хлеб так припрячет, сам бес потом не сыщет.

А когда шествие приблизилось к повороту на Бурдяшку, Гриша Звенкин выскочил наперед и, преграждая путь, скомандовал:

– Дядя Никита. Твой дом теперь не на Кривой улице...

– А где же?

– На Бурдяшке, ноне проспекте имени Кирилла Сенафонтыча Ждаркина, – торжественно возвестил Гриша Звенкин. – И дом тот новый.

– Опять кланяюсь народу в ноги, – молвил Никита. – Однако, хлеб мой, шагай за мной, – и снова тронулся вдоль улицы, удивляя всех. Он шел и переговаривался с Анчуркой. Люди слышали, как он тихо говорил: «Угу. Так и есть. Не сомневался в твоём сердце... Да-а», – и повернул к колхозному амбару. И тут сам уже скомандовал: – Стой! Тут стой, добро мое, – затем по лесенке вместе с Анчуркой взобрался на верх амбара, открыл было рот, хотел что-то сказать, но снова обратился к Анчурке: – Как? Непартийный большевик, говоришь? Ну, хорошо, – и повернулся к колхозникам, заговорил громко: – Так вот, земляки мои кровные... Я, как непартийный большевик... – но тут же спохватился, напустился на Анчурку. – Это как же непартийный? Чего ты голову мне морочишь, – и к толпе: – Как партийный большевик, в полном согласии с моей Анчуркой и речь держать буду. Что я есть и что был? Был – в вошь верил... Да, да, – перебил он невольный хохот в толпе. – Верил, что на живом человеке вошь и должна жить: бежит она только с мертвого... И еще в свой карман верил. Шестьдесят лет верил. И били же меня по загривку. И ползал же я на карачках... Да-а-а. А теперь? – Он посмотрел на орден, отщипнул его ногтем. – Теперь под этим вера в обратную пошла... В вас я верю. И сыпь, ребята, все в колхозный амбар – на заклад фундамента жизни моему Никитке, всем нашим Никиткам!

Ну, что же?! Ну, что же тут делать? А? Разве кто ждал от Никиты Гурьянова? Чтобы вот он грохнул такое. Кто ждал от него веры такой в народ?... И толпа шарахнулась, взревела, кинулась по лестнице, по углам амбара, а Захар Катаев вскинул руки вверх и надрывно, захлебываясь, закричал:

– Прыгай! Прыгай на руки к нам, Никита Семеныч!.. Да мы тебя за веру такую...

И отовсюду неслись такие же слова: люди ревели, люди буйствовали, люди лезли по лестнице, по углам амбара, чтобы подхватить Никиту, чтобы на руках отнести его в новенький домик на проспекте имени Кирилла Ксенофонтовича Ждаркина... А Никита тоже ревел, отбивался:

– Стешу! Степаниду Степановну! Ее черед. Уйдите! Не то сердцем плесну, как кипятком.

## 7

Она идет крутым берегом над Волгой. Легкий, синий шарф – то вьется, как пламя, над ее головой, то падает на ее загорелые, каштановые плечи. А голова у нее чуть откинута, словно волосы отяжелели, налились свинцом. Но шаг четкий, уверенный, независимый. Верно, – временами он становится вялым, спутанным, будто она норовит присесть или вернуться обратно, но тут же шаг выправляется, и она идет, не оборачиваясь, не оглядываясь.

Она идет крутым берегом над Волгой и слышит осеннее дыхание земли.

В эти дни земля дышит тихо, затаенно, созерцая плод во чреве своем, как созерцает его счастливая, беременная мать. Она дышит, чуть прикрыв глаза,

чтобы не каждый в них видел тайну матери, ибо не всякий достоин видеть ее – эту тайну тайн. А Стеша видит ее, и ей хочется ласть на землю, приоткрыть ее прищуренные глаза, прикоснуться к ним разгоряченными губами и передать ей – земле – истому свою. Она видит эту тайну и слышит тихие, успокаивающие всплески могучей реки, шуршание сухой листвы, – листва крутится по утоптаным тропочкам и ласково пробивается к подножию могучего дуба.

Она слышит, как осторожно ходят птицы по земле, как зарывается в песок ящерица и как строит себе зимнее логово колючий ежик... и ей кажется, земля прикрыла своими руками – разноцветными листьями осени – лицо свое и тихо шепчет:

– Не тревожьте меня... я зачала.

Стеша опустила, присела на старый пенёк, обняла колени руками, чувствуя, как во всем теле поднимается что-то такое сильное, непоборимое, сковывающее ее всю, и она еле удержалась, чтобы не пасть на поляну и не закричать – призывно, как иногда кричит иволга, отыскивая своего самца.

Вчера Катька вырядилась, пошла к трактористам.

Окинув взглядом Стешу, сказала:

– Эх ты! Я бы такая была, я бы всех мужиков с ума посводила. А ты? Все бережешь для кого-то. А они все такие – рябой ли, курносый ли, красавчик ли... Все, как анисовые яблоки... один больше, другой меньше, а вкус тот же.

«Бережешь?», «Да, берегу», – подумала Стеша и ушла на Волгу.

Но вот – не приехали. Ни тот, ни другой. Даже весточки не прислали.

Ах ты, Волга – матушка-река. Вон расхлестнулась ты, окуталась синей дымкой, и летят через тебя, падают на твою грудь золотистые листья клена, березок, трепетной осины... и тянутся через тебя паутины ветел... и где-то в ильменах поет рыбак свои ловецкие песни:

Волга! Волга! Весной многоводной  
Ты не так заливаешь поля,  
Как великою скорбью народной  
Переполнена наша земля...

Но нет, рыбак оборвал песню... какая там скорбь, какой там скорбью? Это же было давно... И он поет другую.

Об Арнольдове она думала все время. Ей казалось, она его любит. Любит хорошо, по-настоящему, но в то же время она никак не решалась сделать последний шаг к нему. Что-то ее удерживало, что-то пугало. Еще в Москве она собиралась писать ему, но всякий раз откладывала: не находила ни начала письма, ни обращения. А ей хотелось о своем чувстве сказать искренне, громко, в полный голос. Но и этого не могла сделать и все время задавала себе вопрос: что ж ее

привлекает в Арнольдове? Его внешность? Да, он статный, а лицо у него всегда при ней улыбочное, мягкое, голубые глаза светятся. Но разве только это? Мало ли у кого светятся глаза. Что-то другое привлекает ее в Арнольдове. Что? Она понимала, что стоит между двумя – между Кириллом и Арнольдовым. Кирилл стал с ней груб, на вопросы отвечал срывка, и это пугало ее, принижало, связывало всю. Она при Кирилле терялась, путалась в мыслях, в словах, говорила прибитым голосом, и поэтому все, что она говорила, казалось глупым. И это в свою очередь раздражало Кирилла... При Арнольдове она чувствовала себя самостоятельной, не стесненной, мысли и суждения свои высказывала уверенно и твердо: другими словами, она чувствовала себя при Арнольдове так же, как когда-то при Кирилле, будучи шофером Богданова. И все-таки Стеша никак не могла себе представить, что они – вместе с Арнольдовым, вот так же вместе, как они были вместе с Кириллом в ту ночь в лесу у потухшего костра. Она никак не могла себе представить, что вот так же, как когда-то Кирилла, позовет Арнольдова к себе – просто, откровенно, со всей страстью...

– Ну, что ж... не приехал так не приехал. Пусть! – повторяет она.

В старом парке осыпались листья. В старом парке отпотели глухие тропы. В старом парке, неподалеку от домика с башенкой, колхозники расчищают площадку для памятника Степану Огневу.

Вчера Захар Катаев сообщил, что Сергей Петрович Сивашев разослал по всем тракторным станциям, по всем райкомам письмо, в котором рекомендовал переименовать бригады, школы, улицы, дав им имена тех, кто погиб на гражданском фронте или на фронте коллективизации, а то и имена лучших людей колхоза. Захар переименовал бригады: «Бригада имени Николая Пырякина», «Бригада имени Василия Брускова (Шлёнки)», «Бригада имени Никиты Гурьянова». Переименовал и улицы. Бывшая Бурдяшка стала теперь носить название: «Проспект имени Кирилла Ксенофоновича Ждаркина». Все это вызвало бурю ликования среди колхозников, особенно среди родственников тех, чьими именами называли улицы, проспекты, бригады. Но вот кто-то подал мысль поставить памятник Степану Огневу.

– Денег прислали. Проект прислали. Мастера приехали. Из Наркомзема, – сказал Захар. – А кто выдумал? Я вот сегодня буду звонить Кириллу Сенафонтычу и узнаю.

«Ну, хорошо. Пусть узнает, – думает Стеша и идет дальше. – А я знаю, тому будет не по душе: памятник ставят моему отцу, а не ему», – с раздражением решила она, но когда вошла в избушку и просмотрела газеты, ахнула.

В газете сообщалось, что по предложению Кирилла Ждаркина на заводах начался сбор на постройку памятников. Ставились памятники: на «Брусках» – Степану Огневу, в Полдомасове – Бритову и Алешину. Памятники ставились не только в районе Алая, но и в других районах, которые тоже участвовали в стройке заводов. Это предложение встречено было с большим подъемом, и средства на постройку потекли не только от рабочих, но и от колхозников.

«Вот какой он! Он всегда перескакивает через меня. Только я отбегу вперед, а

он скакнет и – впереди меня. Всегда. И я не хочу, не хочу этого. Не хочу и не пойду к нему!»

В эту секунду она повернулась на крик.

Из-под обрыва от Волги несся Кирилл малый.

– Алай! – кричал он. – Алай! Догнать!

За Кириллом малым ковылял щенок.

Как-то на «Бруски» заехали цыгане. У цыган оценилась овчарка и сдохла. Цыгане понесли по избам щенят, предлагая их менять на молоко. Никто молока за слепых щенят не дал, и цыгане выкинули их в овраг. Там Кирилл малый и подобрал щенка и потом назвал его по имени реки «Алаем». Вскоре он отправился к Захару Катаеву, и между ними произошел такой разговор:

– Захар Вавилыч, – сказал Кирилл малый. – Здравствуй. Как у тебя дела?

– У меня дела славно идут. Кирилл Кириллыч, – ответил Захар. – Чем служить могу?

– Да-а. А скажи мне, Захар Вавилыч, есть нонче сознательные коммунисты?

– А то как же? Без сознательных коммунистов все дела бы вверх тормашками полетели.

– Ты коммунист, и сознательный?

– Ну, ясно, сознательный, – в бороде Захара зашевелилась улыбка.

– Так. Вот что у меня к тебе. – Кирилл малый вскочил на руки к Захару и зашептал: – Молока! Понимаешь? Пришел на ферму и говорю: «Давайте мне молока на армию».

– То есть как же это – на армию?

– А так. В Красной Армии овчарки нужны? Нужны. А у меня Алай. Ну, знаешь, такой еще маленький, а молока хочет... Ему молока надо теплого. Вот подоили корову, и ему – молока...

– А-а-а. Дело говоришь. – Захар позвонил на ферму, чтобы Кириллу малому отпускали парного молока. – Сколько? Это его военная тайна, – говорил он заведующему фермой.

– Чего ты так несешься? – Стеша остановила сына.

– Тебя ищем с Алаем.

– А зачем же так бежишь?

– Я же верхом. Вот не понимает, а большая. Я верхом, а Алай за мной своим ходом. Ну, вот и нашли. На! Тебе от наркома военмора депеша.

Стеша с большим волнением приняла из рук Кирилла малого телеграмму, развернула, прочла и побледнела.

– Что там? – спросил сын, насторожившись. – Читай.

Стеша прочла:

– «Прошу тебя и Кирилку приехать хотя бы на два-три дня. Через несколько дней я должен выехать в Москву. Очевидно получу назначение на Балхашстрой. Кирилл».

## 8

Или где-то вычитал Кирилл, или кто-то рассказал ему, как однажды Лев Николаевич Толстой занялся сельским хозяйством: он стал разводить племенных коров, собирать удобрение для полей – даже у местного попа вычистил уборную – и все-таки все у него валилось... и, наконец, он махнул на все рукой, сказал:

– Пускай все идет само собой... по воле божьей.

Поутру к нему пришел управляющий. Лев Николаевич в это время висел вниз головой на трапедии.

– Распоряжения какие будут, Лев Николаевич? – спросил управляющий.

– А пусть, Миколушка, все идет... бог – он знает, как и что, – ответил Лев Николаевич.

– Вот простота какая, – пошутил Кирилл, обращаясь к Богданову.

– Да-а, так вести хозяйство – шутя. На бога все свалить, а самому на трапедии и – вниз головой...

Когда Кирилл пришел на строительство, то, по выражению Богданова, «вдунул в дело душу живую». Началось с самого простого. Федунов, секретарь ячейки коксового цеха, когда рылся котлован и шли земляные работы, был незаменим, даже больше – вел работу блестяще. Но потом начали класть коксовые печи. Федунов сдал, приумолк и даже как-то вдруг поглупел. И вот однажды Кирилл заглянул на собрание коммунистов вместе с техническим персоналом. Собрание вел Федунов. Старший инженер предложил немедленно же установить сигнальные знаки на коксовых печах. Федунов подумал и с глупой убежденностью произнес:

– Знаки? Такого решения в горкоме не было.

На следующий день Кирилл перевел его на торфяной участок, и Федунов ожил, стал по-прежнему блестяще работать.

– Я землю... землю знаю, – говорил он. – Тут я сам себе хозяин, а там – кокс какой-то.

Кирилл умело расставлял людей, находил для каждого человека «свою точку».

А когда он отыскал, вернее создал, Павла Якунина, разбудив в нем творческую жилку, – Богданов совсем был покорен Кириллом, ибо якунинский метод быстро перекинулся во все отрасли строительства, а потом и во все отрасли производства. Мало этого, якунинский метод стал достоянием всего Союза.

Конечно, Богданов понимал, что это не исключительно дело рук Кирилла, ибо страна была на таком уровне, когда творческие силы пробуждались повсюду...

даже «само собой». Но все-таки если бы не Кирилл, сила эта прорвалась бы стихийно и не была бы так осмысленно направлена.

– Пристяжная хороша, – говорил Богданов, обходя завод, видя, что покрашенные станки дали свои положительные результаты, что расстановка людей на доменных печах утроила выплавку чугуна, что постройка дворца пионеров сплотила всех заводских ребят. – Надо бы нам женский вуз открыть. Специально для жен, понимаешь? – говорил Богданов. – Собрать их надо, поговорить с ними и боевых отметить... подарками... Ты смотри, Стефа как преобразилась.

– Она еще не совсем. А вот Феня – молодец. Хотя этой и преображаться нечего было. Но ловко она ведет за собой всех их.

Они шагали улицами и переулками завода. За ними двигались две легковые длинные, плотные машины – подарки наркома тяжелой промышленности в день выпуска двухсоттысячного трактора. Они шагали по заводу – шли гудронированными дорожками, мимо клумб с цветами, мимо пальмовых аллей в литейном цехе.

– Знаешь, – говорил Богданов, – у Форда в литейном работают только негры... и те падают в обморок – гарь, жара. А у нас, смотри что? Будто в тропическом саду... Да, пристяжная у меня хороша. – Он хлопнул по руке Кирилла и в эту же секунду подумал: «Он уже не пристяжная, а коренник, а я – пристяжная. Вот как изменилось все».

Было ли грустно Богданову от такого сознания? Да. На какой-то миг взгрустнулось, но тут же он все стряхнул с себя и подумал:

«Что ж, меняются времена, меняются люди. Ведь когда-то я тут лазил по болотам, когда-то, задолго до нашей революции, в тюрьме придумывал, как использовать эти богатства. И теперь – вон какое прекрасное детище мы создали».

Кирилл шагал и думал:

«Стар становится Богданыч. По-старчески восхищается всем. А мы еще очень мало сделали. – И еще думал: – Получила ли Стеша телеграмму? Приедет ли? Может быть, за ней послать Арнольдова?»

Арнольдов последние дни не выходил из мастерской. Он осунулся, и в глазах появилась какая-то грусть. Кирилл иногда пытался заглянуть в мастерскую к Арнольдову, но тот, как всегда, немедленно прикрывал картину и шел навстречу Кириллу, отводил его к окну, и они молча стояли там. Было ясно: Кирилл мешает ему, – и Кирилл перестал ходить в мастерскую. Разговаривали они только за обедом, если Кирилл обедал дома.

«Да, надо послать Арнольдова, – решил Кирилл. – Пойду, уломаю».

И после осмотра завода они вдвоем с Богдановым «уломали» Арнольдова.

Арнольдов выехал за Стешей на машине Кирилла. Кирилл весь день пробыл дома. Он ждал – они приедут утром, затем ждал к обеду, а теперь уже вечер, и их все еще нет.



«Зачем я это сделал? Послал Арнольдова? Вот теперь они опять разгуливают над Волгой, а я, как дурак, стою у окна и жду».

Аннушка тоже весь день была дома. Она вместе с Аграфеной пробовала прибрать комнаты, но из этого ровно ничего не выходило. Как они ни переставляли мебель, как ни натирали полы, как ни сметали пыль со столов, с подоконников – пыль все равно всюду оседала, стулья все равно стояли неаккуратно, полы все равно не блестели и оставались пегие. И Аннушка, написав на подоконнике: «Пыль – это предрассудок», вбежала к Кириллу и решительно объявила:

– На сто лет грязи. Сяду вот и буду ждать маму.

– Да какой грязи? И чего она нашла – грязи? – проворчала Аграфена и снова принялась тряпкой смахивать пыль с подоконников.

И вот к подъезду подкатила машина. Кирилл замер у окна. Он даже не помнит – стоял ли он, сидел ли, или, может быть, ходил по комнате и в окно видел, как у машины открылась дверца, как вышел Арнольдов и за руку вывел Стешу... Но вот что он запомнил: в этот миг Стеша посмотрела на Арнольдова, а Арнольдов посмотрел на нее таким взглядом, каким смотрят люди, знающие друг друга до конца.

– Да тут уже не переступишь, – поняв все, прошептал Кирилл.

Вот они уже все на дороге. Громче всех кричит Аннушка. Она прыгает около матери, вьется, целует ее в губы, руки... Откуда у Аннушки взялась такая нежность? Кириллу стало даже неприятно. И он подумал: как же ему встретить Стешу? Там, в его кабинете, приготовлена для нее в красивой рамке ее речь, произнесенная на совещании. Еще там лежат два платья... Там же, на столе, и цветы... Как себя держать? Что делать?

Гул голосов ворвался в квартиру.

Вот и голос Стеши.

Что может быть радостней голоса любимого человека? Вот ее голос – мягкий, бархатный, чуть-чуть гортанный. Она взволнована.

– А где же Кирилл... большой? – спрашивает она. – Ага. Там. У себя. Батюшки, – протянула она. – Да что же это у вас в квартире делается?

– А что? А что? – спросила Аграфена. – Все, как и было.

– Ну да, «все, как и было».

«Вот она чем занята», – подумал Кирилл. Он надел фуражку и хотел было удрать через черный ход, но в это время в кабинет влетел щенок, за ним Кирилл малый. Кирилл малый со всего разбегу кинулся на шею Кириллу большому, а когда сошел на пол, сказал:

– Иду в армию. Ты как?

– Да тебя еще не примут, – ответил отец.

– Примут. Вдвоем с Алаем примут.

– Ай-ай. Ну и содом. Ну и содом. Да как же вы жили? – слышался голос Стеши уже совсем близко около кабинета.

Кирилл ждал: вот сейчас она войдет – сердитая, расстроенная, а она вошла веселая, смеющаяся.

– Да у тебя, Кирилл, тут всюду Стеша, – показала она на развешенные портреты. – Словно в музее.

– Это Аннушка, – буркнул он.

Глаза у Стеши мигом переменялись – из ласковых, смеющихся, они сразу сделались черствыми. А Кирилл, подумав: «Зачем вру?» – шагнул ей навстречу, пожал руку, сказал:

– Мне надо на завод. Обедать, я думаю, будем сегодня вместе... Часов в девять вечера.

И уехал.

Стеша переделалась и принялась прибираться комнаты, втянув в это и Аграфену, и Аннушку, и Кирилла малого, и даже Арнольдова. И вещи – стулья, столы, диваны, гардины, книги – все пришло в движение. Это были те же столы, те же диваны, те же стулья, те же гардины, но под рукой Стеши они быстро приняли другой вид, нашли свое место в комнатах и глянули весело. Затем Стеша одеколоном обрызгала ковры, углы комнат, стены, и тот особый запах неубранных комнат, который прижился в квартире, пропал.

К девяти часам из ресторана был доставлен обед. Причем, сервировать обед прибыл сам шеф-повар, в белом халате, в белом колпаке и с вкусной улыбкой на лице.

Все было готово. Вещи стояли по своим местам, полы сверкали – их натирал сам Арнольдов под руководством Стеши, в столовой на столе красовались закуски, воды, вина...

– Га-а-а! – закричал Богданов, войдя в столовую. – Вот это я понимаю. Вот что значит – женщина в доме... А-а-а, и вы здесь! Здравствуй, кормилец, – так он звал шефа-повара.

Все уже сидели за столом: Стеша, рядом с ней Арнольдов и Аннушка, Кирилл большой на противоположном конце стола, рядом с ним Кирилл малый.

Богданов налил себе вина. Его примеру последовали все. Даже Кирилл малый наполнил чашку фруктовой водой. Богданов поднял бокал и сказал:

– Давайте сейчас первый бокал выпьем за наш народ.

Стеша видела – Кирилл смотрел на нее, не сводя глаз, и в его глазах дрожали и тоска, и грусть, и раскаяние, и огромная любовь к ней – Стеше.

«Батюшки! Но что же мне делать, если у меня к нему ничего нет? Ничего. Ну, вот я смотрю на него... Как на чужого. Ну разве я виновата?» – и, чтобы скрыть свое безразличие, обратилась к Богданову:

– Ну, вы оба – на Балхашстрой?

– Нет... Мне предлагают заняться Волгой. Большой Волгой. Это будет такое мировое дело!.. – Богданов увлекся и по рассеянности сунул столовую ложку в бокал. – Вы знаете? – говорил он, все время глядя на Стешу: – На нас наступает среднеазиатская пустыня. Она наступает через Каспий, Гурьевские пески и вклинивается в самое сердце нашего Союза. По-научному это называется: «язык пустыни».

– А я поеду на Балхашстрой, – как бы про себя, не слушая Богданова, проговорил Кирилл. – Хочется куда-нибудь подальше, – и внимательно посмотрел на Стешу.

## 9

На следующий день они все выехали за город, на дачу. Дача была прекрасно оборудована и стояла на обрывистом берегу озера Селигарь. Позади дачи тянулся далеко – может быть, километров на триста – могучий сосновый бор, с глухими оврагами, с тенистыми, таинственными балками.

Кирилл назвал дачу «Беленьким домиком», в честь того домика, около которого он когда-то провел первую ночь со Стешей. Дача была покрашена белой краской и внешне напоминала «Беленький домик», только была обширней, массивней, с полукруглыми окнами и террасой наверху. Двор по плану Кирилла расчистили, понастроили площадок – теннисную, крокетную, волейбольную. А в лесу – в глухих балках, особенно там, где всегда гудела лесная песня, развесили гамаки: в таких местах Стеша любила отдыхать. Чуть в сторонке от домика, в густой листве ветельника, покачивалась купальня с тремя отделениями – для мужчин, для женщин и для детей. Кирилл даже мечтал: вот отсюда, из этой купальни, они вместе со Стешей поплывут на тот вон далекий, из красного камня, остров.

Стеша понимала, что все это сделано для нее. Для нее дачу покрасили белой краской и назвали «Беленьким домиком», для нее развесили в глухих балках гамаки, для «ее в бору поставлена такая же избушка с башенкой, как на «Брусках», для нее привезена большая библиотека художественной литературы... для нее... Она все это понимала, но все это ее вовсе не радовало, наоборот – раздражало, как раздражает навязчивое ухаживание нелюбимого человека.

«И зачем он старается! – думала она, гуляя по глухим тропам бора. – Умный человек, а делает глупости».

Но ей тут хорошо.

Ей хочется побыть здесь с Аннушкой, с Кириллом малым... и с Арнольдовым.

Арнольдов каждое утро писал с нее. Он заканчивал картину «Мать». Две его картины были уже отправлены на выставку, и одна из них – «Последний единоличник» – встретила в печати восторженные отзывы.

– Но мы, выражаясь языком Никиты Гурьянова, потом с козырей пойдем, – говорил он в шутку, работая над своей новой картиной.

Сегодня Стеша сидела у окна, как и каждое утро. На ней было тонкое, почти кисейное платье. И она, может быть, и не знала, что лучи солнца, падая в мастерскую сквозь большое окно, просвечивают ее всю. А возможно, она это и знала. Во всяком случае, когда ей Арнольдов сказал, что было бы очень хорошо, если бы она надела самое тонкое платье, такое, которое «не так одевало бы» ее, – она надела вот это кисейное платье.

На полотне, так же как и здесь, у окна, солнце серебрило ее волосы, но на полотне она была нагая, с выдающимся животом, и в полуоборот смотрела на женщин. Те лежали на поляне и о чем-то спорили. Она смотрела на них пристально, как бы не понимая, о чем они спорят, и в то же время в глазах ее светилось торжество матери. И казалось, она вот-вот скажет: «Из-за чего вы спорите? Каждая из вас может быть такой, как я».

Арнольдов работал быстро – быстро кидал на Стешу взгляд, быстро брал и отбрасывал кисточки, совсем забыв, что перед ним сидит Стеша, а не мертвая модель.

«Как Кирилл малый. Все забыл, – думала Стеша, глядя на Арнольдова. – Вот так и тот... заиграется... и этот – играет».

Здесь, в мастерской, она его вовсе не стеснялась. Если бы он попросил ее раздеться и сесть нагой у окна, она сделала бы и это.

«Так надо», – вот что руководило ею, хотя она этого еще не сознавала и объясняла свое поведение другим: тем, что ей хотелось, чтобы картина под его рукой ожила закричала о себе. И она, глядя на него, на быстрые движения его рук, на то, как иногда шевелятся его тонкие губы, морщится белый высокий лоб, порою шептала:

– Иосиф, – желая, чтобы он непременно в этот миг посмотрел на нее. И он смотрел и иногда даже спрашивал удивленно:

– Что? Что ты?

– Ничего, – отвечала она и про себя: «Какой чуткий».

Арнольдов отошел от картины. Долго стоял в дальнем конце веранды, затем решительно направился к полотну, поставил свою подпись в углу и сказал:

– Ну, вот и точка... Как жаль! Мне всегда становится грустно и тоскливо, когда я кончаю работу: уходят люди, образы, остается вот это полотно.

В этот миг Стешу будто кто-то толкнул. Она сорвала с кресла большую, легкую шаль и вся закуталась в нее. Ей почему-то вдруг стало стыдно, стыдно полунагой сидеть перед Арнольдовым.

– Что с тобой? – спросил он и приблизился к ней. – Почему ты начала кутаться?

– Мне что-то стало нехорошо.

– Стыдишься меня?

– Не знаю. Но мне вдруг показалось, ты смотришь на меня... Да я просто не

знаю... Но мне чего-то страшно...

На веранду влетел Кирилл малый.

– Дядя Иосиф! Загадку! Сказать?

– Валяй.

– Висит на стене. Болтается. Мохнатое. Не пищит, а стреляет. Что такое?

Арнольдов думает, говорит про себя:

– Мохнатое. Не пищит, а стреляет... Что это такое? – и разводит руками. – Нет, не знаю. Ружье?

– Ружье? Тоже, ружье! Полотенце.

– А почему же не пищит, а стреляет?

Кирилл малый удивленно развел руками, так же, как перед этим Арнольдов:

– Сам поражаюсь.

Арнольдов хохочет:

– Ай да полотенце. Значит, сам поражаешься? – Он подхватил на руки Кирилла малого и поднял его над своей головой. – Поражаешься, значит? Славный ты парень, Только плохо ешь.

– Я теперь все ем. Суп ем, мясо ем. Я буду сильный. У тебя руки сильные?

– Сильные.

– Ты кошку через крышу закинешь?

– Закину.

– А милиционера?

– И милиционера.

– А маму?

– Ой, маму я не буду.

– Не будешь? И не надо. Она ушибется. Пусти-ка, – и, сойдя с рук Арнольдова, он направился к матери, взобрался на колени, вплотную припал к ее уху и, глядя одним глазом в сторону Арнольдова, громко зашептал: – Мама! Папа сказал, чтобы я узнал, что вы говорите тут с дядей Иосифом. Ты только никому...

Стеша смущенно что-то шепнула ему на ухо.

– Ну, раз нехорошо... я не буду... А вот у Васьки Крюкова два папы. Свой и чужой. Ты только никому не говори. А свой все-таки лучше.

Арнольдов был уже внизу, переодевался.

– Ты только никому не говори, не говори, – упрашивал мать Кирилл малый. – Потому что это секрет. А почему ты в таком платье? А почему у тебя глаза грустные? А почему ты не хочешь идти вниз? А почему вы с папой не гуляете? – Он забросал ее вопросами, а она сидела и молчала.

Затем резко встала, взяла сына на руки и пошла с ним вниз, шепча что-то совсем непонятное Кириллу малому:

– Ну, что будет... то и будет... Арнольдов! – позвала она. – Давайте в теннис...

## 10

Кирилл Ждаркин сидел у себя в комнате.

Он решил сегодня, накануне больших торжеств по случаю двадцатилетия Октябрьской революции, провести весь день на даче, чтобы передохнуть. За последнее время было много работы и по производству – заводам надо было во что бы то ни стало перевыполнить программу, – и по подготовке к празднику. Кирилл из практики уже знал, что планы празднеств часто срываются. Но все-таки надо было многое продумать, определить, взвесить. Прежде всего было решено – это диктовалось самой жизнью – не обособливаться от окружающих заводы районов, ибо из этого все равно ничего не выйдет: в празднестве примет участие буквально все население, а население окружающих колхозов давно уже перепуталось, породнилось с населением заводов, да и, кроме того, многие колхозники принимали участие в постройке заводов. Поэтому было решено устроить один «Большой праздник», как предложил Кирилл. Рабочие семьи отправились в гости к колхозникам, а многих колхозников с семьями пригласили на заводы. Праздновать решили на открытом воздухе – в лесах, на озерах, на реках, так как дни стояли солнечные, теплые, и обязательно жечь костры. На это пришлось выделить около ста человек распорядителей. Тут выяснилось, что кооперативные органы «завезли» недостаточное количество вина.

– Что ж, вы думаете, водичкой пробавляться будут? Экие, право! – Кириллу и здесь пришлось нажать.

Дел было много, и сегодня Кирилл решил передохнуть, чтобы завтра в десять утра уже быть на торжестве.

На торжество обещал приехать Сергей Петрович Сивашев. Он приедет на металлургический завод, и отсюда все орденоносцы вместе с Сергеем Петровичем и Кириллом на машинах отправятся по колхозам. А вечером все соберутся на перевале.

Кирилл сидел за столом над книгой, а на подоконнике горланил, «наяривая» какой-то вальс, патефон.

«Да. Вон они играют в теннис. – Кирилл посмотрел на теннисную площадку, где гонялись за мячом Стеша и Арнольдов. – А ты что ж? Отщепенец, что ль? Надо же кончать в конце концов».

В комнату вошел Кирилл малый. Он взял трубку телефона и заговорил:

– Васю мне. Ну, Крюкова. Вася? Я сегодня не приду: у меня некогдный день. Некогдный... – и, положив трубку, сказал, обращаясь к отцу: – Вот еще тюря. Как

я к нему пойду, когда дядя Павел у нас будет. Он, папа, какой? У него ручищи-то, поди-ка, ух, какие! Сильные?

– А вот увидишь. А это что за некогдный день?

– Ну, значит, занят я.

Отец расхохотался:

– Значит, некогдный? А пальто примерял?

– Примерял. Хорошо. Только... – И Кирилл малый побежал к двери.

– Ты куда?

– Я пальто повесил в прихожей. Сопрут еще.

Отец снова хохочет:

– Как сопрут? Кто сопрет?

– Зайдут и сопрут. Шакалки.

– Не сопрут. Послушай, – Кирилл-отец покраснел. – Дядя Иосиф вчера у мамы в комнате был?

– Был.

– А что они там делали?

Кирилл малый подумал и проговорил:

– Мы с дядей Иосифом в бильярд играли... на под-стол.

– Это как на под стол?

– А кто проиграет, тот под стол лезет.

– И кто же лазил?

– И он и я.

– А мама?

– А мама смеялась, раскатывалась.

– А о чем они еще говорили?

Кирилл малый втянул подбородок, подражая Кириллу большому, и, заложив руки на поясицу, прошелся по комнате:

– Что они еще говорили? Дай-ка припомню. Про часы. Ты отдал мастеру часы, а мастер обидел маму... и мама плакала.

Кирилл большой чуть не вскрикнул:

– Часы? Про часы? А ну, еще, еще что?

Сын тронулся к двери:

– Я пойду. А то сопрут пальто.

А отцу стало до тошноты омерзительно: в нем все перепуталось – и любовь к Стеше, и ненависть к ней за то, что она рассказала Арнольдову про часы, и стыд

за допрос сына.

«Пойду и объяснюсь», – решил Кирилл и направился к теннисной площадке.

Он шел вялым шагом, опустив руки. В длинной вышитой рубашке, неподпоясанный, с расстегнутым воротом и в туфлях на босу ногу, он казался не только растерянным, но и старым.

– Ты отработался, Кирилл? – спросила Стеша, ловко отбивая мяч.

– То есть как отработался? – поняв ее по-другому, спросил Кирилл. – Мне надо поговорить с тобой. Не уделаешь ли минут десять?

– Что ж, – сказала она и глянула в сторону Арнольдова. – Раз приказывает владелец дачи... а мы – гости, – и пошла с ним в ногу к сосновому бору.

Слова Стешы выбили из него все, и он окончательно понял, что он для нее чужой, что между ними ничего уже нет и говорить ей о каких-то своих чувствах – значит стать навязчивым и смешным. Они шли рядом и молчали.

– Стеша. Скажи. Ты его любишь? – наконец проговорил он.

– Кого?

– Ну, кого... кого... – Кирилл еле подавил в себе вспышку гнева. – Его... Арнольдова. Надо сказать правду. Ведь так дальше нельзя. Я ведь тогда тебе все сказал.

Стеша долго думала. Она смотрела себе под ноги, на то, как темнели от росы ее беленькие туфли. Затем подняла голову, резко тряхнула ею.

– Да. Я его люблю, – и сделала несколько шагов в сторону, точно испугавшись, что вот сейчас Кирилл ударит ее. – Да, да... я люблю... очевидно.

У Кирилла перехватило дыхание, он побледнел и зашатался, затем, страшный, озверевший, сделал шаг к ней.

– Да-а? Значит, все?

– Что все?

– И ты думаешь, после этого мы можем находиться в одном месте? – выкрикнул Кирилл и смутно подумал: «Батюшки! Какое это страшное чувство. Зачем я так волнуюсь?»

– Почему же нет?

Стеша улыбнулась краями губ. Кирилл не понял, что это было: превосходство ли над ним, или издевка.

– Почему же нет? – повторила Стеша. – Да. Я его люблю... как человека.

Кирилл глубоко вздохнул. Ах, если бы он посмотрел на себя со стороны – какой у него был глупый вид и какой он был дуралей в эту минуту.

– Ну, хорошо. Ты его как человека, а он тебя? Ну, вот позавчера я видел, как он тронул тебя рукой и вот так провел ладонью по твоему плечу. Это что?

– Ну, нет. Он простой и хороший. Не говори про него мерзостей. Да и не



помню я, чтобы это было. По-моему, этого вовсе и не было.

– Значит, я вру?

– Не врешь, а ошибаешься.

– Но я же видел. И глаза у тебя, при этом засверкали.

– Не помню.

– Ну, как это – не помню?

– Не помню, и все.

У Кирилла снова поднялась волна гнева, и кто-то другой, не Кирилл Ждаркин – строитель завода, а кто-то другой, чужой, только что пришедший откуда-то, толкнул Кирилла, и рука у него поднялась, и ему страшно захотелось за «не помню» ударить Стешу по лицу.

«Ну, что ты... что ты?» – еле сдержал он себя и хрустнул пальцами.

Чуть успокоившись, спросил:

– А жить бы с ним ты могла?

– Это что – жить? Как жить?

– Ну, что ты из себя малютку разыгрываешь, – раздраженно бросил он.

– Могла бы, – ответила Стеша и повернула обратно. – Нам надо держаться ближе к даче: я ведь с тобой не справлюсь одна.

И эти слова привели Кирилла в себя. Ему вдруг стало стыдно за свой гнев, и он тихо проговорил:

– Я тебя очень прошу говорить со мной, как с больным. Пойми меня... и не крутись.

– Ага! «Не крутись»! Но я только пустила в ход наше женское оборонительное средство. «Не знаю», «не помню» – дали ведь вы нам. Вы! Владельцы. Ты вот кичишься: «Я пришел и сказал тебе тогда все». Ты пришел и сказал? А вот могла ли я тебе об этом же, допустим, если бы со мной оно случилось, прийти и сказать все? Ну-ка, товарищ Ждаркин, отвечай. Что бы ты со мной сделал? – Она несколько секунд молчала. – Хвалишься: какой я правдивый. Пришел и сказал. А вот я еще только намекаю на правду, а ты уже готов меня схватить за глотку... На вашу физическую силу мы отвечаем увертками. Понял? А теперь вот тебе правда, Кирилл: я люблю его. – И она прибавила шагу, точно убегая из бора.

Кирилл опустил на пень. Он долго смотрел, как между деревьями мелькало голубое платье Стешы, затем поднялся и пошел напрямик, в глубь бора – распоясанный, огромный, широко разводя руки – и все время спотыкался.

Вернулся он поздно. Было уже около часу ночи.

«Надо быть лучше. Лучше», – твердил он, подходя к даче.

Свет горел на веранде.

«Значит, они там вдвоем, – решил он. – Пойду к ним и скажу... А что я– им скажу?» – Он вошел в дачу и стал подниматься по лестнице вверх на веранду и, ослепленный светом, остановился на пороге.

На веранде, около картины Арнольдова, сидели Богданов, Феня, Павел Якунин, Стеша, Арнольдов. Они не заметили Кирилла и продолжали уже начатый разговор.

Богданов доказывал:

– Творцы теперь не только художники. Все творцы. Разве вот Стеша, работая бригадиром, не творила... а разве вот Павел не творец? Разве Кирилл не творец? В этом сила нашей страны. Маркс мечтал о таком творчестве. Ленин начал творить. А наша партия подняла на творчество миллионы. Это движет нашей страной. И ваша картина, товарищ Арнольдов, тем и замечательна, что она является отражением той жизни, какую создали настоящие творцы.

Кирилл стоял, слушал и смотрел на Стешу. Он заметил: все были оживлены – и Феня, и Павел, и Богданов, и Арнольдов. Только Стеша как-то по-особому держала себя, и губы у нее изгибались.

«Она почему-то не с ними», – подумал он и хотел было подойти, но Стеша в это время вскрикнула:

– Ой, – и пошла к нему. – Кирилл!

Все повернулись.

– О-о-о! – закричал Богданов. – Да ты где был? Мы тебя искали. Пан лесной... Да и посмотри на себя, что ты есть.

Кирилл глянул на себя. Он был весь в сосновых иглах, во мху, перепачканный, извалянный.

– Ну зачем ты так, – тихо шепнула Стеша и еле заметно дотронулась до его руки. – Ведь то еще неизвестно, – сказала она понятное ему, но непонятное другим.

– Я ходил, осматривал болота, Богданыч. – Кирилл весело улыбнулся, тут же все это придумав, и спохватился, ибо Стеша сразу отвернулась от него, нахмурилась и проговорила:

– Время позднее. Пойдемте, чаю попьем и – пора на отдых. А то день какой-то дурной сегодня.

– А я думаю – на охоту, – предложил Кирилл. – Часа через два и отправимся на болото. Арнольдов, как ты?

– Я пойду.

– И я пойду, – сказал Богданов.

– И я, – вступилась Стеша.

Вскоре они, оставив на даче Павла и Феню, вчетвером отправились на озеро, вернее – на огромные заливы, с островами, с камышом.

Ночь уходила на запад, а на востоке приоткрывало глаза солнце. И в эту минуту, когда запад еще темен, а восток только еще пробуждается, над головой Кирилла просвистала стая уток... и первый выстрел раздался на его острове. Почти в ту же секунду на воду шлепнулась подбитая утка.

– Есть, – сказал Кирилл. И с этой минуты он обо всем забыл – о заводе, о своей распре со Стешей, обо всем мире.

Затем выстрел раздался с другой стороны – и Кирилл определил: это «бабахнул» Богданов. Но вот со стороны Богданова прогремел второй выстрел, третий, и Богданов стал палить «без устали»... и Кирилл стал палить «без устали».

А с острова, где сидит Стеша, ничего не слышно, как не слышно и с острова Арнольдова... Но сейчас не до этого: из серой мглы снова несется стая уток. Кирилл бьет раз за разом... и на воду шлепаются еще три утки.

– Здорово, – проговорил он и снова зарядил ружье... и пошла пальба.

Палил Кирилл, палил Богданов, палил Арнольдов, несколько раз выстрелила и Стеша.

Солнце стало припекать. Где-то далеко «забалакали», перекликаясь, отыскивая самок, тетерева. Заквокали курочки. Перелет уток прекратился. Стеша определила, кто где сидит.

Вон на том далеком острове сидит Богданов. Он раз показался на вершине острова, куда-то торопко пробежал и снова скрылся. Вон там – неподалеку от Стешы – сидит Кирилл. Раз из камышей показалась его голова. А вон... Ну, это же смешно!.. По берегу расхаживает Арнольдов. Он почему-то в белых брюках, в куртке-кожанке и картузе. Издали похож на капитана. Но почему, он не в камышах, а на берегу? Стеша еще не знала даже, что он надел белые брюки только для того, чтобы не лазить в воду: он боялся простуды. На него летит стая скворцов. В ней одна утка-кряква. Арнольдов прицелился, выстрелил. К его ногам упал скворец.

– Здорово! – хохоча крикнул Кирилл.

– Смешно, – проговорила Стеша.

– Чудак, – добавил Богданов.

Но вот новая стая над Кириллом. Он бьет раз за разом... И вдруг кряква затрепетала в воздухе. Она сложила было крылья, затем выправились и пошла вверх – столбом... Идет и опускается... поднимается и снова опускается.

Стеша ждет: сейчас Кирилл снова выстрелит в эту утку, но Кирилл не стреляет, а по воде доносится:

– Больно ты красива... живи!

– Вот он какой, – прошептала Стеша и с этой минуты неотрывно стала следить

за ним.

Кирилл вышел на берег, сел в лодку и начал подбирать убитую дичь. Он, бросая уток в лодку, плыл к зарослям. И разом присмирел: неподалеку от него, на плесе, сели чирки. Но чтобы достигнуть плеса, надо выбраться на берег низкого острова, пройти по нему. Кирилл осторожно причалил лодку, вышел на берег. Нет. Это не земля. Это – торф, оторванный от земли, превращенный в пловучий остров. Ноги не просто вязнут, они уходят в мокрую торфяную массу, как кашу.

– Неужели пойдет? – тихо и со страхом, произнесла Стеша и пристыла на месте.

Торф-плаун под Кириллом колеблется, накатывается волнами. Кирилл не шел, а крался, низко сгибаясь. И вдруг в одном месте жидкая масса рухнула – и он скрылся в рыхлой мути.

– Ой! Кирилл! – перепуганно вскрикнула Стеша и тут же снова замерла.

– Вот черт! – проворчал Кирилл, выбираясь из трясины. – Вот черт! – повторил он и пошел обратно.

На твердом берегу он разделся и стал выжимать белье, очевидно не предполагая, что за ним кто-то следит.

В утренних лучах тело его блестело бронзой.

«Какой он все-таки сильный, – залюбовалась им Стеша. – Но что он хочет делать?»

Кирилл вылил из сапог воду, выжал белье, куртку и затем взялся за цепь, прикованную к носу лодки, дернул – и лодка выскочила на остров.

– Ну, пошли, – проговорил он, перекинув цепь через плечо, качнулся вперед. Качнулся раз, два, – лодка по торфу двинулась за ним, а он шагал, наклоняясь, напрягая мускулы.

В это время из-за острова молниеносно налетает стая уток, спугнутая, очевидно, Богдановым. Кирилл бросает цепь и палит в стаю. Падают две утки. Одна из них, подбитая, нырнула, затем вынырнула, осмотрелась и, шлепая крыльями, побежала по воде. Кирилл снова бьет в нее. Утка падает в камыш на противоположный берег плеса... и Кирилл – вот чудак! – ничего не обдумав, кидается в воду. Вода ему по колена, но вот он ухнул в водяную ямину и поплыл.

– Экий!.. Кири-илл! – закричала Стеша. – Кирилл!.. Нет, не слышит... Кирюша-а-а!

Кирилл остановился. Посмотрел кругом и вдруг, все бросив, кинулся к лодке: он понял, что это был не простой крик, это призыв – и на этот призыв он пошел, как опьяненный.

Лодка стукнулась о берег. Кирилл выскочил на землю, заросшую травой, заваленную сухим хворостом, и, голыми ногами с треском ломая хворост, по какому-то чутью полез напрямик – и через несколько секунд свалился перед Стешей. Рука Стешы легла ему на голову, затем соскользнула на спину, и Стеша тихо проговорила:

– Дуралей ты... мой!..

Спустя некоторое время где-то далеко на берегу, около бора, раздался трубный зов. Кирилл схватил ружье, разломил его и, приложив дулом к губам, ответил – пронзительно и громко, как бы говоря:

– Мы здесь! Мы здесь!

– Что? – спросила Стеша, чего-то перепугавшись.

– Сергей Петрович Сивашев приехал.

– А как ты узнал?

– Мы договорились... так сигналить...

Открывалось большое торжество большого государства.

*1926–1936 гг.*

*Вольск – Москва – Репное – Киев – Москва.*